

Борис
АКУНИН



АЛТЫН-ТОЛОБАС

ОЛМА
МЕДИАГРУПП

ОЛМА
МЕДИАГРУПП

Борис
АКУНИН



МОСКВА
ОЛМА Медиа Групп
2008

УДК 821.161.1
ББК 84-44
А 44

Персонажи и учреждения, упомянутые в этом произведении, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми и организациями либо с подлинными событиями не входило в намерения автора и носит случайный характер.

Акунин Б.
А 44 Алтын-толобас: Роман. — М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2008. — 383 с. — (Романы Б. Акунина).
ISBN 978-5-373-00298-1

УДК 821.161.1
ББК 84-44

© В. Akunin. 2001
© Издательство «ОЛМА-ПРЕСС»,
оригинал-макет, 2006
© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»,
издание, 2006

ISBN 978-5-373-00298-1

Глава первая

Хоть и не красавица

Это была нелюбовь с первого взгляда.

Когда поезд отъехал от последней латвийской станции с немелодичным названием Зелупе и, прогрохотав по железному мосту, стал приближаться к российской границе, Николас придвинулся к окну купе и перестал слушать косноязычную болтовню попутчика.

Айвар Калинкинс, специалист по экспорту сметаны, так гордился своим знанием английского, что переходить с ним на русский было бы просто жестоко, да и, судя по тому, как латвийский коммерсант отзывался о своих недавних соотечественниках, он вряд ли пожелал бы изъясняться на языке Пушкина и Достоевского. С самой Риги бизнесмен упражнялся на кротком британце в использовании идиоматических оборотов и паст перфект континьюэс, называя при этом собеседника «мистер Фэндорайн». Объяснять, что обозначенное на визитной карточке имя Fandorine читается по-другому, Николас не стал, чтобы избежать расспросов о своих этнических корнях — разъяснение вышло бы слишком длинным.

Он сам не очень понимал, почему решил добираться до России таким кружным путем: теплоходом до Риги, а оттуда поездом. Куда проще и дешевле было бы сесть в Хитроу на самолет и через каких-нибудь три часа спуститься на русскую землю в аэро-

порту Шереметьево, который, согласно путеводителю «Бедкер», находился всего в 20 минутах езды от Москвы. Однако родоначальник русских Фандориных, капитан Корнелиус фон Дорн триста лет назад воспользоваться самолетом не мог. Как, впрочем, и поездом. Но, по крайней мере, фон Дорн должен был двигаться примерно той же дорогой: обогнуть морем беспокойную Польшу, высадиться в Митаве или Риге и присоединиться к какому-нибудь купеческому каравану, направлявшемуся в столицу диких москвитов. Вероятнее всего, в 1675 году родоначальник тоже переправлялся через эту вялую, поблескивающую под мостом реку. И волновался перед встречей с неведомой, полумифической страной — так же, как сейчас волновался Николас.

Отец говорил:

«Никакой России не существует. Понимаешь, Никол, есть географическое пространство, на котором прежде находилась страна с таким названием, но все ее население вымерло. Теперь на развалинах Колизея живут остготы. Жгут там костры и пасут коз. У остготов свои обычаи и нравы, свой язык. Нам, Фандориным, это видеть незачем. Читай старые романы, слушай музыку, листай альбомы. Это и есть наша с тобой Россия».

А еще сэр Александер называл нынешних обитателей российского государства «новыми русскими» — причем задолго до того, как этот термин прирос к современным нуворишам, которые с недавних пор повадились заказывать костюмы у дорогих портных на Савил-Роу и посылать своих детей в лучшие частные школы (ну, конечно, не в *самые* лучшие, а в те, куда принимают за одни только деньги). Для Фандорина-старшего «новыми русскими» были все обитатели Страны Советов, столь мало похожие на «старых русских».

Сэр Александер, светило эндокринологии, без пяти минут нобелевский лауреат, никогда и ни в чем не ошибался, поэтому до поры до времени Николас

следовал совету отца и держался от родины предков подальше. Тем более что любить Россию на расстоянии и в самом деле казалось проще и приятней. Избранная специальность — история девятнадцатого века — позволяла Фандорину-младшему не подвергать это светлое чувство рискованным испытаниям.

Россия прошлого столетия, особенно второй его половины, смотрелась вполне пристойно. Разумеется, и тогда под сенью двуглавого орла творилось немало мерзостей, но это все были мерзости умеренные, вписывающиеся в рамки европейской истории и потому извинительные. А там, где пристойность заканчивалась и вступал в свои права бессмысленный русский бунт, заканчивалась и сфера профессиональных интересов Николаса Фандорина.

Самая привлекательная сторона взаимоотношений магистра истории с Россией заключалась в их совершеннейшей платоничности — ведь рыцарское служение Даме Сердца не предполагает плотской близости. Пока Николай был студентом, аспирантом и диссертантом, сохранение дистанции с «империей зла» не выглядело таким уж странным. Тогда, в эпоху Афганистана, корейского лайнера и опального изобретателя водородной бомбы, многие слависты были вынуждены довольствоваться в своих профессиональных изысканиях книгами и эмигрантскими архивами. Но потом злые чары, заколдовавшие евразийскую державу, начали понемногу рассеиваться. Социалистическая империя стала оседать набок и с фантастической быстротой развалилась на куски. В считанные годы Россия успела войти в моду и тут же из нее выйти. Поездка в Москву перестала считаться приключением, и кое-кто из серьезных исследователей даже обзавелся собственной квартирой на Кутузовском проспекте или на Юго-Западе, а Николай по-прежнему хранил обет верности той, прежней России, за новой же, так быстро меняющейся и непонятно куда движущейся, до поры до времени наблюдал издалека.

Мудрый сэр Александер говорил: «Быстро меняться общество может только в худшую сторону — это называется «революция». А все благие изменения, именуемые эволюцией, происходят очень-очень медленно. Не верь новорусским разглагольствованиям о человеческих ценностях. Остготы себя еще покажут».

...Отец, как всегда, оказался прав. Историческая родина подбросила Николасу неприятный сюрприз — он впервые в жизни стал стыдиться того, что родился русским. Раньше, когда страна именовалась Союзом Советских Социалистических Республик, можно было себя с нею не идентифицировать, но теперь, когда она вернулась к прежнему волшебному названию, отгораживаться от нее стало труднее. Бедный Николас хватался за сердце, когда видел по телевизору кавказские бомбежки, и болезненно кривился, когда пьяный русский президент дирижировал перепуганными берлинскими музыкантами. Казалось бы, что ему, лондонскому магистру истории, до грузного дядьки из бывших партсекретарей? Но все дело было в том, что это не *советский* президент, а *русский*. Сказано: назови вещь иным словом, и она поменяет суть...

Ах, да что президент! Хуже всего в новой России было кошмарное сочетание ничем не оправданного высокомерия с непристойным самобичеванием в духе «Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог». А вечное попрошайничество под аккомпанемент угроз, под бряцание ржавым стратегическим оружием! А бесстыдство новой элиты! Нет, Николас вовсе не жаждал ступить на землю своего духовного отчества, но в глубине души знал, что рано или поздно этой встречи не избежать. И потихоньку готовился.

В отличие от отца, подчеркнуто не интересовавшегося московскими вестями и до сих пор говорившего «аэроплан» и «жалованье» вместо «самолет» и «зарплата», Фандорин-fils старался быть в курсе (вот тоже выражение, которого сэр Александер решительно не признавал) всех русских новостей, водил

знакомство с заезжими россиянами и выписывал в специальный блокнот новые слова и выражения: *отстойный музон* = *скверная музыка* («отстой» — *вероят.*, близкое к «sewage»); как *скрысятить цитрон* = как украсть миллион («скрысятить» — близкое к *to rat*, «цитрон» — смысловая подмена сл. «лимон», омонимич. имитации сл. «миллион») и так далее, страничка за страничкой. Николас любить щегольнуть перед какой-нибудь русской путешественницей безупречным московским выговором и знанием современной идиоматики. Неизменное впечатление на барышню производил прекрасно освоенный трюк: двухметровый лондонец, не по-родному учтивый, с дурацкой приклеенной улыбкой и безупречным пробором ровно посередине макушки — одним словом, чистый Англичан Англичанович — вдруг говорил: «Милая Наташа, *не завалиться* ли нам в Челси? Там нынче *улетная тусовка*».

* * *

На следующий день после того, как Николас любовался по телевизору дирижерским мастерством русского президента, произошло событие, ставшее первым шагом к встрече с отчизной.

Блистательный и непогрешимый сэр Александер совершил единственную в своей жизни ошибку. Отправляясь с женой в Стокгольм (поездка имела исключительную важность для ускорения неизбежной, но все еще медлившей Нобелевской премии), Фандорин-старший решил не лететь самолетом, а совершить недолгое, отрадное плавание по Северному морю на пароме «Христиания». Да-да, на той самой «Христиании», которая, по невероятному стечению компьютерных сбоев, налетела в тумане на нефтеналивной танкер и перевернулась. Была чудовищная, нецивилизованная давка за места на плотиках, и те, кому мест не хватило, отправились туда, где догнивают останки галионов Великой Армады.

Несмотря на возраст, сэр Александер был в превосходной физической форме и наверняка мог бы попасть в число спасшихся счастливых, но представить отца, отталкивающего других пассажиров, чтобы спасти себя или даже леди Анну, было совершенно невозможно...

Если оставить в стороне эмоции, вполне естественные при этих горестных обстоятельствах, результатом роковой ошибки несостоявшегося лауреата было то, что Николас унаследовал титул, превосходную квартиру в Южном Кенсингтоне, перестроенную из бывшей конюшни, деньги в банке — и лишился мудрого советчика. Встреча с Россией стала почти неотвратимой.

А через год после первого шага последовал и второй, решающий. Но прежде чем рассказать о половинке письма капитана фон Дорна и загадочной бандероли из Москвы, необходимо разъяснить одно обстоятельство, сыгравшее важную, а может быть, и определяющую роль в поведении и поступках молодого магистра.

Обстоятельство это называлось обидным словом «недовинченность», которое Николас почерпнул у одного из мимолетных новорусских знакомых (*«недовинченность — как при недокрученности шурупа; употр. в знач. «недоделанность», «неполноценность»; «какой-то он типа недовинченный» — о чел., не нашедшем своего места в жизни»*). Слово было жесткое, но точное. Николас сразу понял, что это про него, он и есть недовинченный. Болтается в дырке, именуемой жизнью, вертится вокруг собственной оси, а ничего при этом не сцепляет и не удерживает — одна видимость, что шуруп.

Емкая приставка «недо» вообще многое объясняла Фандорину про самого себя. Взять, к примеру, рост. Шесть футов и шесть дюймов — казалось бы, недомерком не обзовешь, на подавляющее большинство обитателей планеты Николас мог взирать сверху вниз. Но стоило перевести рост на метры, и

выходило символично: метр девяносто девять. Чуть-чуть *недостает* до двух метров.

То же и с профессией. Возраст, конечно, пока детский — до сорока еще вон сколько, но сверстники по одной-две монографии выпустили, а многие уже пребывают в докторском звании, один даже удостоен членства в Королевском историческом обществе. Профессор Крисби, прежний научный руководитель, как-то сказал: мол, Николас Фандорин, возможно, и историк, но *малокалиберный*. Крупных охотничьих трофеев, то есть новых теорий и концепций, ему не добыть — разве что мелких фактографических воробьев настреляет. А все потому, что нет усидчивости, долготерпения и обстоятельности. Или, как выразился почтенный профессор, *мало мяса на заднице*.

Ну не обидно ли? А если у человека аллергия на пыль? Если после десяти минут сидения в архиве из глаз льются слезы, из носа течет, всегдашний розовый румянец на щеках расплзается багровыми пятнами и вчистую садится голос? Да, Николас никогда не был в так называемых странах Третьего мира, потому что там всюду пыльно и грязно! На втором курсе в Марокко на раскопки из-за этого не поехал!

Впрочем, к чему лукавить с самим собой? История привлекала Николаса не как научная дисциплина, призванная осмыслить жизненный опыт человечества и извлечь из этого опыта практические уроки, а как увлекательная, завораживающая погоня за безвозвратно ушедшим временем. Время не подпускало к себе, ускользало, но иногда свершалось чудо, и тогда на миг удавалось ухватить эту жар-птицу за эфемерный хвост, так что в руке оставалось ломкое сияющее перышко.

Для Николаса прошлое оживало, только если оно обретало черты конкретных людей, некогда ходивших по земле, дышавших живым воздухом, совершавших праведные и ужасные поступки, а потом умерших и навсегда исчезнувших. Не верилось, что

можно взять и исчезнуть навсегда. Просто те, кто умер, делаются невидимыми для живущих. Фандорину не казались метафорой слова новорусского поэта, некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр Александер: «...На свете смерти нет. / Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо / бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят. / Есть только явь и свет, / ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. / Мы все уже на берегу морском, / и я из тех, кто выбирает сети, / когда идет бессмертье косяком».

Узнать как можно больше о человеке из прошлого: как он жил, о чем думал, коснуться вещей, которыми он владел — и тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом, и окажется, что никакой тьмы и в самом деле не существует.

Это была не рациональная позиция, а внутреннее чувство, плохо поддающееся словам. Уж во всяком случае, не следовало делиться столь безответственными, полумистическими воззрениями с профессором Крисби. Собственно, Фандорин потому и специализировался не по древней истории, а по девятнадцатому веку, что вглядеться во вчерашний день было проще, чем в позавчерашний. Но изучение биографий так называемых исторических деятелей не давало ощущения *личной причастности*. Николас не чувствовал своей связи с людьми, и без него всем известными. Он долго думал, как совместить приватный интерес с профессиональными занятиями, и в конце концов решение нашлось. Как это часто бывает, ответ на сложный вопрос был совсем рядом — в отцовском кабинете, на каминной полке, где стояла неприметная резная шкатулка черного дерева.

* * *

Бабушка Елизавета Анатольевна, умершая за много лет до рождения Николаса, вывезла из Крыма в 1920-м всего две ценности. Первая — будущий сэр Александер, в ту пору еще обретавшийся в материн-

ской утробе. Вторая — ларец с семейными реликвиями.

Самой познавательной из реликвий была пожелтевшая тетрадка, исписанная ровным, педантичным почерком прапрадеда Исаакия Самсоновича, служившего канцеляристом в Московском архиве министерства юстиции и составившего генеалогическое древо рода Фандориных с подробными комментариями.

Имелись в шкатулке и предметы куда более древние. Например, кипарисовый крестик, который, по уверению семейного летописца, принадлежал легендарному основателю рода крестоносцу Тео фон Дорну.

Или медно-рыжая, не выцветшая за столетия прядь волос в пергаменте, на котором читалась едва различимая надпись «Laura 1500». Примечание Исаакия Самсоновича было кратким: «Локон женский, неизвестно чей». О, как волновала в детстве буйную Николкину фантазию таинственная медноволосая Лаура, сокрытая непроницаемым занавесом столетий!

На столе у отца стоял извлеченный оттуда же, из ларца, фотографический портрет умопомрачительной красоты брюнета с печальными глазами и импозантной проседью на висках. Это был дед, Эраст Петрович, персонаж во многих отношениях примечательный.

А чего стоила записка великой императрицы, собственноручно начертавшей на листке веленовой бумаги всего два слова, но зато каких! «Вечно признательна» — и внизу знаменитый росчерк: «Екатерина». Отец говорил, что некогда содержались в шкатулке и дедовы ордена, в том числе золотые, с драгоценными камнями, но в трудные времена бабушка их продала. И правильно сделала. Эка невидаль — «владимиры» да «станиславы», их в антикварных лавках сколько угодно, а вот за то, что Елизавета Анатольевна сохранила старинные нефритовые четки (теперь уж не узнать, кому из предков принадлежавшие) или часы-луковицу бригадира Лариона

Фандорина с застрявшей в ней турецкой пулей — вечная бабушке благодарность.

Николасу самому было странно, что он не додумался до такой простой вещи раньше. Зачем копать в биографиях чужих людей, про которых и так все более или менее известно, если есть история собственного рода? Тут уж никто не перебежит дорогу.

Сначала магистр конечно же занялся автографом царицы, который мог принадлежать только Даниле Фандорину, состоявшему при Северной Семирамиде в неприметной, но ключевой должности камер-секретаря. Николас напечатал в почтенном историческом журнале очерк о своем предке, где среди прочего высказал некоторые осторожные предположения о причинах августейшей признательности и датировке этого документа (июнь 1762?). Историки-слависты встретили публикацию благосклонно, и, окрыленный успехом, исследователь занялся статским советником Эрастом Петровичем Фандориным, который в 80-е годы прошлого века служил чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, а после, уже в качестве частного лица, занимался расследованием всяких таинственных дел, на которые был так богат рубеж девятнадцатого и двадцатого столетий.

К сожалению, вследствие сугубой деликатности занятий этого сыщика-джентльмена, Николас обнаружил очень мало документальных следов его деятельности, поэтому вместо научной статьи пришлось опубликовать в иллюстрированном журнале серию полубеллетризованных скетчей, основанных на семейных преданиях. С точки зрения профессиональной репутации, затея была сомнительной, и в качестве епитимьи Николас занялся кропотливым исследованием старинного, еще дороссийского периода истории фон Дорнов: изучил развалины и окрестности родового замка Теофельс, встретился с отпрысками параллельных ветвей рода (надо сказать, что потомков крестоносца Тео раскидало от Лапландии до Патагонии), вдоволь начихался и наплакался

в ландархивах, музейных хранилищах и епархиальных скрипториумах.

Результат всех этих усилий не очень-то впечатлял — полдюжины скромных публикаций и два-три третьестепенных открытия, на которых пристойной монографии не построишь.

* * *

Статьей о половинке завещания Корнелиуса фон Дорна (еще одна реликвия из черной шкатулки), напечатанной четыре месяца назад в «Королевском историческом журнале», тоже особенно гордиться не приходилось. Для того чтобы разобрать каракули бравого вюртембергского капитана, вряд ли подозревавшего, что из его чресел произрастет мощная ветвь русских Фандориных, понадобилось пройти специальный курс палеографии, однако и после расшифровки документ яснее не стал.

Если б плотный, серый лист был разрезан не вдоль, а поперек, можно было бы, по крайней мере, прочитав кусок связного текста. Но хранившийся в ларце свиток был слишком узким — какой-то невежа рассек грамотку сверху донизу, и вторая половина не сохранилась.

Собственно, у Николаса даже не было полной уверенности в том, что это именно духовная, а не какая-нибудь деловая записка. В подтверждение своей гипотезы он процитировал в статье первые строчки, в которых, как положено в завещаниях, поминались дьявольский соблазн и Иисус Христос, а дальше следовали какие-то указания хозяйственного толка:

Память сия для сына
розуменни будетъ
а пути на москву не
не дойдешь как тог из
паки соблазнъ днаволс
изыщеш и хрста ради
что понизу въ алтынъ
рогожею не имай дүши

Почтенный журнал по традиции не признавал иллюстраций, поэтому поместить фотографию текста не удалось, а цитировать далее Николас не стал — там шли невразумительные, фрагментарные указания о некоем доме (вероятно, отходившем сыну Корнелиуса в наследство), перемежаемые поминанием фондорновских предков. Если б сведения об имуществе иноземного наемника уцелели полностью, это, конечно, представляло бы некоторый исторический интерес, но куда важнее было то, что прочитывались подпись и дата, обозначенные в левом нижнем углу и потому отлично сохранившиеся:

**писанъ на кромешникахъ лета 190го майя въ 3 дн
корней фондорнъ рѣкѣ приложилъ**

Из этого следовало, что в мае 1682 года (7190) год по старорусскому летосчислению) Корнелиус находился в волжском городе Кромешники, где как раз в это время дожидался вызова в Москву опальный боярин Артамон Сергеевич Матфеев. Это подтверждало семейную легенду о том, что капитан фон Дорн был близок к первому министру царя Алексея Михайловича и даже женился на его дочери. Последнее утверждение, разумеется, носило совершенно сказочный характер и, вероятно, основывалось на том, что сын Корнелиуса Никита Фондорин долгое время служил личным секретарем графа Андрея Артамоновича Матфеева, петровского посланника при различных европейских дворах.

Статья Николаса заканчивалась предположением, что грамотка, очевидно, была разрублена во время майского мятежа московских стрельцов, кинувших на копья боярина Матфеева и нескольких его приближенных, в том числе, вероятно, и Корнелиуса фон Дорна, сведений о котором после 1682 года не сохранилось.

А три недели назад, когда Николас вернулся из Венеции, где обнаружился след одной любопытней-

шей истории из 1892 года, связанной с неугомонным Эрастом Петровичем, его поджидала бандероль из Москвы.

На коричневой грубой обертке штемпель московского Главпочтамта. Ни имени отправителя, ни обратного адреса. Внутри — номер журнала «Российский архивный вестник» трехлетней давности. К странице 178, где размещалась рубрика «Новости архивного дела», приклеена красная закладка. Рядовая информация, затерянная среди извещений о научных семинарах, защищенных диссертациях и мелких находках в провинциальных фондах. Без подписи, даже без заголовка — просто отделенная звездочкой.

*

В ходе грунтовых работ при строительстве здания районной администрации в г. Кромешники (Костромская область) обнаружен каменный подклет, который, очевидно, принадлежал к ансамблю вотчинной усадьбы графов Матфеевых, сгоревшей в 1744 году. Члены областной Архсологической комиссии обследовали подземелье, простучали стены и нашли тайник — небольшую нишу, заложённую двумя кирпичами белого цвета. Внутри оказался кожаный сундучок с предметами, по всей вероятности, относящимися к середине XVII века: уникальный бронзовый будильник гамбургской работы и золотой медальон с латинскими инициалами «С. v. D.», а также правая половина свитка, написанного скорописью. Будильник и медальон переданы в городской краеведческий музей, свиток отправлен на хранение в ЦАСД.

Николас пробежал заметку глазами, потом прочитал еще раз, очень внимательно, и сердце заняло от невыразимого, пьянящего чувства — того самого, что охватывало Фандорина всякий раз, когда из густой тьмы безвозвратно ушедшего времени вдруг начинали просеиваться тонкие светоносные нити. Именно из-за этого волшебного мига, который ученому магистру довелось испытать всего несколько раз в жизни, он и стал заниматься историей. В кро-

мешном мраке, в стране of no return¹ (по-русски так не скажешь), вдруг зажегся огонек, источавший слабые, манящие лучи. Сделай шаг, ухватись за эти бесплотные ниточки и, может быть, тебе удастся схватить Время за край черной мантии, заставить его возвратиться!

Кромешники, С. v. D., Матфеевы, фрагмент свитка, XVII век — все сходилось. Недостающая часть духовной обнаружена, это не вызывало сомнений! Более или менее ясно было и происхождение бандероли. Кто-то из русских (надо полагать, историк или работник архива) наткнулся на статью Фандорина в «Королевском историческом журнале», вспомнил заметку из давнишнего «Архивного вестника» и решил помочь англичанину. Как это по-русски — не назваться, не приложить сопроводительного письма, не дать обратного адреса! С западной точки зрения — чистейшее варварство. Однако Николас успел хорошо изучить повадки и психологию новых русских. Анонимность послания свидетельствовала не столько о дефиците воспитанности, сколько о застенчивости. Вероятно, бандероль прислал человек бедный (известно, в каком положении нынче российских ученые), но гордый. Боится, что богатый иностранец, обрадованный бесценной подсказкой, оскорбит его предложением денежной награды. Или же отправитель постеснялся надеть ошибок в английском, хотя, казалось бы, мог сообразить, что автор статьи о России XVII века должен худо-бедно понимать и современный русский.

(О, пресловутая новорусская застенчивость! Николас знал одного москвича, стажировавшегося в Лондонском университете, который спьяну наговорил заведующему кафедрой глупостей, а назавтра даже не попросил прощения, хотя, судя по сконфуженному виду, отлично все помнил. «Надо подойти к профессору и просто извиниться, — сказал ему

¹ Откуда не вернешься (*англ.*).

Фандорин. — Ну, выпили. — с кем не бывает». Новый русский ответил: «Не могу. Стесняюсь извиниться». Так и страдал до конца стажировки.)

Да какая разница! Если неизвестный благодетель не хочет Николасовой благодарности — не надо. Главное, что теперь при некотором везении и настырности удастся написать настоящую книгу. Если Корнелиус находился в ссылке вместе с Артамоном Матфеевым (а теперь это можно считать практически доказанным), то в полном тексте завещания могли обнаружиться поистине бесценные сведения. Тут пахло серьезным научным открытием. А не получится с открытием, все равно можно будет набрать материал на монографию. Скажем, с таким названием:

КОРНЕЛИУС ФОН ДОРН / КОРНЕЙ ФОНДОРН

*Биография служилого иноземца
предпетровской эпохи, составленная его потомком*

А что? Совсем неплохо. Посидеть в этом самом ЦАСДе, то есть Центральном архиве старинных документов, полистать дела о найме иностранных офицеров, реестры о выдаче жалованья, протоколы допросов Приказа тайных дел по делу Артамона Матфеева — глядишь, факты и подберутся. Изложить их на широком фоне эпохи, привести сходные биографии других наемников — вот и выйдет книжка. Заодно Николас наконец познакомится с подлинной, а не романтизированной родиной. Право, давно пора.

Сэр Александер лежал на дне морском и отговаривать наследника от рискованной затеи не мог, и Николас осуществил принятое решение с головокружительной быстротой. Снесся по факсу с московским архивом, убедился, что нужный документ действительно имеется в хранилище и может быть выдан, а остальное и вовсе было пустяками: билет, заказ гостиницы, составление завещания (так, на всякий случай). Все движимое и недвижимое имущество за неимением ближних и дальних родственников Николас завещал Всемирному Фонду борьбы за права животных.

И все, в путь — морем, потом поездом, по предполагаемому маршруту следования далекого предка.

В кейсе, что сейчас покоился под сиденьем спального вагона, лежало все необходимое: солидная рекомендация от Королевского исторического общества, ноутбук со спутниковым телефоном, ручным сканером и новейшей, только что разработанной программой расшифровки старинных рукописей, заветная половинка духовной с сопроводительным сертификатом, страховка, обратный билет с открытой датой (не на поезд, на самолет).

Перед встречей с отчизной Николас прошел курс аутотренинга, призванный поколебать наследственное предубеждение.

Предположим, Россия — страна не слишком симпатичная, говорил себе магистр. Политически сомнительная, цивилизационно отсталая, к тому же нетвердых моральных устоев. Но это все понятия относительные. Кто сказал, что Россию нужно сравнивать с благополучной Англией, которая перешла к пристойной жизни на сто или двести лет раньше? А почему не с Северной Кореей или Республикой Чад?

К тому же и к англичанам у Фандорина претензий хватало. Нация каких-то армадиллов, каждый сам по себе, тащит на себе свой панцирь — не достучишься. Да и стучаться никто не станет, потому что это будет считаться вторжением в приватность. А хваленое британское остроумие! Господи, ни слова в простоте, все с ужимкой, все с самоиронией. Разве возможно поговорить с англичанином на какую-нибудь «русскую» тему, вроде добра и зла, бессмертия или смысла бытия? Невозможно. То есть, конечно, возможно, но лучше не стоит.

И еще теплилась надежда на внерациональное, интуитивное — на русскую кровь, славянскую душу и голос предков. Вдруг, когда за окнами вагона потянутся скромные березовые рощицы и осиновые перелески, а на станции с перрона донесутся голоса баб, продающих смородину и семечки (или что у них

там теперь продают на перронах?), сердце стиснет от глубинного, сокровенного *узнавания*, и Николас увидит ту самую, прежнюю Россию, которая, оказывается, никуда не делась, а просто постарела — нет, не постарела, а повзрослела — на сто лет. Ужасно хотелось, чтобы именно так все и вышло.

* * *

Вот о чем думал магистр истории Н. Фандорин под перестук колес фирменного поезда «Иван Грозный», доматывавших последние километры до латвийско-русской границы. Жалко, почти совсем стемнело, и пейзаж за окном сливался в сине-серую массу, оживляемую редкими огоньками, да еще мистер Калинкинс очень уж отвлекал своим далеким от совершенства английским.

Сначала, когда он жаловался на трудности с проникновением латвийских молочных продуктов на европейский рынок, было еще терпимо. Фандорин хотел было дать коммерсанту добрый совет: забыть о европейском рынке, куда латвийскую фирму все равно ни за что не пустят — своих коров девать некуда, а вместо этого лучше дружить с русскими и радоваться, что под боком есть такой гигантский рынок сбыта сметаны. Хотел дать совет, да вовремя удержался. Была у Николаса вредная, неизлечимая привычка — соваться к людям с непрошеными советами, что в Англии считается неприличным и даже вовсе невообразимым. За тридцать с лишним лет жизни на Британских островах Фандорин столько раз прикусывал себе язык, уже готовый самым беззастенчивым образом вторгнуться в чужую *privasy*, что даже удивительно, как сей коварный инструмент не был откушен начисто.

К тому же совет вряд ли пришелся бы балтийцу по вкусу, потому что от сетований на жестокосердие европейцев мистер Калинкинс перешел на обличение русских, хуже которых, по его мнению, были

только скаредные эстонцы. Николас и сам был не слишком лестного мнения о новых русских, но слышать собственные суждения из уст *иностранца* было противно. (Кажется, и Пушкин писал что-то в этом роде?)

— Нам с вами не повезло, — бубнил экспортер сметаны. — Не хватило билетов на наш фирменный поезд «Карлис Ульманис». Там все по-другому — чисто, культурно, свежие молочные продукты в ресторане. А это какой-то Гулаг на колесах. Вы знаете, что такое «Гулаг»? Проводники дают холодный чай, в ресторане пахнет тухлой капустой, а после границы, вот увидите, по вагонам начнут таскаться проститутки.

— Я представлял себе Гулаг несколько иначе, — не удержавшись, съязвил Фандорин, но попутчик иронии не понял.

— Это еще что! — понизил он голос. — После паспортного контроля и таможни мы с вами запрем дверь на замок и цепочку, потому что... *пошаливают*. — Мистер Калининс произнес это слово по-русски (получилось: *because they there... poshalivayut*), пощелкал пальцами и перевел этот специфический глагол как «hold up»¹. — Настоящие бандиты. Врываюся в купе и отбирают деньги. А поездная полиция и проводники с ними заодно — подсказывают, где пассажиры побогаче. Вот в позапрошлом месяце один мой знакомый...

Николасу надоело слушать эту русофобскую болтовню, и он совершил вопиюще неучтивый поступок — нацепил наушники и включил плеер, кассета в котором была установлена на психотерапевтическую песню, призывавшую полюбить Россию черненькой. Фандорин так заранее и спланировал: пересечь границу под хриплый голос певца Юрия Шевчука.

Кажется, действовало.

«Родина, еду я на Родину!» — зазвучало в наушниках, «Иван Грозный» сбавил ход, готовясь тормо-

¹ Грабить (*англ.*).

зить у первой русской станции, и Николас закачался в такт заводному припеву. В сердце и в самом деле что-то такое шевельнулось, в носу зашипало, на глазах — вот еще тоже новости! — выступили слезы.

Родина! Еду я на Родину!
Пусть кричат «Уродина!»
А она нам нравится!
Хоть и не красавица!
К сволочи доверчива! —

не выдержав, подпел Николас зычному певцу и спохватился. Он знал, что петь вслух ему категорически противопоказано: как у чеховского героя, голос у него сильный, но противный, и к тому же полностью отсутствует музыкальный слух.

Фандорин повернулся от окна и виновато покусился на латыша. Тот взирал на англичанина с ужасом, словно увидел перед собой Медузу Горгону. Певец из Николаса, конечно, был паршивый, но не до такой же степени? «Ах да, — вспомнил магистр, — Калининс ведь не знает, что я владею русским».

Однако объясняться не пришлось, потому что в этот самый момент дверь с лязгом отъехала, и в купе, грохоча сапогами, ввалились двое военных в зеленых фуражках: офицер и солдат.

Офицер был неправдоподобно краснолицый и, как показалось магистру, не вполне трезвый — во всяком случае, от него пахло каким-то крепким, но, видимо, недорогим спиртным напитком; к тому же он то и дело икал.

«Это пограничная стража», — сообразил Фандорин.

Главный страж встал перед британцем, протянул ему вытянутую лопаткой ладонь и сказал:

— Ик.

Николас смешался, поняв, что совершенно не представляет себе, как происходит в России обыденный ритуал проверки паспортов. Неужто его принято начинать с рукопожатия? Это непривычно и, должно быть, не слишком гигиенично, если учесть,

сколько пассажирских ладоней должен пожать офицер, но зато очень по-русски.

Фандорин поспешно вскочил, широко улыбнулся и крепко пожал пограничнику руку. Тот изумленно уставился на сумасшедшего иностранца снизу вверх и вполголоса пробормотал, обращаясь к подчиненному:

— Во урод. Гляди, Сапрыка, еще не такого насмотришься.

Потом выдернул пальцы, вытер ладонь о штаны и гаркнул:

— Паспорт давай, черт нерусский! Паспорт, андерстэнд? — И снова солдату: — С него не паспорт, а справку из дурдома брать.

Тоший, бледный Сапрыка неуверенно хихикнул. К красной книжечке с национальной британской фауной — львом и единорогом — странный пограничник отнесся безо всякого интереса. Сунул помощнику со словами:

— Шлепни. Ик.

Солдатик тиснул на открытой страничке штемпель, а офицер тем временем уже занялся мистером Калинкинсом.

— Ага, — зловеще протянул краснолицый. — Братская Латвия. — Морщась, полистал странички, одну зачем-то посмотрел на свет. — А визка-то кирдык, смазанная, — с явным удовлетворением отметил он. — С такой только в Африку ездить. И дату толком не разберешь.

— Мне такую в вашем консульстве поставили! — заволновался коммерсант. — Не я же штамп ставил! Господин старший лейтенант, это придирки!

Старший лейтенант прищурился:

— Придирки, говоришь? А как ваши погранцы наших граждан мурыжат? Я щас ссажу тебя до выяснения, вот тогда будут придирки.

Мистер Калинкинс побледнел и дрогнувшим голосом попросил:

— Не надо. Пожалуйста.

Подержав паузу, пограничник кивнул:

— Вот так. Я вас научу Россию уважать... Ик! Ладно, шлепни ему, Сапрыка. — И величественно вышел в коридор, задев плечом дверь.

Солдатик занес штемпель над паспортом, покопался на калинкинсовскую пачку «Уинстона», что лежала на столике, и тихонько попросил:

— Сигареткой не угостите?

Латыш, шипяще выругавшись по-своему, подтолкнул к протянутой руке всю пачку.

Николас наблюдал за этой сценой в полном оцепенении, но потрясения еще только начинались.

Не прошло и минуты, как дверь снова отъехала в сторону (стучаться здесь, видимо, было не принято), и в купе вошел чиновник таможни. На шее у него висела шариковая ручка на шнурке. Окинул быстрым взглядом обоих пассажиров и сразу подсел к гражданину Латвии.

— Наркотики? — задушевно спросил таможенник. — Героинчик там, кокаинчик?

— Какие наркотики! — вскричал злосчастный Калининс. — Я бизнесмен! У меня контракт с «Сырколбасимпэксом»!

— А личный досмотр? — сказал на это человек в черно-зеленой форме, обернулся к Николасу, доверительно сообщил: — У нас тут на прошлой неделе тоже был один «бизнесмен». Пакетик с дурью в очке прятал. Ничего, отыскивали и в очке.

Латыш нервно сглотнул, сунул таможеннику под столom что-то шуршащее.

— Ну, контракт так контракт, — вздохнул чиновник и — Фандорину — А вы у нас откуда будете?

И опять британский паспорт вызвал куда меньше интереса, чем латвийский.

— Gute Reise, — почему-то по-немецки сказал таможенник, поднимаясь.

Досмотр завершился.

Поезд заскрежетал тормозами, вагон покачнулся и встал. За окном виднелась скупо освещенная

платформа и станционное здание в стиле ложный ампи́р с вывеской

НЕВОРОТЫНСКАЯ

Моск.-Балт. ж. д.

Вот она, русская земля!

Первое знакомство с представителями российского государства произвело на магистра истории столь ошеломляющее впечатление, что возникла насущная потребность срочно перекусить.

Дело в том, что Николас Фандорин спиртного не употреблял вовсе, а ел очень умеренно, да и то лишь физиологически корректную пищу, поэтому знакомый большинству людей позыв пропустить рюмочку, чтобы успокоиться, у него обычно трансформировался в желание съесть что-нибудь внеплановое и неправильное.

Памятуя предупреждение попутчика о вагоне-ресторане, Николас решил купить что-нибудь в станционном буфете — благо в расписании значилось, что поезд стоит в Неворотынской целых пятнадцать минут (очевидно, чтобы высадить пограничников, таможенников и задержанных нарушителей). На всякий случай портмоне с деньгами, документами и кредитными карточками Фандорин оставил в кейсе, а с собой взял несколько тысячерублевых бумажек, предусмотрительно обмененных на рижском вокзале.

Проводник, сидевший на ступеньке, посторонился, давая пассажиру спуститься, и шумно зевнул. Под этот неромантичный звук потомок восьми поколений русских Фандориных ступил на родную, закатанную асфальтом почву.

Посмотрел налево, посмотрел направо.

Слева висел выцветший длинный транспарант с изображением усатого советского солдата в пилотке и белыми буквами:

50 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ МЫ ПРОШЛИ С ТОБОЙ ПОЛСВЕТА, ЕСЛИ НАДО — ПОВТОРИМ!

Справа стоял небольшой гипсовый Ленин в кепке и с вытянутой рукой. Николас удивился, ибо в газетах писали, что все культовые памятники тоталитаризма давно снесены. Очевидно, здесь так называемый «красный пояс», решил магистр и вошел в станционный зал.

Там пахло как в давно засорившемся туалете, а на лавках лежали и спали грязные, оборванные люди — надо полагать, современные клошары, которых называют бомжами. Разглядывать этих живописных челкашей Николас постеснялся и поскорее прошел к стеклянной буфетной стойке.

От нервного возбуждения тянуло на что-нибудь особенно крамольно: хот-дог или даже гамбургер. Однако на тарелках лежали только неровные куски белого хлеба с жирной черной колбасой, завернувшимися кверху ломтиками сыра и маленькими ссохшимися рыбешками. Вид этих сэндвичей заставил Фандорина содрогнуться. Он пошарил взглядом по прилавку и в конце концов попросил усталую, мутноглазую продавщицу, рассматривавшую ползавших по стойке мух:

— Мне йогурт, пожалуйста. С фруктами. Нет, лучше два.

Буфетчица, не поднимая глаз, кинула на прилавок две ванночки «тутти-фрутти» (обычно Николас покупал «данон» — обезжиренный, без вкусовых добавок, но безумствовать так безумствовать), взяла две тысячерублевки и вместо сдачи выложила три леденца в блеклых бумажках.

— Но позвольте, срок годности этого продукта истек еще месяц назад, — сказал Фандорин, изучив маркировку. — Этот йогурт есть нельзя.

Тут продавщица наконец взглянула на привередливого покупателя и с ненавистью процедила:

— Ух, как же вы все меня достали. Вали отсюда, дядя Степа! Без тебя тошно.

И так она это искренне, убедительно сказала, что Николас забрал просроченный йогурт и растерянно пошел к выходу.

У дверей кто-то схватил его за рукав.

— Эй, мистер, вонна фак?

Фандорин решил, что ослышался — вряд ли этот непривлекательный, бородатый субъект, похожий на лешего из сказки, мог всерьез предлагать ему свои сексуальные услуги.

— Тен бакс. Онли тен бакс! До некст стейшн, — незнакомец показал на поезд, а потом куда-то в сторону, — тен бакс!

Оказывается, сбоку, у стены, стояла девочка — рыженькая, веснушчатая, на вид никак не старше лет тринадцати. Она равнодушно посмотрела на иностранца, хлопнула густо накрашенными ресницами и выдула из протiwоестественно алых губ пузырь баббл-гама.

— Господи, да она совсем ребенок! — воскликнул потрясенный Николас. — Сколько тебе лет, девочка? Ты ходишь в школу? Как ты можешь? За десять долларов! Это чудовишно!

Девочка шмыгнула носом и звонко хлопнула жевательной резинкой, а сутенер толкнул магистра в плечо и сказал по-русски:

— Дай больше, если такой добрый.

Фандорин бросился вон из этого вертепа.

— Фак ю, мистер! — крикнул вслед бородатый.

О ужас, поезд уже тронулся, хотя положенные пятнадцать минут еще не истекли! Охваченный паническим страхом при одной мысли о том, что может остаться в этой кошмарной Неворотынской, Николас швырнул йогурты в урну и со всех ног бросился догонять уплывающий вагон.

Едва успел вскочить на подножку. Проводник курил в тамбуре с двумя рослыми молодыми людьми в сине-белых спортивных костюмах. Мельком оглянулся на запыхавшегося англичанина, никаких

чувств по поводу его благополучного возвращения не выразил.

«Ни в какие Кромешники не поеду, — думал Николас, шагая по коридору, — сосканирую вторую половинку завещания, пороюсь в столбцах Иноземного и Рейтарского приказов и обратно, в Лондон. Три дня. Максимум — пять. Режим в Москве будет такой: отель — архив — отель».

* * *

Нет, историческая Родина Фандорину решительно не понравилась. Интересно, как она может нравиться певцу Шевчуку?

Хуже всего было то, что в душе магистра зашевелилось нехорошее предчувствие, подсказывавшее: отныне и ту, прежнюю Россию он уже не сможет любить так беззаветно, как прежде. Ах, отец, отец, мудрейший из людей...

Торговец сметаной заперся в купе и впустил попутчика не сразу, а когда все-таки открыл, то демонстративно заслонился глянцевым латвийским журналом.

Всякий раз, когда Николас оказывался в трудном положении или особенно скверном состоянии духа, он сочинял лимерик. Некоторое напряжение мысли, необходимое для этого тонкого занятия, в сочетании с комичной нелепостью результата способствовали релаксации и восстановлению позитивного взгляда на мир. Испытанный способ помог и сейчас — после экзерсиса в стихосложении настроение и в самом деле немного улучшилось.

Тут кто-то деликатно постучал в дверь. Фандорин приподнялся отодвинуть засов, а мистер Калинкин отложил журнал и нервно сказал по-русски:

— Через цепочку! Только через цепочку!

В приоткрывшейся щели было совсем темно, хотя еще несколько минут назад в коридоре горел свет. Прямо к лицу Николаса протянулась рука в

чем-то синем, с белой полосой вдоль рукава, и в нос ударила щекочущая, зловонная струя.

Фандорин хотел было возмутиться такому вопиющему непотребству, но не стал, потому что его вдруг перестали держать ноги.

Магистр истории осел на пол, припал виском к косяку, ощутив жесткость металлического ребра, и утратил контакт с реальностью.

Реальность вернулась к одурманенному англичанину тоже через висок, который так ныл и пульсировал, что Николас волей-неволей был вынужден сначала помотать освинцовевшей головой, а потом и открыть глаза.

Еще минут пять ушло на то, чтобы восстановить прервавшуюся череду событий и осознать смысл случившегося.

Мистер Калинкинс лежал на своем месте, закатив белковатые глаза. Из рта у него стекала нитка слюны, на груди лежал выпотрошенный бумажник.

Николас опустил на колени возле попутчика, пощупал шейную артерию — слава богу, жив.

Нога задела что-то твердое. Кейс! Его собственный «самсонайт», виновато разжавившийся на хозяина.

Внутри пусто. Ни ноутбука, ни телефона, ни портмоне, ни — что кошмарней всего — конверта, в котором лежала трехсотлетняя фамильная реликвия.

Ужас, ужас!

Приложение:

Лимерик, сочиненный Н. Фандориным после отбытия со станции Неворотынская вечером 13 июня, в начале одиннадцатого:

*Один полоумный магистр
Был слишком в решениях быстр.
В край осин и берез
Его леший занес
И сказал дураку: «Фак ю, мистер».*

Глава вторая

Корнелиусу улыбается Фортуна. Сокровища кожаной сумки. Знакомство с москвитями. Деревня Неворотынская. Доброе предзнаменование. Ложный Эдем.

Корнелиус пронзительно взвизгнул «йййэхх!», стегнул плеткой доброго испанского жеребца, купленного в Риге за сорок три рейхсталера (считай, половина московитского задатка), и вороной, напуганный не столько ударом, сколько диким, в самое ухо, воплем, с места взял рысью. Хороший конь: приемистый, широкогрудый, на корм нежадный — с ведра воды и полчетверика овса до семи миль проходит, не спотыкается. Да и на резвость, выходило, недурен. А конская резвость для Корнелиуса сейчас была ох как важна.

Сзади, на длинном поводке, попевала мохнатоногая каурая кобылка с поклажей — тоже вовсю старалась, выкидывала в стороны растоптанные копыта. Самое ценное фон Дорн, конечно, держал при себе, в седельной сумке, но оставаться без каурой было не резон, поэтому все же слишком не гнал, придерживал. Во вьюках лежало необходимое: вяленое мясо, соль, сухари и теплая шуба собачьей шерсти, потому что, сказывали, в Московии и в мае бывают лютые морозы, от которых трескаются деревья и покрываются ледяными иглами усы.

Отрысив на полста шагов, Корнелиус обернулся на пограничную стражу. Тупорылый пристав, обомлев от невиданной дерзости, так и пялился вслед. Трое стрельцов махали руками, а один суетился,

прилаживал пищаль — допотопную, такие в Европе еще в Тридцатилетнюю войну перевелись. Пускай его, все равно промажет. Неспособность русских к огненному бою известна всякому. Для того лейтенант — нет, теперь уже капитан — фон Дорн и призван в Москву: обучать туземных солдат премудростям меткой стрельбы и правильного строя.

Голландская служба надежд не оправдала. Сначала их нидерландские высокомогущества платили наемникам исправно, но когда война с англичанами закончилась, а сухопутные сражения с французами поутихли, вюртембергские мушкетеры оказались не нужны. Кто перешел служить к полякам, кто к шведам, а Корнелиус все маялся в Амстердаме, проживал последнее.

И то сказать, настоящей войны давно уже не было. Пожалуй, что и совсем кончились они, настоящие войны. Десять лет, с безусого отрочества, тянул фон Дорн солдатскую лямку — простым рейтаром, потом корнетом, два года тому наконец выкупил лейтенантский патент — а все выходило скудно, ненадежно, да и ненадолго. Два года послужил французам, полгода мекленбургскому герцогу, год датчанам, после шведов — нет, шведам после датчан. Еще вольному городу Бремену, польскому королю, снова французам. Попал в плен к голландцам, повоевал теперь уже против французов. На лбу, возле левого виска полукруглая отметина: в бою под Энцгеймом, когда палили из каре по кирасирам виконта де Тюренна, раненая лошадь билась на земле и ударила кованым копытом — чудо Господне, что череп не расколола. Дамам Корнелиус говорил, что это шрам от стрелы Купидона, девкам — что след от кривого турецкого ятагана.

Вот куда бы податься — к австрийцам, с турками воевать. К такому решению стал склоняться храбрый лейтенант на исходе третьего месяца безделья, когда долги перевалили за две сотни гульденов и стало всерьез папахивать долговой ямой. Уж, кажется, немолод, двадцать шестой год, а ни славы, ни богат-

ства, ни даже крыши над головой. В Теофельс, к старшему брату, не вернешься, там лишнему рту не обрадуются. У Клауса и без того забот хватает: надо замок чинить, да старую, еще отцовскую ссуду монастырю выплачивать.

Только где они, турки? До Вены добираться дорого, далеко, и ну как вакансии не сыщется? Тогда хоть в монахи иди, к брату Андреасу — он из фон Дорнов самый умный, уже аббат. Или в аманты к какой-нибудь толстой, старой купчихе. Хрен горчицы не слаще.

И тут вдруг сказочная улыбка Фортуны! В кабаке на Принцевом канале подсел к столу солидный человек, назвался отставным полуполковником московитской службы, господином Фаустле. Оказался почти что земляк, из Бадена. Послужил царю четыре года, теперь вот едет домой — хочет купить дом с садом и жениться. До Амстердама герра Фаустле мило-стиво довез русский посланник фюрст Тулупов, который отряжен в Европу вербовать опытных офицеров для русской армии. Жалованье платят не столь большое, но зато исправно. Выдают на дорогу щедрые кормовые, сто рейхсталеров, а по приезде еще и подъемные: пятьдесят рейхсталеров серебром, столько же соболями и пять локтей тонкого сукна. Главное же — для человека отважного и предприимчивого, который хочет составить свое счастье, эта азиатская страна открывает поистине безграничные возможности. Полуполковник объяснил, где остановился русский фюрст, заплатил за вино и пересел к другому столу — разговаривать с двумя голштинскими драгунами. Корнелиус посидел, подумал. Крикнул герру Фаустле: «А с турками царь воюет?» Оказалось, воюет — и с турками, и с татарами. Это решило последние сомнения.

Ну а уж когда Корнелиус увидел московитского посланника в парчовой, расшитой драгоценными камнями шубе, в высокой шапке из великолепных соболей (каждая такая шкурка у меховщика самое

малое по двести рейхсталеров идет!), то уже боялся только одного — не возьмут.

Ничего, взяли. И условия заключил в самом лучшем виде: к ста рейхсталерам подорожных и подъемным (не соврал полуполковник, все точно — и серебро, и соболя, и сукно) еще жалованья одиннадцать рублей в месяц да кормовые. Срок контракта — четыре года, до мая 1679-го. Для пущей важности и чтоб был маневр для торга, фон Дорн потребовал капитанского чина, зная, что без патента не дадут. Дали! Был лейтенант — вечный, без надежды на выслугу, а теперь стал капитан мушкетеров. Посол сразу и бумаги выправил на новое звание, с красными сургучными печатями, честь по чести.

До Риги новоиспеченный капитан доплыл на рыбацкой шнеке — Польшу лучше было объехать стороной, потому что могли припомнить позапрошлогоднее дезертирство из полка князя Вишневецкого. Весь пропах селедкой, зато вышло недорого, всего шесть рейхсталеров.

В лифляндской столице, последнем европейском городе, запасся всем необходимым, чего в Азии было не достать: толченым мелом для чистки зубов (их замечательная белизна принесла Корнелиусу немало галантных побед); не новым, но еще вполне приличным париком (цвет — вороново крыло); батавским табаком; плоской, удобной блохоловкой (вешается наискосок, под мышку). Ждать попутчиков не стал — у капитана фон Дорна английский мушкет, два нюрнбергских пистолета и толедская шпага, лесных разбойников он не боится. Отправился к русской границе один.

Дорога была скучная. На пятый день достиг последнего шведского поста — крепостцы Нойхаузен. Лейтенант, проводивший фон Дорна до пограничной речки, показал направление: вон там, за полем и лесом, в двух с половиной милях, русская деревня Неворотынская, названная так потому, что у московитов тут всего два поселения, и второе называется Воротын-

ская, поскольку принадлежит стольнику Воротынскому. «Вот вам пример того, как глупы и лишены воображения эти чесночники, — сказал лейтенант. — Если бы здесь была еще и третья деревня, они просто не знали бы, как им решить такую головоломку».

«Почему чесночники?» — спросил Корнелиус. Лейтенант объяснил, что русские начисто лишены обоняния. При нездоровом пристрастии к мытью (моются чуть ли не раз в месяц, что, впрочем, скорее всего объясняется распушенностью, ибо бани у них для мужчин и женщин общие), москвиты совершенно равнодушны к дурным запахам, а главная их пища — сырой лук и чеснок.

Корнелиуса это известие несколько не расстроило. Всякий, кто подолгу сживал в осаде, знает, что чеснок очень полезен — хорош и от скорбута, и от опухания ног, и даже, говорят, от французской болезни. Пусть русские едят чеснок сколько им угодно, лишь бы жалованье платили в срок.

* * *

Он переправился через речку вброд, проехал с полмили, и из-за кустов выскочила ватага: один толстый, со свинячьим багровым рылом сидел на лошади, еще четверо трусили следом. Все были в длиннопольных зеленых кафтанах, изрядно засаленных, только у конного кафтан был целый, а у пеших в дырках и заплатах. Корнелиус испугался, что разбойники, и схватился было за седельную кобуру, но сразу же сообразил, что лихие люди в мундирах не ходят. Стало быть, пограничная стража.

Трое солдат были с алебардами, один с пищалью. У офицера на боку висела кривая сабля. Он грозно сказал что-то, налегая на звуки *tsz*, *tch* и *tsch* — будто на гуся зацыкал. О смысле сказанного можно было догадаться и без перевода. Что за человек, мол, и какого черта топчешь землю великого московского царя.

Фон Дорн учтиво приподнял шляпу, достал из сумки дорожную грамоту, выразительно покачал печатями. Потом развернул и сделал вид, что читает из середины — на самом деле повторил заученное наизусть: «I tomu muschkaterskomu kapitanu Korneju Fondornowu jechati wo Pskow, da w Welikij Nowgorod, da wo Twer, a izo Tweri na Moskwu ne meschkaja nigde».

Офицер снова зацыкал и зашикал, потянулся за грамотой (дохнуло дрянным шнапсом), но Корнелиус, слава богу, не вчера на свет появился. Еще разок показал подвешенную печать, да и прибрал дорожную от греха.

— Pskow — Nowgorod — Twer — Moskwa, — повторил он и строго погрозил. — Meschkaja nigde (что означало «по срочному государственному делу»).

Под кустом, оказывается, сидел еще один москвит — без оружия, с медной чернильницей на шее и гусиным пером за ухом.

Лениво поднявшись, он сказал на скверном, но понятном немецком:

— Плати три ефимка приставу, один мне, один стрельцам — им тоже жить надо — и езжай себе с Богом, коли нужный человек.

«Пять рейхсталеров? Пять?! Да за что?!»

— Ага, сейчас, — кивнул Корнелиус. — Только подпругу подтяну.

Подтянул. А после ка-ак гикнет коню в ухо, ка-ак стегнет плеткой. Дырку вам от прецля, господа стражники, а не пять рейхсталеров.

Сзади пальнули, и воздух зашуршал неожиданно близко, в каком-нибудь полулокте от уха. Но ничего, Бог миловал. Фон Дорны везучие, это издавна известно. Одна беда — никогда не умели извлекать пользу из своей удачливости. А виной тому проклятое чистоплюйство, да еще злосчастный семейный девиз, придуманный первым из рода, Тео-Крестоносцем, на беду потомкам: *Honor primum, alia deinde*¹.

¹ Сначала честь, остальное потом (лат.).

Прапрадед Тибо-Монтесума, вернувшийся из Мексики с целой повозкой ацтекского золота, вызвал дерзкими речами гнев императора Карла — остался и без золота, и без головы. Двоюродный дед Ульрих-Красавчик достиг блестящего положения, став фаворитом вдовствующей герцогини Альтен-Саксенской. И что же? Влюбился в бесприданницу, покинул княжеский дворец и окончил свои дни в бедности.

Когда-то Корнелиусу по молодости и глупости виделась особенная красота и лихость в этой фондорновской нерачительности к подаркам судьбы, но, поголодав в походах и осадах, померзнув, поглотив дыму, он понемногу вошел в разум, понял: честь хороша для тех, кто может ее себе позволить. А если все твоё состояние помещается в невеликой седельной сумке, то про неё лучше до поры до времени забыть.

Что же там было, в заветной сумке?

Перво-наперво — грамота от князя Тулупова, пропуск к славе и богатству, достигнув которых, можно будет и о чести вспомнить.

Потом кипарисовый крестик из Святой Земли, выигранный в кости у одного анжерского капуцина.

Золотой медальон с инициалами «C. v. D.» — тайный матушкин подарок, когда навечно уезжал из Теофельса. Раньше внутри лежала частица Древа Истинного Креста Господня, да в прошлом году выпала в битве близ Шарлеруа, потерялась.

Самая же дорогая и редкая вещь — превосходный будильник, корнелиусова доля при разделе отцовского имущества. Дележ был честный, согласно завещанию. Клаусу достались замок, земля и долги; Марте и Грете — по перине и две подушки и по два платья; Фердинанду — хороший конь с седлом; Андреасу — ничего, потому что слуге Божию земное достояние — тлен; самому же младшему, Корнелиусу — будильник, военный трофей покойного батюшки, валленштейновского солдата. Будильник был брон-

зовый, с хрустальным окошком и золочеными цифрами, а могли звонить или давно сломался, того Корнелиус не знал, потому что берег драгоценную вещь пуше глаза и механизм не заводил. Никогда, даже в самую трудную пору, отцовское наследство в заклад не сдавал, при игре на кон не ставил. У будильника был особенный смысл. Такая роскошная безделица хорошо смотрелась бы лишь в богатом антураже, среди бронзовых скульптур, мрамора и бархатных портьер, и цель карьеры Корнелиус определял для себя так: найти будильнику подходящее обиталище и на том успокоиться. Пока до цели было ох как далеко.

Но там же, в кожаной сумке, лежал маленький сверточек, благодаря которому странствия будильника могли благополучно завершиться в не столь уж отдаленном будущем. Прядь медно-рыжих волос, тщательно завернутая в пергамент, сулила Корнелиусу барыши, которых не накопишь никаким жалованьем, да и у турков на шпагу вряд ли возьмешь. Перед отплытием в Ригу была у мушкетерского капитана деловая беседа с торговцем Яном ван Хареном, что поставляет в европейские столицы прекрасные рыжие волосы голландских женщин для производства наимоднейших париков «Лаура». Ван Харен сказал, что рыжие голландки жадны и привередливы, ломают за свои жидкие патлы бешеную цену, пользуясь тем, что их, красноволосых, не столь уж много. А вот в Московии женщин и девок с волосами того самого бесподобного оттенка без счету — просто через одну, да и дорожиться они не станут. Расчет был прост и верен: на капитанское жалованье покупать задешево у московиток их косы, с купеческими караванами переправлять в Амстердам ван Харену, а тот будет класть причитающееся вознаграждение в банк. Локон был выдан для образца, чтоб не ошибиться в цвете, а на пергаменте торговец собственноручно вывел оговоренную цену — 1500 гульденов за возок. Это ж сколько за четыре года денег наберется! И войны с турками не надо.

Погода по майскому времени была ясная, легкая, птицы щебетали точь-в-точь как в родном Теофельсе, и настроение у Корнелиуса сделалось победительное. Для верности он проскакал еще с милую резвой рысью, хотя предположить, что хмельной предводитель зеленых стражников станет за ним гнаться, было трудно. Потом, когда каурая стала мотать башкой и разбрасывать с морды хлопья пены, перешел на шаг. Надо было покормить лошадей, напоить, да и самому неплохо пропустить стаканчик за удачное бытование в русских землях.

Когда под пригорком открылась деревня, капитан сначала решил, что она нежилая — то ли разоренная мором, то ли брошенная жителями. Серые, кривые дома под гнилыми соломенными крышами, слепые оконца, часовенка со съехавшим на сторону восьмиконечным крестом. Но над одной из лачуг, длинной и окруженной забором, вился дымок, а в стороне от селения, на лугу, паслось стадо: три костлявые коровенки и с десятков грязных овец. Надо думать, это и была Неворотынская.

По единственной улице Корнелиус ехал не спеша, с любопытством оглядывался по сторонам. Такой нищеты он не видывал даже в Польше. Ни курицы, ни плодового деревца, ни телеги. Даже собак, и тех нет. Удивило, что из крыш не торчат печные трубы — кажется, здесь топили по-черному, как у самоедов на далеком Севере.

Люди, однако, попадались. Сначала древняя, лет шестидесяти, старуха. Она выскочила из щербатых ворот, когда вороному вздумалось опростаться на ходу, покидала в подол мешковинной юбки дымящиеся яблоки (обнажились землистого цвета тощие ноги) и, плюнув вслед иностранцу, засеменила обратно. «Съест, что ли?» — испугался Корнелиус, но потом успокоил себя: для огородного удобрения или на растопку.

Потом попался мужик, в одной рубахе. Он лежал посреди дороги не то мертвый, не то пьяный, не то просто спал. Конь осторожно переступил через него, кобыла обошла стороной.

Из-за плетня высунулись двое ребятишек, совсем голые, чумазые. Уставились на иноземца пустыми, немигающими глазенками. Один шмыгал носом, второй сосал палец. Корнелиусу они показались совершеннейшими зверенышами, хорошо хоть вели себя тихо — подаяния не кланчили и камнями не кидались.

Впереди показалась давешняя лачуга, единственная на всю деревню при трубе и слюдяных оконцах (в прочих домах малюсенькие окна были затянуты бычьими пузырями). У крыльца лежали еще двое недвижных мужиков, во дворе стояло несколько повозок, на привязи топталось с полдюжины лошадей. То, что надо: корчма или постоянный двор.

Корнелиус въехал за ограду, подождал, не выглядит ли слуга. Не выглянул. Тогда крикнул: «Эй! Эгей!» — до пяти раз. Все равно никого. Вышел было на крыльцо человек в одних портках, с медным крестом на голой груди, но не в помощь путнику. Постоял, покачался, да и ухнул по ступенькам головой вниз. Из разбитого лба пропойцы натекла красная лужица.

Здесь много пьют, сделал для себя вывод Корнелиус. Должно быть, сегодня какой-нибудь праздник.

Привязал лошадей сам. Расседлал, насыпал своего овса (был во выюке кое-какой запасец). Каурая немного сбила левую заднюю, надо бы перековать. Вороной был в порядке — чудо, а не конь.

Седельную сумку взял с собой, пистолеты тоже, мушкет повесил через плечо. За выюками надо будет поскорей прислать слугу, а то не дай Бог утащат.

Толкнул дощатую дверь, оказался в полутемном сарае. Шибануло в нос кислым, гнилым, тухлым.

Шведский лейтенант сказал правду, пахло от москвитов не амброзией.

Постоял на пороге, привыкая к сумраку. Несколько длинных столов, за ними молчаливые — нет, не молчаливые, а тихо переговаривающиеся — бородатые оборванцы. Перед ними глиняные кружки либо квадратные штофы толстого зеленого стекла, одни побольше, другие поменьше. Пьют часто, запрокидывая голову рывком. Пальцами из мисок берут рубленую капусту. В дальнем углу стойка, за ней дремлет кабатчик.

Капитан шагнул было в ту сторону, да вдруг обмер, захлопал глазами. Возле самой двери, на полу, сидела на коленях девчонка, лет тринадцати, в грязной рубашке, грызла подсолнечные семена, плевала на пол. Была она конопатая, с намалеванными до ушей угольными бровями, с вычерненными сажей ресницами, со свекольным румянцем во всю щеку. Но поразила Корнелиуса не эта дикарская раскраска, а цвет непокрытых и нечесаных, до пупа, волос. Он был тот самый, медно-красный, настоящая «Лаура»! Встреча с Москвией начиналась добрым предзнаменованием.

Фон Дорн нагнулся, взял двумя пальцами прядь, посмотрел получше. Никаких сомнений. Если отправлять в Амстердам, скажем, по три, нет, по четыре возка в год, то за четыре года это получится... двадцать четыре тысячи гульденов! Дай срок, мой прекрасный будильник, скоро ты обретешь достойное тебя жилище.

Девчонка посмотрела на шепчущего иноземца снизу вверх, головы не отдернула, плевать шелуху не перестала. Покупать у нее волосы сейчас, конечно, смысла не имело — похоже, в Москве недостатка в рыжих не будет. Но прицениться все же стоило, чтобы прикинуть, во сколько станет возок.

Корнелиус дернул за волосы, да еще показал на них пальцем. Применит одно из десятка необходимых слов, выученных по дороге:

— Potschom?

Ответила не девчонка, а косматобородый плюгавец с черной повязкой поперек лица:

— Poluschka.

Оскалил голые десны, сделал чудовищно похабный жест и сказал еще что-то, подлиннее. Капитан разобрал слово «koreika». Девчонка шмыгнула носом и вдруг задрала подол до тощих, как веточки, ключиц. Зачем, неясно. Под рубашкой она оказалась совсем голая, но смотреть там по малолетству пока еще было не на что. Должно быть, убогая рассудком, догадался Корнелиус, думая о другом.

Предположим, бородач сказал, что за полушку волосы дадут обрезать частично, за копейку под корень. Полушка — это четверть копейки, на гульден менялы дают двадцать копеек... Волос на вид было фунта на два. От умножения и получившихся цифр у Корнелиуса заколотилось сердце. Выходило очень дешево!

Плюгавец все лез, толкал в бок, подсовывал девчонку и так, и этак. Капитан слегка двинул его в ухо, чтоб отстал, и пошел к стойке.

Он охотно съел бы сейчас пол бараньей ноги или целого каплуна, но горячей еды здесь, похоже, не подавали. На прилавке, среди мутных, пахучих луж стояло блюдо со склизкими грибами, миска с черной, клейкой на вид массой, еще лежали несколько ломтей серого хлеба, а кислая капуста была вывалена горой прямо на неструганные доски.

Кабатчик спал, пристроившись щекой на стойку, сивая бородаща бережно разложена поверх мисок и капусты. Выбирая, что взять, Корнелиус рассеянно снял с бороды жирную вошь, раздавил ногтями. Кроме как хлебом и вином разжиться здесь было нечем.

Он поднял руку хлопнуть корчмаря по плешине, но оказалось, тот не спит — посматривает прищуренным взглядом, да не в лицо приезжему человеку, а на перекинутую через плечо сумку. Капитан взял

изрядный ломоть хлеба, бросил на стол серебряный лепесток копейки и сказал по-польски, надеясь, что бородатый поймет:

— Wodka!

Копейку кабатчик сунул в рот — при этом за толстой щекой звякнуло, а выпить принес не сразу: почему-то ушел в закут, что за стойкой, и вынес не бутылку, глиняную кружку. За копейку было маловато. Фон Дорн понюхал (ну и пойло, хуже французского кальвадоса), выпил мутную жидкость залпом и стукнул пустой кружкой о дерево — наливай еще.

Водка оказалась крепка. Пунцовая рожа корчмаря расплылась в стороны и стала похожа на американский фрукт томат, пол закачался у капитана под ногами. Он схватился за стойку. Брякнул свалившийся мушкет.

— Чем ты меня напоил, Иуда? — сказал Корнелиус томату, закрыл неподъемно тяжелые веки. Когда же, мгновение спустя, открыл их снова, то увидел уже не подлую харю кабатчика, но безмятежное майское небо и пушистые облачка.

Ветерок обдувал не только лицо — все тело капитана, что было приятно, хоть и удивительно. Он провел рукой по груди, животу, ниже и понял, что лежит совсем голый. В спину кололи стебельки травы. На ресницу заполз муравей.

И грязный кабак, и его коварный хозяин, и сама русская деревня в единый миг исчезли, словно дурное наваждение.

Вот так обретались прародители наши в блаженном Эдемском саду, нагие и счастливые, подумал Корнелиус, однако знал, что находится не в раю, ибо, хоть и был наг, счастливым себя не ощущал — очень уж ломило висок. А когда попробовал приподняться, вывернуло наизнанку какой-то зеленой желчью.

Двое мальчуганов, сидевших на обочине пыльной дороги и молча наблюдавших за корчащимся человеком, на ангелов тоже не походили, несмотря на

такую же, как у Корнелиуса, перевозданную наготу. Ему показалось, что это те же самые мальчишки, что пилились на него давеча из-за плетня.

— Где я? — прохрипел капитан. — Что со мной сделали?

Один из мальчишек почесал затылок. Другой что-то сказал. Оба засмеялись, поднялись и заскакали прочь по дороге, нахлестывая друг друга ветками по заднице да покрикивая: гей, гей!

Дорога вела вниз, к серой кучке домов, в которой Корнелиус сразу признал деревню Неворотынскую. Никуда она не исчезла — осталась на прежнем месте, и над кабаком все так же лениво тянулся дымок.

Наваждения и колдовства, получается, не было. Говорили фон Дорну в Риге опытные люди: герр капитан, дождитесь оказии, не путешествуйте по Московии в одиночку — ограбят, убьют, и искать никто не станет. Не послушался Корнелиус, спесивый человек. И вот вам: не успел отъехать от границы, как уже отравлен, ограблен, раздет донага и выкинут на дорогу подыхать.

Ни лошадей, ни оружия, ни денег, а хуже всего, что пропала проезжая грамота.

Искать управу? Но кто поверит человеку, у которого ни документа, ни свидетелей, а из одежды одни усы? Как объясниться на чужом языке? И, главное, кому жаловаться — тому свиномордому, от которого сбежал на границе?

Фон Дорн сел, вцепился руками в стриженные каштановые волосы.

Что ж теперь — пропадать?

Глава третья

Отчего люди не летают, как птицы?

По освещенной задорным июньским солнцем Пироговке, ловко лавируя между немногочисленными прохожими, неся на роликах иностранный человек баскетбольного роста, в синем блейзере с золотыми пуговицами, при красно-зеленом шотландском галстуке, с дорогим кейсом в левой руке. На то, что это именно иностранец, указывали лучезарная, белозубая улыбка и раскрытый путеводитель, зажатый в правой руке туриста. Впрочем, и без того было ясно, что молодой человек не из туземцев — в Москве нечасто встретишь взрослого мужчину респектабельного вида на роликовых коньках. Пробор, деливший прическу ровно на две половины, несколько нарушился от встречного ветерка, прямые светлые волосы растрепались, но не катастрофическим образом — два-три взмаха расческой, и приличный вид будет восстановлен.

Роликовые коньки были не обыкновенные, какие можно купить в магазине, а совершенно особенные, изготовленные по специальному заказу за 399 фунтов стерлингов. Собственно, даже и не коньки, а башмаки на пористой платформе, в пятисантиметровой толще которой таились колесики из титанового сплава, очень прочные и замечательно вертявые. Когда Николасу взбрело на ум перейти с чинного шага на невесомое скольжение, он присе-

дал на корточки, поворачивал маленькие рычажки на задниках чудо-обуви, и у него, как у бога Гермеса, на стопах вырастали маленькие крылья. В родном городе Фандорин редко пользовался автомобилем или общественным транспортом — удивительные башмаки могли в считанные минуты домчать его куда угодно в пределах Центрального Лондона. Не страшны были ни пробки, ни толкотня в метро. Да и для здоровья полезно.

В Москве же, поразившей гостя столицы количеством машин и недисциплинированностью водителей, ездить транспортом, кажется, было бессмысленно — поездка до архива на такси заняла бы куда больше времени и вряд ли вышла бы такой приятной. «Абсолютно непонятно, — думал магистр, — как можно в мегаполисе с десятиллионным населением обходиться без двухуровневых автострад?»

Николас читал много интересного про московский метрополитен, станции которого зачем-то выстроены в виде помпезных дворцов, но нелепо было бы начать знакомство с городом, про который столько слышал и читал, с подземки.

Поэтому, выйдя из своей гостиницы (некрасивый стеклянный параллелепипед, до невозможности портящий вид Тверской улицы, да и номера хуже, чем в самом немудрящем «бед-энд-брекфасте»), Николас мельком взглянул на красную стену Кремля (потом, это потом) и двинулся по карте в юго-западном направлении. Пронесся по Моховой улице сначала мимо старого университета, где учились, по меньшей мере, четверо Фандориных, потом мимо нового, где при Иване Грозном находился Опричный двор. Задрав голову, посмотрел на каменную табакерку Пашкова дома — полтора века назад здесь располагалась 4-я мужская гимназия, которую закончил прадед Петр Исаакиевич.

Напротив заново отстроенного храма Христа Спасителя (сэр Александер всегда говорил, что эта

великанья голова уродовала лик Москвы своей несообразностью и что единственное благое дело новых русских — взрыв чудовищного творения) магистр приостановился и нашел, что собор ему, пожалуй, нравится — за двадцатый век дома в городе подросли, и теперь массивный золотой шлем уже не смотрелся инородным телом.

Надо сказать, что настроение у Фандорина было приподнятое, ему сегодня вообще все нравилось: и ласковая погода, и шумное дыхание Первопрестольной, и даже хмурые лица москвичей, неодобрительно поглядывавших на стремительного конькобежца.

Сердце звенело и трепетало от предчувствия чуда. В кейсе лежала левая половина драгоценного письма, которой очень скоро предстояло соединиться со своей недостающей частью, казалось, навеки утраченной. Хотя почему «казалось»? Она и была утрачена *навек* — на целых три века. У Николаса сегодня был двойной праздник: как у историка и как у последнего в роду Фандориных.

Волшебный день, поистине волшебный!

Вчерашние события вспоминались как досадное недоразумение. Это был морок, насланный на путешественника злой силой, чтобы проверить, тверд ли он в своем намерении достичь поставленной цели.

* * *

Вчера дремучий и враждебный лес, оберегающий подступы к заколдованному граду, сомкнулся такой неприступной стеной, что впору было впасть в отчаянье.

Обнаружив, что кейс, хранилище всех ценностей, опозорен и выпотрошен, магистр кое-как вернулся к жизни товарища по несчастью, и обе жертвы газовой атаки бросились в купе проводника. Тот сидел, пил чай и разглядывал в черном стекле отражение своего непривлекательного лица.

Отодвинув Николаса плечом, мистер Калининс закричал:

— На нас напали бандиты! Это международный терроризм! Меня и вот этого британского подданного отравили нервно-паралитическим газом! Похищены деньги и вещи!

Проводник лениво повернулся, зевнул.

— Это запросто, — сказал он, глядя на пассажиров безо всякого интереса. — Пошаливают. (Снова это непередаваемое ни на один известный Николасу язык слово!) Железная дорога за утыренное ответственности не несет. А то с вами, лохами, по миру пойдешь.

— А где двое молодых людей в спортивных костюмах, с которыми вас видел мистер Фэндорайн? — спросил сметаноторговец, впиваясь взглядом в удивительно хладнокровного служителя. — В каком они купе?

— Какие такие люди? — лениво удивился проводник. — Ни с кем я не разговаривал. Брешет твой мистер. — И снова повернулся к своему отражению, пожаловался ему. — Хлебало раззявят, козлы. Пиши потом объяснилочки. Идите к дежурному милиционеру. Он в третьем вагоне, ага. И дверку прикройте, дует.

К милиционеру латыш не пошел — сказал, бесполезно, так что пришлось Николасу отправляться к представителю закона одному.

Лейтенант, которого Фандорин обнаружил в купе у проводницы третьего вагона, сначала и в самом деле никаких действий предпринимать не хотел.

— Поймите, через час и десять минут поезд остановится в Пскове, — объяснял ему Николас. — Там воры сойдут, и отыскать похищенное будет уже невозможно. Надо просто пройти по составу, и я опознаю этих людей. Я уверен, что это они.

Тягостный разговор продолжался довольно долго, и было видно, что проку от него не будет. Не име-

лось у англичанина таких аргументов, из-за которых милиционер застегнул бы пуговицы на мундире, надел португепю и отправился обходить все тринадцать вагонов вместо того, чтобы выпить по четвертой и закусить.

Выручила долговязого иностранца проводница, тем самым подтвердив правоту классической литературы, приписывающей русской бабе жалостливое и отзывчивое сердце.

— Да ладно те, Валь, ну че ты, не гноись, — сказала нездорово полная и химически завитая правнучка некрасовских женщин. — Видишь, беда у человека, сходи. А я пока огурчиков покрошу, редисочку порежу.

Спортивные молодые люди обнаружились в шестом купе четвертого вагона, соседнего с Николасовым. Ехали вдвоем, шлепали по столу замусоленными картами. На столе стояли пивные бутылки.

— Это тот самый костюм, — показал Николас лейтенанту на синий рукав с белой полосой. — Я уверен.

— Документики предъявим, — строго приказал милиционер. — И вещички тоже. Имею заявление от иностранного гражданина.

Тот, что постарше, развел руками:

— Какие вещички, командир? Мы с Серегой в Неворотынской сели, в Пскове сходим. Во, гляди — два леща в кармане, сигареты.

Следовало отдать лейтенанту Вале должное: в явное нарушение прав личности и должностных инструкций он обыскал и купе, и даже самих молодых людей, но кроме двух вяленых рыбин, пачки «ЛМ», подсолнечных семечек и мелочи ничего не обнаружил.

— Ну чего? — спросил Валя в коридоре. — Дальше пойдем или как?

— Я знаю! — воскликнул Николас. — Они в сговоре с проводником из моего вагона! И вещи навер-

няка тоже у него! А в Пскове он им передаст украденное, и они сойдут.

— Не, — отрезал милиционер. — Проводника шмонать не буду, себе дороже. — И, подумав, присовокупил. — Без ордера не положено. Вы вот что, мистер. Пишите заявление, а после мне в третий поднесете. Пока.

И Николас остался один, кипя от бессильной ярости.

Время, время было на исходе! До остановки в Пскове оставалось не более четверти часа. Можно было, конечно, занять пост в тамбуре и попытаться застичь подлого проводника с поличным — когда будет передавать добычу сообщникам. Но что, если у них придумано иначе? Скажем, сунет через открытое окно кому-то, кто заранее дожидается на перроне, а Николас так и будет торчать в тамбуре.

«Думай, думай, — приказал себе магистр. — Упустишь письмо Корнелиуса, больше его не увидишь. И никогда себе этого не простишь».

Подумал минут пять, и появилась идея.

Еще минут пять ушло на перелистывание фольклорного блокнота и заучивание некоторых аргонизмов из раздела «Маргинальная лексика».

Когда в окне зачастили желтые огни, давая понять, что поезд въезжает в пределы небольшого города, Фандорин без стука распахнул дверь служебного купе, вошел внутрь и наклонился над сидящим проводником.

— Ну что, мистер, отыскал барахлишко? Да ты пошукай получше. Может, сам куда засунул да забыл? С этого дела бывает. — Наглец шелкнул себя по горлу и спокойно улыбнулся, кажется, совершенно уверенный в своей безнаказанности. — Выйдите-ка, гражданин. К станции подъезжаем. Гоу, гоу, шнель!

Николас положил неприятному человеку руку на плечо, сильно стиснул пальцы и произнес нараспев:

— Борзеешь, вша поднарная? У папы крысячишь? Ну, смотри, тебе жить. [*«Борзеть» = терять*

чувство меры, зарываться; «вша поднарная» (оскорб.) = низшая иерархия тюремных заключенных; «папа» = уважаемый человек, вор в законе; «тебе жить» (угрож.) = тебе не жить.]

Произведенный эффект был до некоторой степени схож с реакцией мистера Калинкинса на исполнение англичанином песни о Родине, только, пожалуй, раз в двадцать сильнее. Николас никогда не видел, чтобы человек моментально делался белым как мел, — он всегда полагал, что это выражение относится к области метафористики, однако же проводник действительно вдруг стал совсем белым, даже губы приобрели светло-серый оттенок, а глаза заморгали часто-часто.

— Братан, братан... — зашлепал он губами и попытался встать, но Фандорин стиснул пальцы еще сильнее. — Я ж не знал... В натуре не знал! Я думал, лох заморский. Братан!

Тут вспомнилась еще парочка уместных терминов из блокнота, которые Николас с успехом и употребил:

— Сыскан тебе братан, сучара. [*«Сыскан» = сотрудник уголовного розыска, шире — милиционер; «сучара» (презр.) — вор, поддерживающий контакты с милицией.*]

Здесь важно было не сфальшивить, не ошибиться в словоупотреблении, поэтому Николас ничего больше говорить не стал — просто протянул к носу злодея раскрытую ладонь (другую руку по-прежнему держал у него на плече).

— Ну?

— Шас, шас, — засуетился проводник и полез куда-то под матрас. — Все целое, в лучшем виде...

Отдал, отдал все, похищенное из кейса: и документы, и портмоне, и ноутбук и, самое главное, бесценный конверт. Заодно вернул и содержимое бумажника мистера Калинкинса.

Ведьмовской лес дрогнул перед решимостью палладина и расступился, пропуская его дальше.

Можно было объяснить свершившееся и иначе, не мистическим, а научным образом. Профессор коллоквиальной лингвистики Розенбаум всегда говорил студентам, что точное знание идиоматики и прецизионное соблюдение нюансов речевого этикета применительно к ocasionально-бытовой и социально-поведенческой специфике конкретного социума способно творить чудеса. Поистине лингвистика — королева гуманитарных дисциплин, а русский язык не имеет себе равных по лексическому богатству и многоцветию. «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — думал Николас, возвращаясь в купе. — Нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».

* * *

На территорию архивного городка, вместилища государственной и культурной памяти Российской державы, Николас ступил со священным трепетом — дух захватывало при мысли о том, какие сокровища хранятся за этими серыми стенами с подслеповатыми щелеобразными окошками. И где-то там, теперь уже рукой подать — серый листок, на котором Корнелиус фон Дорн выводил буквицы на чужом, недавно освоенном языке.

После получасового стояния в очереди за пропуском и дотошного осмотра, которому постовой милиционер, в бронежилете и с автоматом, подверг кейс посетителя, Фандорин наконец оказался в Центральном архиве старинных документов. Для этого пришлось пересечь уютный, тенистый двор и потом попетлять меж кирпичных штабелей, бочек с краской и огромных катушек кабеля — в здании шел ремонт.

Ремонт следовало бы произвести лет на пятьдесят раньше — это Николас понял, когда поднимался по широкой лестнице, в прежние времена, должно быть, величественной, но пришедшей в прискорб-

ную захудалость: мраморные ступени истерлись, перила облупились, от статуй и зеркал, некогда украшавших пролеты, остались одни пустые ниши и сиротливые постаменты.

Было ясно, что архив поражен худшей из болезней, какие только могут постичь научное учреждение — катастрофическим недостатком, а то и полным отсутствием финансирования. Фандорин сочувственно оглядел рассохшиеся ящики каталога, изъеденные молью шторы на высоких окнах, дырявый линолеум и вздохнул. Не зря говорил сэр Александер, что жизнь новых русских была бы куда более сносной, если б они больше уважали прошлое своей страны. А прошлое обрелось именно здесь, в этих старых стенах — нос магистра истории, чувствительный к запаху Времени, сразу уловил неподдельность этого магического аромата.

Даже в кабинете директора обстановка была обшарпанной и убогой.

Станислав Кондратьевич Вершинин, медиевист с мировым именем, встретил британского коллегу со всем возможным радушием.

— Как же, как же, помню ваш запрос, мистер Фандорин, — сказал он, усаживая гостя в вытертое до белесости кожаное кресло. — Половина документа, найденная в Кимрах, да?

— В Кромешниках, — поправил Николас, почтительно глядя на сократовскую лысину автора комментариев к «Вычегодской летописи».

— Да-да, в Кромешниках. Подклет Матфеевских палат, помню.

Директор снял трубку черного телефона (такой аппарат в Лондоне можно было встретить только в антикварном магазине), повертел диск.

— Максим Эдуардович, голуба, не могли бы вы ко мне зайти? — спросил Вершинин, ласково улыбаясь невидимому собеседнику. — Приехал английский исследователь мистер Фандорин... Да-да, по

поводу кромешниковской находки. Помните, мы отвечали на запрос?... Ну вот и чудесно.

Положив трубку, пояснил:

— Максим Эдуардович Болотников, главный специалист отдела обработки. Все пополнение фондов проходит через него. Прекрасный палеограф и, между прочим, блестящий специалист по семнадцатому веку. Совсем молодой, а уже четыре монографии издал и докторскую защитил, по Тушинскому Вору, Марии Мнишек и Воренку. Представляете, — Станислав Кондратьевич со значением поднял палец, — его в Стэнфорд приглашали, на огромную зарплату — отказался. Патриот! Это у нас теперь редкость. Верит в Россию. Восходящее светило, уж можете мне поверить. Наш архивный Моцарт.

Архивный Моцарт что-то не торопился являться на зов начальства, и для заполнения паузы директор завел разговор о бедственном положении своего учреждения — очевидно, заметил, как иностранец косится на кривые стеллажи и ветхий ковер.

— ...А в прошлом квартале вообще ни копейки, — вел Вершинин нескончаемый жалобный рассказ. — Зарплата у старшего научного двести пятьдесят тысяч, и ту задерживают! Пять аппаратов для микрофильмирования сломанные стоят, починить не на что. Ксерокс забарахлил — это вообще трагедия. Да что ксерокс, уборщицам платить нечем. А уборщицы, знаете ли, не наш брат историк, они бесплатно работать не станут. Стыд и срам, сколько пылищи развелось. Я вам, голубчик, добрый совет дам. Не ходите вы к нам сюда таким шеголем, да еще при галстукке. Пожалейте пиджак и манжеты. В курточке, в джинсах — в самый раз будет.

Николас был поражен тем, что директор архива дает малознакомому человеку совет, да еще по такому интимному поводу, как стиль одежды. Немного подумав, магистр решил, что это, хоть и бесцеремонно, но очень по-русски и, пожалуй, даже симпатично.

— Вот такое у меня положение, хуже губернаторского, — обезоруживающе развел руками Вершинин. — Без денег работать очень, очень трудно. А что поделаешь? У государства денег нет. Что бы вы сделали на моем месте?

И растроганный Николас не выдержал. Вершинин дал ему совет первым, да и потом, сам ведь спрашивает. Надо помочь.

— На вашем месте, господин директор, я бы сделал следующее, — все же несколько смущаясь, начал Фандорин. — Во-первых, я не понимаю, почему архив позволяет исследователям пользоваться своими уникальными фондами бесплатно. Чем ограничивать доступ в ваши читальные залы, отсекая праздню любителей и пристрастив одних лишь специалистов, вы могли бы распахнуть двери для всех желающих, но ввести при этом небольшую абонентскую плату. Я охотно заплатил бы за честь поработать в вашем читальном зале. А, во-вторых, я уверен, что многие мои коллеги заплатили бы куда более существенные суммы, если бы вы принимали заказы от частных лиц на проведение того или иного изыскания. Например, мне нужно сосканировать интересующий меня документ и еще просмотреть столбцы Иноземского, Рейтарского и нескольких других приказов по некоей довольно узкой теме. Эта работа займет у меня неделю, плюс к этому я потратил и еще потрачу немало денег на билеты, гостиницу и прочее. Поверьте, я с удовольствием заплатил бы одну или даже две тысячи фунтов, если бы это задание выполнил для меня кто-нибудь из ваших превосходных специалистов...

— А что ж, отличная идея, — оживился директор. — Разумеется, возникнет масса финансово-бюрократических трудностей, но игра стоит...

Он не успел договорить — в дверь постучали, и сразу же, не дожидаясь отклика, вошел элегантный, подтянутый брюнет в модных узких очках и со спортивной сумкой в руке. Из сумки торчали рукояти двух теннисных ракеток.

— Станислав Кондратьевич, — недовольно сказал брюнет, мельком взглянув на Фандорина. — Я же просил отпустить меня пораньше. У меня турнир на Петровке.

— Да-да, — извиняющимся тоном ответил директор. — Помню, голубчик. Но вот прибыл мистер Фандорин, из британского Королевского исторического общества. Помогите ему добыть ту грамотку из хранилища, а то его заставят до завтра дожидаться. Неудобно — гость все-таки. Кстати, познакомьтесь — Максим Эдуардович Болотников, Николас Фандорин. Вот, видите, голуба, какая солидная сопроводилка, с гербом и водяными знаками. Как там было-то? — Вершинин надел очки и зачитал из рекомендательного письма (произношение у него было просто чудовищное): — «...please give every possible assistance to Sir Nicholas A. Fandorine, M. A., Bt.». Просят оказать всемерную поддержку. Кстати, господин Фандорин, что такое «M. A.» я знаю — это «магистр гуманитарных наук», а вот что такое «Bt.»? Какое-нибудь ученое звание или награда?

Николас мучительно покраснел. Ученый секретарь Общества, давний покровитель и доброжелатель, в погоне за вящей внушительностью явно перестарался. Зачем это нужно — «Sir, Bt.»?

— Нет, Станислав Ковдратьевич, «Bt.» значит «баронет», наследственный титул, — сказал Болотников, разглядывая англичанина, словно то был экспонат из кунсткамеры. — Как Баскервиль, помните? Если мне не изменяет память, титул баронета был выдуман Яковом I для пополнения королевской казны. Всякий желающий мог облагородиться, внеся что-то около тысячи фунтов.

Одолеваемый сразу двумя неприятными чувствами — смущением и завистью к блестящей эрудиции молодого светила истории, — Николас промямлил:

— Это вы говорите про старинных баронетов, восьмых или даже десятых в своем родословии. Та-

ких в наши времена осталось мало. Я же только второй баронет, первым был мой отец. Он не покупал титул, королева возвела отца в баронеты за достижения в медицине...

Глупо вышло, недостойно — будто он за сэра Александера оправдывался.

Когда вышли из директорского кабинета, Болотников насмешливо спросил:

— Так как вас правильно называть? «Сэр Николас» или «сэр Фандорин Второй»?

— Если вам нетрудно, называйте меня просто Ник, — попросил магистр, хотя терпеть не мог сокращенной формы своего имени.

Моцарт посмотрел на часы и пасулся.

— Вот что, сэр Ник, я посажу вас в своем кабинете, а сам спущусь в хранилище. Придется подождать — пока найду нужную опись, пока отыщу дело... Черт, к первой игре опоздаю. Еще в пробке настоишься... Оставляю тачку, махну на метро.

Последние фразы были произнесены вполголоса и явно адресовались не Николасу, а самому себе.

— Скажите, Максим Эдуардович, — не совладал с любопытством Фандорин. — Господин директор говорил, что вам предлагали место в Стэнфорде, а вы отказались. Почему? Из патриотизма?

— Какой к черту патриотизм! — Болотников посмотрел на Николаса, будто на уместенно отсталого. — Я специалист по русской истории и палеографии. Все важные документы по моей специальности находятся в России, не в Стэнфорде. И научные открытия, значит, тоже делаются здесь. Пускай в Стэнфорд едут те, кому таунхаус и гольф-клуб важнее науки... Вы привезли вашу половину письма? Позвольте взглянуть.

Николас бережно достал из кейса специальный узкий конверт, из конверта плотный, неровный по краям и обрезанный посередине листок.

Максим Эдуардович, сосредоточенно сдвинув брови, заскользил по нему глазами.

— Вот теперь окончательно припомнил. Ужасный почерк, пришлось повозиться.

— А уж мне тем более, я ведь не палеограф! — воскликнул Николас.

— Сами-то справитесь? — недоверчиво посмотрел на него Болотников. — Или помогать придется?

«Вот он, истинно русский характер», — подумал Фандорин. Внешне человек неприветливый, колючий, можно даже сказать неприятный, а какая готовность прийти на помощь. Предложил вроде неохотно, но видно, что, если попросить, не откажет.

— Спасибо, помощь не понадобится. Теперь у меня есть «Scribmaster», он выполнит всю работу за меня.

— Кто-кто?

И Николас объяснил про свою замечательную криптографическую программу, созданную специально для расшифровки средневековых рукописей. Болотников слушал и только головой качал.

— Все-то вам, западникам, достается на блюдечке. Ладно, сидите — ждите. Минут сорок понадобится, а то и час.

И Фандорин остался один. Сел на стул, но через секунду вскочил и заметался по крошечному кабинету.

Господи, неужели через сорок минут или через час в его руках будет полный текст завешания родоначальника русских Фандориных?

Великий, истинно великий миг!

* * *

Прошло не сорок минут и не час, а все два, прежде чем Болотников вернулся. В руках у него была тощая коленкоровая папка, при виде которой Николас сделался еще пунцовой. Дело в том, что от большого количества старых и пыльных книг, которыми сплошь были уставлены полки в кабинете главного специалиста, у бедного магистра начался приступ его всегдаш-

ней аллергии: на щеках выступили гигантские багровые пятна, заслезились глаза, а нос превратился просто в какой-то артезианский источник.

— Это ода? — гнусавым голосом просипел Фандорин, имея в виду: «Это она?»

— Работнички, — сердито пробурчал Максим Эдуардович, кладя папку на стол. — Засунули не на ту полку, насилиу нашел. Распишитесь вот тут.

— Сейчас...

Николас виновато улыбнулся — от волнения подпись на бланке получения вышла кривая.

— Вперед, сэр, — поторопил его Болотников. — Вас ждут великие открытия. Ну, составляйте свои половинки. Я только взгляну, сходятся ли они, и побегу.

Фандорин смотрел на серую, скромную папку с приклеенным ярлычком «Фонд 4274, Кромешниковский тайник, 1680 г. (?), 1 ед. хр., опись 12» — и все медлил развязывать веревочные тесемки. Откуда это: «И развязать в опочивальне заветный милой поясок?» Как пальцы дрожат — еще чего доброго надорвешь хрупкую бумагу.

Взять себя в руки. Самое время сочинить какой-нибудь легкомысленный лимерик.

— Да что же вы? — не выдержал Болотников. — Я и так вон сколько времени угрохал. Дайте я сам.

Слегка отодвинул плечом шевелящего губами британца, дернул за тесемку и осторожно извлек из папки узкий листок.

— Где ваша половина? Давайте сюда.

Сложил оба фрагмента на столе, и сразу стало ясно, что они составляют единое целое. Правда, на правой половине бумага совсем не пожелтела, а буквы выцвели гораздо меньше, но это из-за того, что документ триста лет пролежал в полной темноте и лучше сохранился. Состояние было превосходное, только в одном месте, на левой части близ стыка, чернела небольшая дырка, проеденная ненасытным Временем.

Максим Эдуардович внимательно посмотрел на воссозданное письмо, удовлетворенно кивнул.

— Оно самое. Если без вашей хитроумной программы, то возни минимум на час. Когда закончите, кабинет закройте. Папку сдайте в читальный зал, ключ оставьте на вахте. Ладно, я побежал — хоть кончик турнира захвачу. Желаю исторических сенсаций.

С этим ироническим пожеланием архивный Моцарт удалился, оставив Николаса наедине с завещанием предка.

— Спасибо. До свидания, — пробормотал Фандорин с явным запозданием, когда дверь уже закрылась. Сосредоточенно хлюпая носом, он стал разбирать первую строчку.

ПАМЯТЬ СЯ ДЛЯ СЫНКА МИКИТЫ ЕГДА ВЪ...

Дальше дело не пошло — с разбега прочесть караули капитана фон Дорна не выходило.

Что ж, на то и существует научный прогресс.

Магистр составил половинки поровнее, включил компьютер, подсоединил ручной сканер и нажал на кнопку «scan».

Николас хотел бы приступить к декодировке немедленно, но глаза слезились от проклятой пыли, а из носу так текло, что, пожалуй, разумнее было отложить этот захватывающий процесс до возвращения в гостиницу. Теперь ведь письмо никуда не денется — его можно и распечатать, и преобразовать в удобочитаемый текст.

Скорей в отель! И не на роликах, а на метро — не до прогулок.

Николас сдал папку и ключ, а перед тем как покинуть архив, заглянул в туалет — промыть слезящиеся глаза, высморкаться, да и вообще назрела такая необходимость.

Он стоял у писсуара, глядя перед собой в кафельную стену и мечтательно улыбался. В голове вертелся детский стишок: «Все, попалась птичка, стой, не

уйдешь из сети. Не расстанусь я с тобой ни за что на свете».

Кейс был здесь же, рядом, на полу.

Скрипнула дверь, в туалет кто-то вошел. Фандорин не обернулся — зачем?

Мягкие, почти бесшумные шаги. Так ходят в спортивной обуви, на резиновой подошве.

Легкий шорох — и кейс вдруг исчез из поля Николасова углового зрения.

Тут уж он обернулся — и увидел нечто невероятное.

Какой-то мужчина в кедах, в желто-зеленой клетчатой рубашке (в советской литературе такие называли ковбойками) и синих полотняных штанах с заклепками преспокойно направлялся к выходу, унося «самсонайт».

— Постойте! — крикнул Фандорин, ничего не понимая. — Это мой! Вы, верно, ошиблись!

Незнакомец будто и не слышал. Открыл дверь и был таков.

Понадобилось несколько секунд на то, чтобы привести брюки в порядок — не бегать же с расстегнутой ширинкой. Когда Николас выскочил в коридор, похититель был уже возле лестницы.

— Да стойте же! — заорал Николас. — Что за глупая шутка!

Клетчатый оглянулся.

Молодой. Светлые, наискось зачесанные волосы сбоку свисают на лоб. Обычное, ничем не примечательное лицо. Старомодные очки, такие носили лет тридцать назад.

Задорно улыбнувшись, вор сказал:

— Эй, баскетболист, побегаем наперегонки? — и вприпрыжку помчался вверх по лестнице.

«Откуда он знает, что я занимался баскетболом?» — оторопел Николас, но тут же сообразил: ах да, это он про мой рост.

Это был псих, очевидный псих, никаких сомнений. Хорошо хоть не вниз побежал, а то гоняйся за

ним по всему архивному городку. Вверх по лестнице бежать особенно было некуда — выше второго этажа уже находилась крыша.

Очкарик не очень-то торопился. Раза два остановился, обернулся на Николаса и, наглец, еще кейсом помахал, поддразнивая.

Лестничный пролет заканчивался площадкой. Псих толкнул невысокую дверцу, и открылся ярко освещенный солнцем прямоугольник. Очевидно, там и в самом деле находился выход на крышу.

Еще не осознав до конца всю идиотскую нелепость приключившегося казуса, Фандорин взбежал по ступенькам.

— Кому рассказать — не поверят, — бормотал он.

Спрятаться на крыше было некуда, да похититель и не прятался — стоял и ждал у края, обращенного не на Пироговку, а во внутренний двор.

— Все, побегали. Вы победили, я проиграл, — успокаивающе произнес Фандорин, осторожно приближаясь к безумцу. — Теперь отдайте мне кейс, и мы с вами побегим наперегонки в обратную сторону. Идет?

Воришка застыл спиной к пустоте, зажав кейс между ног, и весело улыбался, кажется, очень довольный собой. Только бы не скинул кейс вниз — ноутбук разобьется. Да и сам бы не свалился, кретин несчастный.

Николас опасливо заглянул за кромку. Здание было хоть и двухэтажное, но старой, размашистой постройки, так что лететь донизу было добрых футов сорок. И переломами не отделаешься: из-за ремонта весь двор, вплотную к самым стенам архива, был заставлен стройматериалами, завален каким-то металлическим хламом, железноребрыми мусорными контейнерами. Грохнешься — верная смерть.

Заряд активности у психа, кажется, иссяк. Он стоял смирно, глядя на Николаса все с той же добродушной улыбкой.

Фандорин посмотрел на него сверху вниз, медленно показал на кейс:

— Если не возражаете, я возьму. Договорились? Мы так славно с вами побегали. Идемте обратно.

— «Отчего люди не летают, как птицы?» — спросил вдруг клетчатый и пояснил: — Драматург Островский.

Николас удивился:

— Что, простите?

— Птичку жалко, — плаксиво сморщил физиономию безумец.

«Откуда он знает про птичку из стишка?» — еще больше изумился Фандорин. А очкарик внезапно схватил его одной рукой за брючный ремень, другой за пиджак и без малейшего напряжения перекинул двухметрового магистра истории через голову — вниз, навстречу острым бетонным углам и зазубренному ржавому железу.

Приложение:

Лимерик, сочиненный Н. Фандориным в Центральном архиве старинных документов в минуты волнения 14 июня около полудня:

*Жених, ошалевший от счастья,
Вскричал: «Налобзаюся всласть я!»
Стал он шлепать невесту
По мягкому месту
И сломал себе оба запястья.*

Глава четвертая

Корнелиус видит золотую искорку на горизонте. Самый большой деревянный город мира. Аудиенция у вице-министра. В Немецкой слободе. Странные обычаи москвитов. Главное русское растение.

Столица великого азиатского королевства поначалу явилась Корнелиусу фон Дорну крохотной золотой искоркой на горизонте.

— Смотрите, господин капитан, — показал купеческий старшина Вильям Майер. — Это купол кремлевской колокольни, именуемой Большой Иоганн. Там, под ней, и сидит царь москвитов. Еще три-четыре часа, и мы достигнем городских ворот.

С караваном датских и английских неготиантов Корнелиус ехал от самого Пскова. Из-за тяжелых повозок с товаром движение было нескорое, зато безопасное, а кроме того от попутчиков, большинство из которых путешествовали по России не впервые, удалось получить немало ценных сведений о таинственной, полусказочной стране, в которой капитану, согласно подписанному договору, предстояло прожить целых четыре года.

Купцы были люди степенные, всякое повидавшие и ко всему привычные. От жадных русских губернаторов и магистратов откупались малой мздой, лишнего не платили, а опасные леса и пустоши, где *poschaliwali* (это слово означало «немного разбойничали»), объезжали стороной. На крайний же случай, если уберечься от встречи с лихими людьми не удастся, уговор был такой: с фон Дорна за пищу и корм для

его лошадей денег не берут, но за это он обязан командовать караванной охраной, биться честно, до последней возможности, и купцов с их имуществом разбойникам не выдавать. Посему в глухих местах Корнелиус выезжал вперед, воинственно озираясь по сторонам (мушкет поперек седла, кобуры расстегнуты). За ним — четверо кнехтов, тоже с мушкетами. Потом повозки (по сторонам дороги еще двенадцать вооруженных слуг), а уже сзади — купцы, при саблях наголо и пистолях. Раза два или три на обочине подрагивали кусты, и невпопад, среди бела дня, начинала ухать сова, но напасть на таких серьезных людей никто из гулящих так и не осмелился. В общем, уговор для Корнелиуса получился выгодный.

Одна беда: каждый вечер, на привале, когда сцепляли возы кольцом и расставляли часовых, почтенные коммерсанты за неимением иных развлечений просили снова и снова рассказать, как braveго мушкетера в первой же русской деревне опоили, раздели догола и выкинули за околицу. Всякий раз было много смеху и шуток, рассказ не надоедал. Правда, и сам фон Дорн заботился, чтоб история от повторения не закисло — придумывал все новые подробности, чем дальше, тем курьезней и невероятней.

— Вам бы не шпагой, а гусиным пером хлеб зарабатывать, господин капитан, — не раз говорил Майер, держась за толстые бока и утирая слезы. — Книжные издатели платили бы вам за сочинительство золотом. Особенно мне нравится слушать, как вы впрягли бестию-трактирщика в телегу и заставили его везти вас к полицейскому начальнику. И еще, как важно вы шествовали нагишом через всю деревню, а молодки заглядывались на ваши стати через забор.

Про телегу Корнелиус, конечно, выдумал, но приключение в деревне Неворотынской в самом деле вышло недурным, даже и без небылиц. Теперь фон Дорн вспоминал эту историю с удовольствием,

гордясь, что при такой ужасной оказии не растерялся, а сумел вернуть имущество и примерно наказать воров.

Голышом через деревню он шел, это правда, — а как иначе было добраться до проклятой корчмы? Но молодек он никаких не видел, да и вообще по пути ему никто не встретился. Перед тем как подняться на крыльцо кабака (по-туземному *kruzchalo*) Корнелиус взял из поленицы суковатое полено.

Пропойцы (по-русски *pjetsukhi*) оглянулись на голого человека с интересом, но без большого удивления — надо думать, видали тут и не такое. Двух прислужников, что кинулись вытолкнуть вошедшего, фон Дорн одарил: одного с размаху поленом по башке, другому въехал лбом в нос. Потом еще немного попинал их, лежащих, ногами — для остроты прочим, а еще для справедливости. Не иначе как эти самые подлые мужики его, одурманенного да ограбленного, отсюда и выволакивали.

Кабатчик (по-русски *tszelowalnik*) ждал за прилавком с допотопной пистолью в руке. От выстрела капитан увернулся легко — присел. После ухватил каналью за бороду и давай колотить жирной мордой об стойку. И в блюдо с грибами, и в черную размазную (это, как объяснили купцы, и была знаменитая осетровая икра), и в кислую капусту, и просто так — о деревяшку. Удары были хрусткие, сочные — Корнелиус отсчитывал их вслух, по-немецки. Пьецухи наблюдали с уважением, помочь целовальнику никто не захотел.

Сивобородый сначала терпел. На *zwei und zwanzig* стал подвывать. На *dreissig* заплевался кровью прямо в капусту. На *drei und vierzig* перешел на хрип и попросил пощады.

Те же самые слуги, которых Корнелиус бил поленом и топтал ногами, вынесли, утирая красную юшку, все похищенное, а после привели и лошадей.

Уже во дворе, сидя в седле, капитан заколебался, не подпалить ли к черту это воровское логово, да

пьянчужек невинных пожалел — половина до двери не доберется, угорит.

К вечеру того же дня, когда до Пскова оставалось меньше мили, фон Дорну повезло — встретил европейских коммерсантов, к совместной выгоде и обоюдному удовольствию.

— Вот и застава, — вздохнул Майер, вынимая кожаный кошель, где хранились деньги на общие расходы. — Сейчас будем с таможеней торговаться. Это называется *sobatchitza* или *lajatza*, такой туземный обычай, без него тут никакого дела не решишь. Они будут кричать, требовать по три рубля с повозки, я тоже буду кричать, что больше трех алтынов не дам, а сойдемся на рубле с полтиною, но не сразу — через час-полтора. Пройдитесь пока по слободе, господин фон Дорн, разомните ноги. Только трубку не курите — запрещено.

Слобода называлась Ямской, потому что здесь жили государственные почтальоны и возчики, *jamstchiki*. Смотреть тут особенно было не на что. Корнелиус обвел взглядом глухие заборы, из-за которых торчали крытые дерном скучные крыши, и пошел к заставе — глядеть на Москву.

Майер и еще один купец, Нильсен, хорошо знавший по-русски, громко кричали на бородатых людей в красных кафтанах. Те тоже сердились, а один даже тряс саблей, впрочем, не вынимая ее из ножен.

Граница русской столицы была такая: сухой ров, по которому гуляла тощая бурая свинья с поросятами, потом земляной вал с покосившимся частоколом. Над острыми, уставленными в небо концами бревен виднелись купола — по большей части деревянные, но были и железные, а один даже золотой (его фон Дорн рассмотрел с особенным вниманием — ну, как и вправду из золота). Хотелось поскорей проехать в ворота и увидеть все чудеса главного московитского города собственными глазами.

Наконец тронулись. Майер был доволен — таможня торопилась хлебать кисель, так что удалось сторговаться по рублю и пяти копейкам.

— Доедете с нами до Гостиного двора, а там и до Иноземского приказа рукой подать, — объяснил он. Так называлось министерство, ведавшее иностранцами — *Inozemski Prikaz*.

Сначала Москва разочаровала фон Дорна, потому что была похожа на все прочие русские городки и села: поля, огороды, пустыри, одинокие усадьбы. Потом дома стали понемножку сдвигаться, тыны сомкнулись, а крыши полезли вверх — в два, три этажа. Если не считать нескольких церквей из мягкого известнякового камня, все строительство было деревянное. Корнелиус никогда не видел, чтобы такой большой город был весь из бревен и досок. Должно быть, Москва — самый большой деревянный город во всем мире! Даже мостовая, и та была бревенчатая. Лошади с непривычки ступали сторожко, оскользаясь копытами. Когда же капитан захотел слезть, чтоб вести испанца в поводу, Майер не позволил, сказал, что в Москве пешком по улице ходят только простолюдины, а человеку благородному зазорно. Даже если тебе нужно в соседний дом, садись на лошадь или в возок. Московиты в таких вещах шепетильны.

— Сейчас будет Мясной ряд, — предупредил купец и прикрыл нос платком, надушенным лавандой.

Корнелиус платка не заготовил и потому чуть не задохнулся от жуткого зловония. Маленькая площадь была заставлена деревянными лавками, на которых сплошь лежали гниющие куски мяса. По ним ползали зеленые мухи, а по краям торгова, в бурых лужах, валялись груды протухшей требухи.

— Русские не коптят и не солят убоину, ленятся, — прогнусавил с зажатым носом Майер. — А к гнильи они равнодушны, варят из него капустный суп под названием *szchi* и с удовольствием его поедают.

Возле деревянной часовенки метался совсем голый человек, в одном передничке на чреслах. Тряс длинной бородой, закатывал глаза, плевался в прохожих. На груди у него висел тяжелый чугунный крест, желтое тело все было в язвах.

Увидев иностранцев, ужасный человек закричал, завертелся вокруг себя, а потом схватил с земли кусок нечистот (вероятно, собственного произведения) и швырнул в почтенного господина Майера, причем явил редкую меткость — угодил купцу в плечо. Корнелиус взмахнул было плеткой, чтобы как следует проучить наглеца, но купеческий старшина схватил его за рукав:

— Вы с ума сошли! Это *blazchenni*, вроде мусульманского дервиша. Русские почитают их, как святых. Ударите его — нас всех разорвут на части.

Он аккуратно вытер замаранное платье, бросил опоганенный платок на землю. К куску материи кинулись нищие.

Другой пример странных представлений русских о святости Корнелиус увидел на соседней улице. Из церкви вышел поп в полном облачении, но такой пьяный, что еле держался на ногах. Заругался на прохожего, что тот недостаточно низко поклонился, сначала ударил его медным кадилом, потом сбил шапку, схватил за волосы и давай к земле пригибать.

— Пьянство здесь грехом не считается, — пожал плечами Майер. — А вот, смотрите, *bojarin*.

По самой середке улицы ехал верхом важный господин, одетый не по-летнему: в чудесной златотканой шубе, в высокой, как печная труба, меховой шапке. У седла висел маленький барабан, и нарядный всадник мерно колотил по нему рукояткой плети. Чернь шарахалась в стороны, торопливо сдерживая шапки. За боярином ехали еще несколько верховых, одетых попроще.

— Зачем он стучит? — спросил фон Дорн.

— Чтобы сторонились, давали дорогу. Отъедем и

мы от греха. Эй! — обернулся Майер к своим. — В сторону! Пропустим индюка!

Шляпы Корнелиус снимать не стал — много чести. Боярин покосился на него через щелки припухших глаз, сплюнул. В Европе фон Дорн отхлестал бы невежу перчаткой по щекам — а дальше шлага рассудит, но тут была не Европа, так что стерпел, только желваками заиграл.

За белой каменной стеной, отгораживавшей центральную часть города от предместий, к каравану привязалась стайка мальчишек. Они бежали рядом, ловко уворачивались от плеток и кричали что-то хором.

Корнелиус прислушался, разобрал — повторяют одно и то же.

— Что они кричат? Что такое: «*Nemetz kysch na kukui*»?

— Они кричат: «Иностранец, отправляйся на Кукуй», — усмехнулся Майер. — Кукуй — это ручей, на котором стоит Иноземская Слобода. Там велено селиться всем иностранцам, и вы тоже будете жить там. Сорванцы кричат из озорства, тут игра слов. «Кукуй» созвучно русскому слову, обозначающему срамную часть тела.

А вскоре пришло время расставаться с добрыми купцами.

— Нам налево, заявлять товары. Вам же, господин капитан, вон туда, — показал купеческий старшина. — Видите, над крышами башню с двухголовым орлом? Въедете в ворота, и сразу справа будет Иноземский приказ. Только напрямую по улице не езжайте, обогните вон с той стороны. Будет дольше, зато безопасней.

— Почему? — удивился Корнелиус.

Улица, что вела к башне, была хорошая, широкая и, в отличие от всех прочих, почти безлюдная. Только у высоких ворот большого деревянного дворца стояла кучка оборванцев.

— Это хоромы князя Татьева. Он своих кнехтов

не кормит, не одевает, поэтому они добывают себе пропитание сами: кто проходит мимо, грабят и бьют. Иной раз до смерти. Такое уж в Москве заведение, хуже, чем в Париже. На улицу Dmitrowka тоже заходить не нужно, там шалют холопы господина обер-камергера Стрешнева. Послушайтесь доброго совета: пока вы здесь не освоились, обходите стороной все дворцы и большие дома. Будет лучше, если первый год вы вообще не станете выходить за пределы Немецкой слободы без провожатых. Хотя, конечно, здесь отлично можно пропасть и с провожатыми, особенно в ночное время. Ну, прощайте, — славный купец протянул на прощанье руку, — вы честный человек, господин капитан. Оберегай вас Господь в этой дикой стране.

* * *

Нет, не уберег Господь.

Два часа спустя капитан фон Дорн, бледный, с трясущимися от бессильного гнева губами выходил из ворот Иноземского приказа без шпаги, под конвоем угрюмых стрельцов в канареечного цвета кафтанах.

Капитан? Как бы не так — всего лишь лейтенант, или, как тут говорили на польский манер, *porutschik*.

Невероятно, но кондиции, подписанные в Амстердаме русским посланником князем Тулуповым, оказались сплошным обманом!

А начиналось так чинно, церемонно. Дежурный чиновник (в больших железных очках, нечислом кафтане, со смазанными маслом длинными волосами) взял у иностранца бумагу с печатями, важно покивал и велел дожидаться в канцелярии. Там на длинных скамьях сидели писцы, держали на коленях бумажные свитки и быстро строчили перьями по плотной сероватой бумаге. Когда листок кончался, лизали склянку с клеем, проводили языком по бумажной кромке и подклеивали следую-

ший листок. Пахло, как и положено в казенном присутствии: пылью, мышами, сургучом. Если б не явственный запах чеснока и переваренной капусты, не то пробивавшийся снизу, не то сочащийся из самих стен, можно было вообразить, будто это никакая не Московия, а магистратура в Амстердаме или Любеке.

Ждать пришлось долго, как и подобает в приемной большого человека. В конце концов, иноземного офицера принял господин Теодор Лыков — приказной *podjatschi*, то есть по-европейски, пожалуй, вице-министр. Именно он ведал размещением вновь прибывших иностранцев и определением их на службу и довольствие.

Кабинет у его превосходительства был нехорош — бедный, с дрянной мебелью, без портьер, из живописи только маленькая закопченная мадонна в углу, но зато сам герр Лыков поначалу Корнелиуса очень впечатлил. Был он величественный, с надутыми щеками, а одет не хуже, чем князь Тулупов: парчовый кафтан с пуговицами из неграненых рубинов; жесткий, выше затылка ворот весь заткан жемчугом, а на суконной, отороченной соболем шапке — сияющий алмазный аграф. Сразу видно: человек сановный, огромного богатства.

На подорожную смотрел долго, морщась и на что-то качая головой. У Корнелиуса на душе вдруг стало тревожно. На капитанский патент, выправленный посланником, вице-министр едва взглянул, да и бросил на стол, будто пакость какую. Едва раздвигая губы, что-то обронил.

Низенький, шуплый толмач, с большим синяком посреди лба, подобострастно закланялся начальству, перевел на немецкий — со странным выговором, старинными оборотами, так что Корнелиус не сразу и понял:

— Вольно ж князю Тулупову попусту сулить. Свободного капитанства сейчас не имеется, да и не дадено князь-Евфимию власти самочинно звания

жаловать. Поручиком в мушкатерский полк взять можно, капитаном — еще думать надо.

Фон Дорн помертвел, но то было только начало.

— Жалованье тебе будет половинное, ибо сейчас войны нету, — тараторил толмач. — И подъемного корму тебе князь много наобещал, столько дать нельзя. А и то, что можно бы дать, сейчас взять не откуда. Ждать нужно — год или, может, полтора.

Корнелиус вскочил, топнул ногой.

— Не стану служить поручиком, да за половину жалованья! Если так, я немедленно отправляюсь обратно!

Лыков недобро усмехнулся:

— Эх чего захотел. Государевы ездовые, сто ефимков, потратил, города и крепости наши все повисмотрел, а теперь назад? Может, ты лазутчик? Нет, Корней Фондорнов, отслужи, сколько положено, а там видно будет.

От изумления и ярости случилось у Корнелиуса помутнение: подскочил он к вице-министру, схватил его за жемчужный ворот, стал трясти и ругать крепкими словами, так что из канцелярии прибежали писцы разнимать.

Оскорбленный подьячий вызвал стрелецкий караул. Хотел даже буяна в тюрьму отправить, но передумал — велел доставить под стражей к командиру полка, где Корнелиусу служить.

— Полковник Либенов покажет тебе, как государевых людей лаять и за царский кафтан трепать! — кричал подлый вице-министр, а толмач старательно переводил. — Он тебя в погреб посадит, на хлеб и воду, да батогами! А не станет батогами — буду на него самого челом за бесчестье бить!

* * *

Проезд по быстро пустеющей предвечерней Москве запомнился потрясенному Корнелиусу, как кошмарный сон. Хищные укусы крыш, зловещие персты звонниц, похоронный гуд колоколов. Фон

Дорн горестно стонал, покачиваясь в седле, даже заплакал от обиды и жалости к себе — лицо закрыл ладонями, чтоб конвоиры не радовались. Коня вел за повод сам стрелецкий десятник, каурую с поклажей тянули аж двое. Она, умница, не хотела идти, прядала ушами, упиралась.

За воротами земляного вала — не теми, через которые въезжал караван, другими — открылся вид на экзекуционный плац. Виселицы с покачивающимися мертвяками Корнелиус оглядел мельком, это было не диво, от кольев с насаженными руками и ногами отвернулся, но чуть поодаль увидел такое, что даже вскрикнул.

Довольно большая кучка зевак стояла вокруг женщины, зарытой в землю по самые плечи. Она была побитая и перепачканная грязью, но живая. Фон Дорн вспомнил, как купцы рассказывали про жестокий обычай московитов — жену, что убьет мужа, не жечь на костре, как принято в цивилизованных странах, а закапывать живой в землю, пока не издохнет. Он-то думал, закапывают с головой, чтоб задохнулась — тоже ведь страшно. Но этак вот, на долгую муку, во стократ страшнее.

На закопанную наскикивали два бродячих пса, захлебываясь бешеным лаем. Один вцепился в ухо, оторвал, сожрал. В толпе одобрительно засмеялись. Руки преступницы были в земле, защищаться она не могла, но все же извернулась и укусила кобеля за нос. Зеваки снова зашумели, теперь уже выражая одобрение мужеубийце.

— Дикое варварское обыкновение, — сказал толмач вполголоса. — Люди благородно-просвещенного ума осуждают.

Откуда здесь, в этом адском государстве, взяться благородным, просвещенным людям, хотел сказать Корнелиус, но поостерегся. С чего это приказный вдруг переменял тон? Не иначе, хочет на неосторожном слове поймать.

Проехали еще невеликое расстояние, и было фон

Дорну за все перенесенные муки утешительное видение. Закатная заря осветила дрожащим розовым светом берега малой речки, тесно уставленной мельничками, и вдруг поодаль, над крутым обрывом, обрисовался милый немецкий городок: с белыми опрятными домиками, шпилем кирхи, зелеными садами, и даже блеснула гладь аккуратного пруда с фонтаном. Городок был как две капли воды похож на милый сердцу Фюрстенхоф, что стоял всего в полумиле к юго-востоку от отчего замка. Очевидно, благое Провидение сжалилось над Корнелиусом и милосердно лишило его рассудка — фон Дорн нисколько этому не огорчился.

— Это и есть Новая Немецкая слобода, которую местные невежи прозвали Кукуем, — сообщил переводчик. — Тому двадцать три года, как выстроена. Заглядение, правда? Дворов нынче за три сотни стало, и люди все достойные: офицеры, врачи, мастера часовых и прочих хитрых дел. — Он захихикал. — А знаете, господин поручик, почему «Кукуй»?

— Почему? — вяло спросил фон Дорн, поняв, что постылый рассудок никуда от него не делся, и поморщившись на «поручика».

— Это здешние служанки, стирая в ручье белье и пляясь на диковинных московитов, кричали друг другу: «Kucke, kuck mal!»¹. Вот и пристало. Правда, смешно?

У въезда, за полосатым шлагбаумом стоял караульный солдат — в каске, кирасе, с алебардой.

Стрельцов пустил неохотно, после препирательств. Корнелиус заметил, что его конвоиры шли уже не так грозно, как по Москве, — сбились в кучу, по сторонам глядели с опаской.

Из аустерии, на крыше которой было установлено тележное колесо с жестяным аистом (вывеска гласила «Storch und Rad»²), вышли в обнимку двое рей-

¹ Гляди, гляди-ка! (нем.)

² «Аист и колесо» (нем.).

таров с палашами у пояса. Один, показав на борода-
тых стрельцов, крикнул на баварском:

— Гляди, Зепп, пришли русские свиньи, мочал-
ки для бани продавать!

Второй оглушительно захохотал, согнувшись
пополам. Стрельцы сказанного понять не могли, но
сдвинулись еще плотнее.

Больше всего Корнелиуса удивил толмач. Вместо
того, чтоб осерчать на «русских свиней», заговорщи-
чески подмигнул и осклабился.

— Вот, — показал он на большой дом с красной
черепичной крышей. — Здесь квартирует ваш полко-
вой начальник герр Кристиан Либенау фон Либиен-
клау, по-русски «полковник Либенов». Мне туда хо-
дить незачем, так что откланиваюсь и желаю вам вся-
ческого благополучия. Если понадобится толмач — ми-
лости просим. Зовусь я Пашка Немцеров, с Архангельс-
кого подворья. Я и грамотки челобитные либо сутяж-
ные составляю. Беру недорого — алтын и деньги.

Десятник понес в дом кляuzu от вице-министра,
Корнелиусу велел дожидаться. Сердце заныло от не-
хорошего предчувствия.

* * *

— Да, молодой человек, наломали вы дров. —
Полковник Либенау фон Либиенклау раскурил фар-
форовую трубку, надувая тощие щеки и супя кустис-
тые пегие брови. — Схватить подьячего за шиворот,
да еще в приказе, при подчиненных! Теперь эта бес-
тия грозитя челом за бесчестье бить. Нехорошо,
скверно. Как пойдет писанина, не отвяжешься. —
Он снова заглянул в присланную Теодором Лыко-
вым грамотку, сердито крякнул: — Ишь, чего захо-
тел, мокрица — офицера батогами! У меня не стре-
лецкий полк, а мушкетерский. Секу не батогами, а
розгами, и только нижних чинов. Подлая, рабская
страна! Тьфу! Придется ему, бесу, тремя рублями по-
клониться, а то и пятью — больно уж осерчал.

Командир полка оказался страшным только по виду. Ворчал, ругался, несколько раз стукнул кулаком по столу, но Корнелиус на своем веку повидал всяких командиров и хорошо знал: бояся не того пса, что лает, а того, что молчит.

Ругань начальства фон Дорн выслушал без препирательств, а после отлучился во двор, вынул из выюка флягу доброго голландского рома, сверток батавского табаку, и вскоре они с полковником уже сидели на уютной застекленной веранде, дымили трубками и пили крепкий, щедро сдобренный ромом кофе.

— Тут ведь что досадно, — говорил Либенау, вздыхая. — Этот Федька Лыков невелика шишка, подьячишка простой. Вы говорите, дожидались его долго? Это он посылал за «большим кафтаном» (такой вроде как казенный мундир для парадных выходов), чтоб на вас впечатление произвести. Обычное дело — на гостинец набивался, в России так заведено. Надо было посулить ему пару соболей из ваших подъемных, все бы и устроилось. А для будущей пользы еще следовало бы его, шельму, да пару других подьячих в гости позвать, очень уж они охочи до мальвазеи и засахаренных фруктов, которые столь искусно prepares фразу Зибольд из «Аиста». Только всего и надо было. И капитанское звание при вас осталось бы, и подъемные. Эх, сударь! Что ж вас купцы-то не научили? Нужно было вам сначала сюда, в слободу, а уж после в приказ. Теперь поздно, не поправишь. Если б вы Федьку с глазу на глаз срамили, да хоть бы и прибили, невелика беда, а при подчиненных — дело другое, не простит. Ему бесчестье. За поруганную честь он много возьмет.

Услышав про честь, фон Дорн встрепенулся:

— Если он человек чести, я готов дать ему полную сатисфакцию. На чем здесь принято биться? На саблях? На пистолях? Я готов драться любым оружием!

Либенау засмеялся. Смеялся долго, с удовольствием и вкусом.

— Эх, куда хватили — дуэль. Тут вам не Европа. У здешних дворян, если поссорятся, знаете, какая ду-

эль? Садятся на лошадей и хлещут друг друга кнутами по рожам, пока один не свалится. Я же говорю, рабская страна, никакого понятия о достоинстве. Кроме царя, все холопы, до наипервейшего боярина. По здешним понятиям, бесчестье может быть только от равных или низших, от высших — никогда, пусть хоть на морду гадят. Если царь собственной ручкой какого князя или боярина за виски дерет или по щекам лупит — это только повод для гордости. Вот будет зима, начнется любимая царская забава. Государевы стольники — это вроде камер-юнкеров — будут нарочно во дворец к высочайшему выходу опаздывать. А знаете, почему? Потому что опоздавших монарх велит в пруду купать и радуется, как ребенок, в ладоши бьет. Стольники нарочно орут пожалостливей да посмешней, чтобы его помазанному величеству угодить. Некоторые, конечно, от такого купания простужаются и помирают, но бывает и так, что Алексей Михайлович смиляется и пожалует что-нибудь: шубу для согрева или деревеньку на прокорм. Вот такие здесь дворяне. Да их возле дворца каждый день плетью дерут, кто провинился. А вы — дуэль.

— И иностранцев тоже плетью дерут? — поджавшись и бледнея при одной мысли о позорном наказании, спросил фон Дорн. Крики вице-министра Федьки про батоги он счел за пустые угрозы (где это видано, чтоб людей благородного звания подвергали порке?), а выходило, что зря.

Полковник только вздохнул, будто на лепет неразумного дитяти.

— Плети что — это и не наказание вовсе. Так, мелкое порицание. У нас тут один капитан из недавно прибывших проверял купленное ружье да пальнул в ворону, что сидела на кресте церкви. Били капитана кнутом, вырвали ноздри и сослали в Сибирь, навечно.

— За ворону?! — не поверил Корнелиус.

— За кошунство. О, друг мой, вы не представляете, что за обычаи в этой стране! Таких нелепых, безумных законов вы не сыщете и в Персии.

Кажется, полковнику доставляло удовольствие стращать новичка местными ужасами. Он крикнул служанке заварить свежего кофе да принести из погреба можжевельной и, улыбаясь в усы, стал рассказывать такое, что фон Дорн только ахал.

— В шахматы играете? — спросил Либенау.

— Иногда. Не очень хорошо, но когда нужно скоротать зимний вечерок...

— Запрещено, — отрезал полковник. — За эту богомерзкую забаву бьют кнутом... А табак нюхаете?

— Нет, у меня от него слезы — не остановишь.

— А вы как-нибудь понюхайте прилюдно — просто из интереса, — предложил коварный хозяин. — Вам за это по закону нос отрежут, так-то! С собаками играть нельзя, на качелях качаться нельзя, смотреть на луну с начала ее первой четверти нельзя. Скоро начнется жара, духота, так вы, дружище, не вздумайте купаться в Яузе во время грозы. Это колдовство — донесут, на дыбе изломают.

— Хорошо, что вы меня предупредили, — поблагодарил взмокший от всех этих извещений Корнелиус. — А какие-нибудь невинные забавы дозволяются? Потанцевать с дамами, послушать музыку?

— У нас на Кукуе можете чувствовать себя, как в Германии, тут у нас свои законы. Но на Москве музыки не бывает — православная церковь почитает скрипки, виолы, флейты и прочие инструменты сатанинским ухищрением.

От упоминания о церкви мысли фон Дорна приняли иное направление.

— Какой вы веры, господин Либенау? — осторожно спросил он. — Римской или реформатской?

— Я родом из Нассау, — благодушно ответил полковник, — стало быть, протестант. Вы-то, поди, католик, раз родом из Вюртемберга? Это ничего, я придерживаюсь того взгляда, что вера — дело личное.

— Да, — с облегчением сказал Корнелиус. — Я католик и почти месяц не был на исповеди. Где мне найти священника?

— Нигде. — Старый вояка сочувственно развел руками. — Латинская вера в Московии строго-на-строго запрещена. Нас, протестантов, еще терпят, но ни католического священника, ни костела вы здесь не найдете.

— Как же жить без исповеди и причастия? — ужаснулся фон Дорн.

— Ничего, живут, — пожал плечами Либенау. — Молятся перед образом. А кто похитрее — переходит в русскую веру. За это положено повышение по службе, щедрый подарок от царя. Перекресту жить в слободе необязательно, можно и в Москве. И жениться на русской тоже можно. Многие так делают, особенно из торгового сословия, — презрительно скривился полковник. — Ради выгоды. Пройдет поколение, другое, и добрая европейская фамилия вырождается, такой уж тут воздух. Тех, кто здесь родился, «старыми немцами» зовут, а мы с вами — «новые немцы». Вот я видел из окна рядом с вами толмача Пашку Немцерава. Его дед был лучший часовщик в Старой Немецкой слободе, да польстился на царские заказы, перекрестился. Прошло полвека, и вот вам плод ренегатства — этакий ублюдок Пашка, и не немец, и не русский. Видали у него на лбу шишку? Это от молитвенного усердия, все земные поклоны кладет. Живет при церкви, на клиросе выпевает. Хорошо, в ворота не сунулся, собака, а то я б его пинками прогнал.

Командир сердито запыхтел, стукнул по столу — фаянсовый кофейник подскочил и выплеснул из носика на скатерть черную жидкость.

— Русская косность и тупость разжижает мозги и разъедает душу! Если б не наш Кукуй, мы все бы тоже давно оскотинились. Знаете, каковы представления москвитов о науке? Космографию они изучают по Козьме-Индоплавателю, который, как известно, почитал Землю четырехугольной. Высшая премудрость, которой здесь владеют немногие избранные — четыре правила арифметики, да и то делить большие числа они не умеют, а уж о дробях и не слыхивали. Эвклидовой геометрии не ведают вовсе, а грамотным счи-

тается тот, кто может худо-бедно свое имя накалякать. В прошлый сочельник угощал я одного дьяка из Рейтарского приказа, Митьку Иванова. Этот Митька взял со стола мидию в ракушке — домашним показать, и после хранил этакое диво в винном кубке. Так сослуживцы донесли, будто он в том кубке дьявола прячет! И все, был Митька Иванов — не стало. Зря я на угощение и подношение тратился.

Развезло герра Либенау фон Лиленклау на нового слушателя — не остановишь. Да Корнелиус и не думал останавливать. Слушал затаив дыхание, и только на душе становилось все муторней и муторней. Нечего сказать — умен лейтенант фон Дорн, нашел страну, где счастье искать.

— Днем, когда самая работа, все московиты укладываются спать, — негодовал полковник. — Присутствия и лавки закрываются, вся страна дрыхнет. Вроде испанской сиесты, никаких дел вести нельзя. Только у испанцев летом жарко, а этим-то что не работается?

— А что русская армия? — спросил Корнелиус, уже заранее зная, что ничего хорошего не услышит. — Трудна ли будет моя служба?

— Трудна, потому что ваш ротный командир, Овсейка Творогов, вор и пьяница. Хотел бы прогнать его, да не могу — у него, мерзавца, высокие покровители. А армия у русских дрянь. В поход с ней ходить нельзя, даже против поляков воевать не может. Знаете, какой стратегии придерживаются московиты в сражении? — Либенау саркастически подчеркнул слово «стратегия». — Скачут гурьбой на врага со страшным криком, надеясь испугать. Если не получилось, останавливаются и дают залп из ружей и пистолей. Если противник все равно не испугался, тогда московиты пугаются сами, поворачивают назад и бегут, топча друг друга. Вот и вся баталия. Первый министр боярин Матфеев хочет построить новую армию, европейского образца, но у Матфеева много могущественных врагов, а царь (тут хозяин понизил голос) глуп и безволен, всяк вертит им, как хочет. Вот

будете в Китай-городе, полюбуйте на их Царь-пушку. Стоит здоровенная дура, никогда в бою не бывала, потому как из нее стрелять нельзя. Царь-пушка у них не стреляет, царь не правит. Вся эта страна — огромный болотный пузырь. Дунь как следует — лопнет. Эх, милый вы мой, я-то сюда не по своей воле угодил. Служил у Радзивилла Литовского, попал к москвитам в плен раненый, тому двадцать лет. У меня выбора не было: или в тюрьму, или на царскую службу. Но вас-то кой черт сюда занес?

— Вы случайно не знаете некоего господина Фаустле, бывшего рейтарского полуполковника? — спросил Корнелиус, припоминая посулы амстердамского знакомого.

— Как же, знаю, — махнул рукой Либенау. — Никакой он не рейтар. Мошенник, прощелыга, из «старых немцев». Это он вас сманил? Такая у него иудина служба, жалованье ему за это из царской казны идет.

Фон Дорн стиснул кулаки, спросил тихонько, будто боялся добычу спугнуть.

— Так, значит, герр Фаустле сюда еще вернется?

Полковник усмехнулся:

— Вернуться-то он вернется, только не такой Фаустле дурак, чтоб на Кукуе появиться. Его тут многие из офицеров и мастеров хотели бы повидать, не вы один. Нет, у Фаустле дом в Замоскворечье, в Стрелецкой слободе. Нам за Москву-реку хода нет, у солдат со стрельцами давняя вражда.

Корнелиус вспомнил, как странно вели себя в Немецкой слободе его канареечные конвоиры. Теперь понятно, почему.

— Ничего, — сказал он, скрипнув зубами. — За глупость и легковерие надо платить. Как-нибудь продержусь четыре года, а потом назад, в Европу.

— Какие четыре года? — удивился Либенау. — Какая Европа? Неужто вы еще не поняли? Приехать сюда можно, уехать — ни за что и никогда. Вы навсегда останетесь в России, вас закопают в тощую русскую землю, и из вашего праха вырастет главное русское растение — лопух.

Глава пятая

Не было ни гроша, да вдруг алтын

Если б свободное падение длилось не две с половиной секунды, а чуть дольше, у Николаса от ужаса разорвалось бы сердце. Но в тот самый миг, когда магистр осознал, что, собственно, с ним произошло, и собрался закричать во все горло, полет уже закончился — хрустом, треском, противным шорохом и глухим ударом. Фандорин оказался в тесном, прямоугольном пространстве, отчего-то пахнущем свежей клейкой листвой и таком же, как листва, зеленом.

Ничего не понимая, он в ужасе задержался, забился в этом жестком и неподатливом зеленом кошмаре, кое-как вывернулся, уперся ногами в твердь — и вскочил, по самую грудь утопая в тополиных ветках и бумажном соре. Оказалось, что траектория головокружительного путешествия второго баронета, начавшаяся на крыше, завершилась баскетбольным попаданием точнехонько в мусорный бак, доверху наполненный остриженными ветвями, листьями и скомканной бумагой. Николай задыхался и хватал ртом воздух, исцарапанный и оглушенный падением, но, кажется, более или менее целый.

Ноги передумали держать его в вертикальном положении, и он бессильно осел на пружинистую подстилку из новопреставленной листвы. Над головой сразу же образовался зеленый шалашик из ветвей. Фандорин смотрел сквозь него на синее небо и ни о

чем не думал, потому что о чем можно думать, когда с человеком ни с того ни с сего случается такое?

Если б Николас от шока и изумления временно не утратил способности к отвлеченным умопостроениям, он, наверное, сейчас размышлял бы о странном несоответствии между человеческим сомнением и суровой истиной бытия.

Живешь на свете в полной уверенности, что ты — царь и повелитель собственной вселенной, да так оно, в общем, и есть. Но твою разумную и упорядоченную вселенную от хаоса отделяет одна лишь тонюсенькая стеклянная перегородка, и ты плаваешь в этом хрупком аквариуме пучеглазой, непуганой рыбкой. А потом случается что-то, над чем ты не властен и о чем даже не имеешь представления — и аквариум разлетается вдребезги, рыбка бьется среди стеклянных осколков, бессмысленно раздувая жабры. Только что ты был хозяином своей судьбы, исследователем тайн истории, сторонником здорового образа жизни и патриотом окружающей среды, ты вынашивал честолюбивые планы на будущее и твердо знал, что следующий новый год будешь встречать на вулканическом острове Тенерифе, а потом хаос чуть-чуть, совсем слегка коснулся тебя своим безумным, обжигающим дыханием, и стекло треснуло. Царь вселенной лежит скрюченный в мусорном баке, смотрит на ползущие по небу облака и не может взять в толк, почему он еще жив.

Объяснение могло быть только одно — пресловутая фандоринская удачливость, про которую отцу в детстве рассказывала бабушка Елизавета. Мол, породит мужчинам рода Фандориных некая благожелательная мистическая сила, приносящая чудесное избавление от всевозможных опасностей. У каждого Фандорина, как у пресловутой кошки, девять жизней, а у некоторых, вроде деда Эраста Петровича, запасных жизней бывало и побольше, чем девять.

Чушь, конечно. Семейная легенда. То-то сэру Александру с выбором паромов «Христиания» по-

везло. А самому Николасу? Какая фантастическая, оскорбительная неудачливость! Нет ничего обиднее и нелепей, чем стать так называемой жертвой статистики. По статистике положено, чтобы с некоторым процентом населения происходили несчастные случаи — условно говоря, чтоб кому-то на голову падал кирпич. Скажем, 0,01 процента живущих обязаны попасть в автокатастрофу; 0,001 процента обречены заразиться энцефалитом, а 0,0001 процента на роду написано стать жертвой маньяка или психопата. Например, Николасу А. Фандорину, М. А. и Вt.

Как говорят новые русские, ничего тут не попишешь — так природа захотела. Самое тупое и бессмысленное — причитать: ну почему я, почему это случилось именно со мной? Почему сумасшедшего очкарика принесло именно сегодня и именно в ЦАСД? Почему из всех посетителей он выбрал меня?

То есть, разумеется, у всего, что происходит, если покопаться, обнаружится свое объяснение. Например, такое. На Николаса напал историк, имеющий пропуск в архив и потихоньку свихнувшийся среди этого депрессивного антуража. Возможно, у бедняги патологическая ненависть к двухметровым блондинам в синих блейзерах. Именно такой двадцать лет назад надругался над ним в пионерском лагере и нанес ребенку глубинную психическую травму. В обычной жизни он более или менее нормальный, а как увидит синий блейзер — впадает в агрессию. Сила у этого тщедушного очкарика поистине нечеловеческая, явно аффектного происхождения. Как легко он перекинул через себя двухсотфунтового дылду!

Или, что еще вероятней, объект его obsessions — кейсы светло-шоколадного цвета. Ведь именно с кейса все и началось. Такой специфический патологический фетишизм.

Господи, кейс!

Николас вскинулся, застонал, стал вылезать из глубокого узкого бака. Может быть, еще не поздно?

Милиция, здесь у входа дежурит милиция. Скорей!

Три часа спустя желто-синий милицейский «уазик» доставил густо намазанного зеленкой магистра к гостинице.

Дело было дрянь. Психа в клетчатой рубашке на территории архивного городка отыскать не удалось. То ли пролез в подземные хранилища и где-то там, в нехоженных лабиринтах, спрятался — и тогда есть надежда, что рано или поздно вылезет наружу, либо же попадется кому-то из сотрудников на глаза. То ли сумел каким-то чудом проскользнуть незамеченным мимо постовых милиционеров на одной из шести проходных, и тогда пиши пропало.

Подавленная жертва статистики ехала в зеркальном лифте на свой пятнадцатый этаж и, чтобы восстановить позитивный взгляд на жизнь, пыталась сочинить оптимистичный лимерик. Но выходило что-то мрачное, и опять, как в архиве, с членовредительской тематикой.

«В конце концов, можно ведь взглянуть на случившееся и по-другому», — убеждал себя Фандорин. Произошло истинное Божье чудо — впору надевать рубище, вериги и идти простоволосым по святой Руси. По всему, он должен был расколотить себе голову о кирпичи, разmozжить грудную клетку о бетонный блок или повиснуть, пронзенный одним из торчащих арматурных прутьев, а вместо этого отделался несколькими царапинами. Наследственная удачливость — конечно, бред, но нельзя не признать, что упал он с крыши исключительно, просто феноменально удачно. Стало быть, аквариум уцелел, жизнь продолжается, а если жизнь продолжается, то, значит, ее можно наладить и упорядочить.

Первым делом произвести минимизацию понесенного ущерба. Позвонить в «Барклайз», чтобы заблокировали похищенные кредитные карточки. И пусть переведут по «Вестерн юнион» некоторую сумму наличными — не оставаться же без денег. Связаться с консульством, понадобится временное удо-

ствоверение вместо паспорта. Сообщить в «Бритиш Эрвейз» о пропаже билета — пусть восстановят. Все?

Нет, не все. Есть пропажа, которую не восстановишь: завещание Корнелиуса. Словно заклятье нависло над этим листком старинной бумаги — собственно, уже и не листком, а сколькими-то килобайтами информации в памяти компьютера. Самое обидное было то, что Николас даже не успел прочесть послание капитана фон Дорна. Только: «Память сия для сынка Микиты егда». О чем память? Когда «егда»? И почему там, чуть ниже поминаются какой-то «алтын» и «рогожа»?

Неужели он теперь никогда этого не узнает? Что за фатальная нелепость! Может, сумасшедший очкарик наиграется своей добычей, да и выбросит ее? Описание кейса и всего содержимого у милиции имеется. Отчаиваться рано.

Он шел по длинному, устланному ковровой дорожкой коридору к своему номеру 1531. Открыл дверь, остановился в тесной прихожей перед зеркалом. Ну и вид: блейзер перепачкан известкой и тополиным соком, рукав надорван, двух пуговиц не хватает. Узел галстука съехал на сторону, рубашка вся в пятнах. А лицо! Мало того, что на щеках две намазанные зеленкой царапины, так подбородок черный и в волосах застрял кусочек яичной скорлупы. Какая гадость! Умыться, немедленно умыться! А потом — под душ.

Николас шелкнул выключателем, распахнул дверь ванной. И замер.

На унитазе, закинув ногу на ногу, сидел давешний очкарик и приветливо улыбался остолбеневшему магистру.

* * *

Первое чувство, которое испытал Фандорин, — не изумление, а абсурдная радость от того, что похититель кейса нашелся. Абсурдная — потому что чему же тут радоваться, если от потрясения и сотрясения у человека *поехали мозги* (отличное идиоматическое

выражение из фольклорного блокнота) и его *повело в глюки* (оттуда же).

— Где кейс? — спросил Николас у глюка.

Видение улыбнулось:

— Я думал, ты баскетболист, а ты баскетбольный мяч. Как ты ловко в корзинку-то, а?

Галлюцинация восхищенно покачала чубатой головой, поправила правой рукой очки на переносице, чуть приподняла левую, и Николас увидел черную, матово поблескивающую трубку с еще более черной дыркой посередине.

— Пожил уже, хватит, — с ласковой укоризной сказал очкарик. — Дай другим пожить.

Дырка приподнялась еще на сантиметр, так что теперь смотрела Фандорину прямо в лицо, палец на спусковом крючке двинулся — и Николас инстинктивно, не рассуждая, дернул головой в сторону. Трубка чмокнула, щеку обдало горячим, а в стену сзади ударило чем-то хлестким, и посыпалась крошка.

В свое время Николас был нападающим университетской баскетбольной команды — не из-за того, что умел с середины площадки закинуть мяч прямо в корзинку и не из-за роста (были в команде парни и подлиннее), а из-за превосходной реакции и умения ориентироваться в игре. Во время матча с будущим магистром происходила чудесная перемена — у него начисто отключалась рефлексия. Фандорин переставал думать головой, отдавая управление своими действиями рукам и ногам, которые отлично справлялись с задачей безо всякого участия интеллекта. Очевидно, из-за этого-то периодического катапультирования рефлексии ему и не суждено было стать великим ученым. Может, лучше было податься в профессиональные спортсмены?

Такого рода сомнения (уж они-то точно относились к категории рефлексии) одолевали Николаса довольно часто. Но сейчас катапультирование спасло ему жизнь.

Уже не вникая в тонкости — действительно ли

очкарик палил в него из пистолета или это все-таки была галлюцинация, — Фандорин метнулся обратно в прихожую и нырнул за выступ. Вовремя: зеркало треснуло, разбегаясь черными лучами от маленькой круглой дыры. Еще один рывок, и Николас вылетел в коридор.

Справа был лифт, но далеко, метрах в тридцати, не добежать — пуля догонит. Фандорин дернулся влево, где находилась лестница. Тоже далеко! Однако в двух шагах от двери номера 1531 стояли двое носатых брюнетов, с интересом глядя на человека, который выскочил из номера, словно чертик из табакерки.

— Sorry, — пробормотал магистр и проскользнул между ними, задев твердое, будто деревянное плечо одного из восточных людей, плотно сбитого, с залихватски подкрученными усами.

Тот зычно крикнул вслед с характерным кавказским акцентом:

— Э! Нэ понял!

Николас и не подумал оборачиваться — неся по узкому коридору со всех ног.

— Ви что тут, с ума пасхадыли?! — еще сердитей крикнул тот же голос, а другой, звонкий и веселый — голос Очкарика — ответил:

— Миль пардон, генацвале. Мы с корешом за пивом. Эй, Коляныч, не гони, успеем!

— Сначала извинись, потом бэги! — потребовал второй кавказский голос, пожиже первого.

Дальше Фандорин не слышал, потому что уже нырнул в спасительный проем и сломя голову, через три ступеньки заскакал по лестнице.

Боже, благослови грузинов и их вспыльчивый нрав!

Сам не заметил, как слетел по лестнице с пятнадцатого этажа. Способность к рефлексии все еще не вернулась, а то у Николаса, верно, подкосились бы ноги.

Это был никакой не сумасшедший! Это был

убийца! И судя по повадкам, по страшной чмокающей трубке — убийца профессиональный, каких Николас раньше видел только в кино! Очкарику нужен был вовсе не кейс! Он хотел убить Николаса — и чуть было не убил. Дважды Фандорин спасся истинным чудом: сначала благодаря контейнеру с мусором, потом благодаря двум задиристым грузинам. Две кошачьи жизни долой.

В вестибюле дежурил милиционер, строго покосившийся на встрепанного постояльца.

Николас заколебался — позвать на помощь или лучше уносить ноги подобру-поздорову?

Слава богу, рефлексия уже вернулась и вступила в свои права. «Какая там помощь!» — сказала она. Этот улыбчивый душегуб запросто проник в архивный городок, который охраняют часовые с автоматами, и так же просто вышел оттуда. С той же легкостью он проник в гостиницу, через придиричивого швейцара, через этого самого милиционера. А ведь одет подозрительно: ковбойка, кеды. Нет-нет, бежать, спастись!

Но куда?

Выскочив на улицу, Николас ошарашенно обозрел поток машин, медленно ползущих по Тверской. Даже такси не возьмешь — платить нечем. Ни денег, ни документов.

В британское посольство — вот куда. Там царят разумность и порядок, там помогут.

— Извините, вы не знаете, где посольство Соединенного королевства? — спросил Николас у топтавшейся неподалеку девушки — миниатюрной, черноволосой, со строго насупленным лбом. Та озадаченно посмотрела снизу вверх, пожала плечами. То ли не знала, то ли он как-то не так спросил.

Задерживаться было нельзя. Фандорин добежал до подземного перехода и стал протискиваться через густую толпу, лихорадочно соображая, как же отыскать посольство.

Видимо, ясность мысли все-таки еще не вполне

вернулась к родившемуся в рубашке магистру — ведь в кармане пиджака лежал превосходный «Бедекер». Николас на ходу полистал яркую книжечку. Вот оно, посольство: Софийская набережная. Где это? Квадрат D-7 на схеме центральной части города. Напротив Кремля, на другой стороне реки Москвы. Так это же рукой подать — каких-нибудь четверть часа ходьбы!

Обрадованный такой удачей, Фандорин зашагал по переходу в сторону реки — быстро, но уже не бегом, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.

Жаль, что приходилось вот так, мимоходом пересекать Красную площадь. Увы, не до исторических реминисценций. А сколько раз Николас представлял себе, как с трепетом ступит на священный плац, с которого начинается отсчет бескрайних просторов России! И еще намеревался непременно наведаться в мавзолей, пока мумию погубителя великой державы не закопали в землю.

Хоть и торопился, хоть и не до того было, но на мавзолей все-таки обернулся — и раз, и два. Никогда не думал, что этот зиккурат так похож на сложенные кубики из детского конструктора.

Что это мелькнуло сзади в толпе? Клетчатое, желто-зеленое?

«А-а-а!» — захлебнулся магистр невыплеснувшимся криком. Следом, шагах в двадцати, споро вышагивал Очкарик. Увидел, что Фандорин обернулся, и радостно помахал рукой, просиял улыбкой: мол, все в порядке, я тут.

Николас резко остановился, присел на корточки и повернул рычажки — на правой платформе, на левой. Стал еще на несколько сантиметров выше из-за высунувшихся роликов и, набирая скорость, помчался по брусчатке вперед, к Покровскому храму. Сзади раздался свисток, потом другой, но это было пустое.

Москворецкий мост он пролетел на одном дыхании — вполне возможно, поставив при этом рекорд скорости по бегу на роликовых коньках. Так разог-

нался, что, выворачивая вправо на набережную, зацепился ботинком за шов на асфальте и растянулся во весь рост.

Здорово расшиб колено, порвал и без того обезображенные брюки, а досаднее всего то, что от правой подошвы отлетели два колесика, и катить дальше стало невозможно.

Николас испуганно оглянулся. Желто-зеленой ковбойки на мосту не было. Кажется, оторвался.

Припадая на ушибленную ногу, двинулся к спасительному убежищу, посольству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

* * *

Советник по безопасности Лоуренс Пампкин, грузный мужчина с брыластым, как у мастифа, лицом и ярко-голубыми глазами, окинул медленным взглядом потрепанного посетителя, пожевал губами и бесстрастно спросил:

— Что с вашей одеждой, мистер Фандорин, то есть, сэр Николас? И почему у вас зеленые полосы на щеках?

— Понимаете, я... сначала свалился в мусорный бак, а потом упал с роликов, — ответил Николас и покраснел — так по-идиотски это прозвучало. Просто какой-то Макс Линдер.

Но советник не выразил ни малейшего удивления. Наоборот, вышел из-за письменного стола, крепко пожал Николасу руку и предложил сесть в допотопное кресло, должно быть, помнившее еще лорда Бивербрука. Сам сел напротив, закурил русскую папиросу и, раздув вялый огонек, велел:

— Рассказывайте.

Слушал внимательно, ни разу не перебил и даже почти не шевелился, только время от времени стряхивал пепел.

Когда Фандорин закончил свою готическую повесть, которая здесь, в чопорном казенном кабинете-

те, верно, звучала совершеннейшим бредом наркомана, воцарилась тишина. В открытой форточке, подрагивая на сквозняке, печально позванивал японский колокольчик.

— Вы думаете, что я спятил? — не выдержал тяжелой паузы магистр. — Что у меня мания преследования? Честно говоря, я и сам не вполне уверен, что мне все это...

Пампкин жестом остановил его.

— Нет, сэр Николас, я вижу, что вы рассказали правду. Во всяком случае, то, что вам *представляется* правдой. Более того, я даже готов поверить, что вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему вас хотят ликвидировать. Я много лет провел в этой стране, и я знаю: здесь может произойти все, что угодно. Абсолютно все... И человеческая жизнь тут стоит не слишком дорого. Тем не менее ваша история, безусловно, имеет какое-то вполне рациональное объяснение.

— Какое?! — вскричал Николас. — Я первый день в Москве! Я представитель тихой, мало кому интересной профессии! Какой тут может быть рациональный мотив?

Советник по безопасности вздохнул, чуть качнул головой.

— Могу предположить минимум три. Первый: вас приняли за кого-то другого. Хотя это и маловероятно, если учесть, что киллер поджидал вас в гостиничном номере. Второе: вы видели что-то лишнее и сами этого не поняли. Третье: кто-то, принимающий решения, заблуждается, считая, что вы видели нечто лишнее. Да мало ли что может быть... Хотите добрый совет?

Совет от чиновника Форин Оффиса? Николас захлопал светлыми ресницами. Должно быть, мистер Пампкин в самом деле прожил в России слишком долго и от этого отчасти обрусел — даже вон курит папиросы «Беломорканал».

— Совет? — недоверчиво переспросил он.

— Ну да. — Лоуренс Пампкин с некоторым смущением пояснил: — Я же советник.

— Да, буду очень признателен!

— Оставайтесь до завтра в посольстве. Можете переночевать на том диване — я сам иногда тут сплю, когда засиживаюсь допоздна. Никуда не выходите. Канцелярия уже закрыта, но утром вам выдадут временный паспорт. Мои люди вывезут вас в багажнике автомобиля и доставят прямоком к лондонскому рейсу. Уносите ноги, сэр Николас, пока целы. Иначе, боюсь, придется отправлять вас на Родину в свинцовом гробу.

Такого совета Фандорин никак не ожидал.

— Но если я сейчас уеду, я не узнаю, что все это означало, и потом буду терзаться догадками всю оставшуюся жизнь. И потом, я не могу вернуться домой без завешания фон Дорна! Мне не простят этого потомки.

— Так у вас есть дети? — нахмурился советник, будто этот факт еще больше усложнял дело.

— Нет. Но когда-нибудь будут. А почему вы спросили? — насторожился Николас.

Пампкин ответил не сразу.

— Я не знаю, сэр, кто и зачем хочет вас убить. Но, видимо, *очень* хочет. Возможно, это мафия. Или спецслужбы, которых тут теперь развелось бессчетное количество, и у каждой свои секреты, свои интересы. Раньше было гораздо проще: КГБ да ГРУ, и все, а теперь Россия переживает период феодальной раздробленности, у каждого князька свой штат профессионалов по проведению спецопераций. Да некоторые подразделения еще берутся за выполнение частных заказов. Очень трудно стало работать, — пожаловался мистер Пампкин. — Я это говорю к тому, что защитить вас мне не удастся. У меня хорошие связи, много добрых знакомств в туземных силовых структурах, но в вашем случае я просто не знаю, на кого нужно выходить и к кому обращаться. А пока я буду наводить справки... — Он красноре-

чиво чиркнул желтым от никотина пальцем себе по горлу. Николаса от этого жеста замутило. — Да и по возвращении в Лондон на вашем месте я вел бы себя поосторожней. Кто знает, насколько серьезны намерения ваших недоброжелателей. Могут добраться до вас и в Британии. Прецеденты имеются... Может, поедете в какую-нибудь археологическую экспедицию на полгода-годик? В Южную Америку или там в Гималаи.

Это было просто неслыханно! Государственный служащий, представитель учреждения, созданного для того, чтобы обеспечивать безопасность британских граждан, советовал ни в чем не повинному человеку забиться в щель, поставить крест на собственной жизни, на профессиональной карьере.

— Я не археолог, я историк, — отрезал Фандорин. — В Гималаях мне делать нечего. А отсюда я не уеду до тех пор, пока не верну свою собственность!

Страх больше не было. Вместо него нахлынула злость: на нечестный трюк, который выкинула судьба; на этого непрошеного советчика, которому только бы поскорей избавиться от докучной проблемы; на вязкую, нелепую, гнусную страну, в которой перестают действовать законы разума и логики. Черт занес сюда Корнелиуса фон Дорна! Что ему не сиделось в своей Швабии?

Но стоило Николасу мысленно произнести эти крамольные слова, и он тут же вжал голову в плечи. Померещилось, будто все восемь поколений русских Фандориных во главе с самим Корнелиусом сурово смотрят на своего никчемного потомка и презрительно качают головами — усатыми, бородатыми или же украшенными бакенбардами: «Стыдись, Николас Фандорин. Не смей рассуждать так о своей отчизне. Нет ничего позорнее измены и малодушия».

Советник зашевелил мясистыми губами и открыл было рот, но магистр перебил его самым невежливым образом:

— Я знаю заранее все, что вы мне скажете. Что

здесь не Британия и не Европа. Что милиция не станет меня защищать от этого очкастого ковбоя и не будет искать мой кейс, потому что это никому не нужно. Что здесь джунгли. Что русские — нецивилизованная нация, не имеющая представления о правах личности, о человеческом достоинстве, о законности. Что все здесь разьедено коррупцией. Отлично! Я не спору! Так все и есть! — Он возбудился до того, что ударил кулаком по толстому кожаному подлокотнику. — Но именно этим я и воспользуюсь. Милиция не будет искать пропажу, потому что у нее нет стимула? Я дам ей стимул! Я объявлю награду за возвращение письма и ноутбука. Десять, нет, двадцать тысяч фунтов. Пятьдесят! Понадобится — сто! Я заложу квартиру, я возьму в банке ссуду, но я верну нашу семейную реликвию! Как вы думаете, мистер Пампкин, прибавится прыти у суперинтенданта уголовной полиции, или как он тут у них называется, если я посулю премию в 100 тысяч фунтов?

Советник по безопасности, кажется, тоже начал злиться. Сдвинул мохнатые брови, неприязненно прищурился и сказал:

— Первое. Я вовсе не считаю, что русские — нецивилизованная нация. Русские таковы, какими они и должны быть, если учитывать условия, в которых они воспитываются и существуют. Здесь другой нравственный климат, сэр Николас, более жестокий и суровый, чем наш. У нас человеку гораздо проще вырасти порядочным, законопослушным, толерантным и политически корректным. Велика ли заслуга быть порядочным, если тебе с детства гарантированы гамбургер, крыша над головой и защита прав личности? Быть цивилизованным человеком в России куда как трудней — это уж цивилизованность настоящая, честно заработанная, а не доставшаяся по наследству, как нам с вами. За сто или сто пятьдесят лет сносной жизни на нашей британской шкуре вырос культурный слой, благопристойно прикрывший первобытную шерсть. Но не слишком обольщайтесь насчет евро-

пейской цивилизованности. Культурный слой — если он достался без усилий, по одной только географической удачливости — держится до тех пор, пока не подует сильный ветер. Поверьте мне, я всякое повидал на своем веку. При настоящей опасности так называемый цивилизованный человек в считанные секунды возвращается в первобытное состояние — чтобы выжить, царапается ногтями и кусается не хуже любого русского.

Было видно, что Лоуренсу Пампкину наступили на большую мозоль. Советник побагровел, раздулся, изо рта вылетали капельки слюны. Такая горячность поневоле вызвала уважение. К тому же Фандорин вспомнил, что писали газеты о катастрофе парома «Христиания»: о драке из-за спасательных жилетов, о том, как политкорректные британцы, шведы и датчане спихивали с плотиков тех, кто слабее.

Но экстремальная ситуация — это особый случай, хотел возразить магистр. Человек не может ручаться, как он поведет себя перед лицом смертельной опасности. Тут прорываются инстинкты, а цивилизованность проявляется в повседневном функционировании общества. Можно ли назвать русских цивилизованной нацией, если они царапаются и кусаются каждый божий день, по любому поводу и вовсе без повода?

Аргумент был весомый, но советник, оказывается, еще не договорил.

— И второе. Ваша идея о премии не так плоха, если вам столь уж дорога эта бумажка. Суперинтендантов здесь нет, но на Петровке, 38, расположен городской уголовный розыск, а у него есть начальник, полковник Нехватайло. И я даже мог бы вас с ним свести. — Здесь Пампкин употребил грамматическую форму, именуемую в английской грамматике «нереальным залогом», из чего следовало, что сводить Николаса с мистером Нехватайло он не собирается. — При одном условии: если б на вас не шла охота. Послушайте, Фандорин, сейчас не до аристократиче-

ских сантиментов. Бумажка, даже если ей триста лет — все равно не более чем бумажка. Вы толкуете о потомках, которые вас не простят. А если вы задержитесь в Москве, у вас не будет никаких потомков, вы не успеете ими обзавестись. Прервется ваш расчудесный род, некому станет кичиться фамильными реликвиями. Бегите отсюда, молодой человек, сваливайте, улепетывайте (дипломат продолжил синонимический ряд еще более энергичными глаголами, заставившими магистра поежиться). И чем скорее, тем лучше.

— Нет, — отчеканил Николас и почувствовал, что гордится собственным упрямством. Сонм Фандориных, к которым присоединились еще и бесчисленные фон Дорны, одобрительно закивал ему: «Так держать, мальчик. Сначала честь, остальное потом».

— Тогда вот что. — Мистер Пампкин перешел на официальный тон. — Вы британский подданный, которому угрожает явная и несомненная опасность. Согласно инструкции, в подобном случае я имею право даже вопреки вашей воле принять меры, которые обеспечат вашу безопасность. Тем более у вас нет документов, и вашу личность еще требуется установить. Я задерживаю вас до завтра на территории посольства, а утром вы отправитесь в Лондон. Можете потом жаловаться в инстанции на превышение власти.

Сразу было видно, что этот серьезный джентльмен слов на ветер не бросает. Сейчас нажмет кнопку на столе, вызовет охрану — и все, прощай, Москва, а вместе с ней и завещание Корнелиуса фон Дорна.

Фандорин вздохнул, потер лоб, виновато развел руками:

— Прошу простить мою истерику. Это нервы — слишком многое на меня сегодня свалилось. Конечно, сэр, вы правы. Остаться в Москве глупо и безответственно. Да и смысла нет. Объявить награду за возвращение документа я ведь могу и из Лондона. Надеюсь, вы свяжете меня с нужными людьми?

Советник испытующе посмотрел магистру в ясные глаза и, кажется, поверил.

— Ну, то-то. Разумеется, свяжу. А со временем непременно выясню, кто — как здесь говорят — вас *заказал*. И тогда станет ясно, нужно ли вам ехать в Гималаи... Ничего, — мистер Пампкин ободряюще коснулся локтя молодого человека и произнес по-русски. — *Перемелется, мука будет. А также утро вечера мудренее*. Отдыхайте. Я скажу, чтобы вам принесли зубную щетку и свежее белье, дам какую-нибудь из своих рубашек. В воротнике будет велика, а манжеты, должно быть, не достанут вам и до локтя, но все лучше, чем ваши лохмотья.

— Благодарю, вы очень добры, — растроганно улыбнулся Николас. — А где тут у вас туалет?

— По коридору третья дверь направо. Быть может, поужинаем вместе? У нас неплохой буфет.

— С удовольствием, — откликнулся Фандорин, уже открывший дверь, и улыбнулся еще раз, теперь смущенно. — Только должен предупредить — у меня ни пенса.

— Ничего, не разорюсь, — проворчал советник.

Пожалуй, он все-таки не был формалистом и надутым чинушей, но это ничего не меняло.

Николас быстро пробежал коридором, спустился по лестнице в вестибюль и, вежливо попрощавшись с охранником, вышел во двор.

Еще полминуты, и ажурные ворота посольства остались позади. Очень довольный своим хитроумием, Фандорин захромал прочь, навстречу опасностям и приключениям.

Ничего. Сначала честь, остальное потом.

* * *

Фантастический день подходил к концу. Стемнело, на набережной горели фонари, а на противоположном берегу реки источал сказочное сияние подсвеченный Кремль. «Это очень красиво», — сказал себе Николас. Вероятно, один из красивейших видов на земле. И, чтобы не впадать в романтиче-

ское настроение (что в данных обстоятельствах было бы некстати), мысленно присовокупил: чем на иллюминацию тратиться, лучше бы зарплату архивистам вовремя платили.

Ковыляя в сторону Большого Каменного моста, пытался составить план действий. Куда идти? В гостиницу? От одного воспоминания о номере, где на зеркале растопырилась паутина от пули, Николас содрогнулся. Только не туда! Там-то, скорее всего, и дожидается очкастый весельчак.

Тогда куда? К милиционерскому начальнику — предлагать премию? Интересно, какую, когда в кармане ни гроша. Да и вообще, как это будет выглядеть: явится на Петровку, 38, какой-то оборванец без документов, станет требовать, чтобы его провели к начальнику уголовного розыска полковнику Нехватайло. Бред! Сон в летнюю ночь!

Николас остановился, поняв, что повел себя крайне неразумно. Нельзя путать честь с глупым гонором. Что может сделать иностранец в этой опасной стране — один, без поддержки и даже без денег?

Получалось, что выхода нет. Нужно возвращаться с повинной к многоопытному советнику по безопасности и уговаривать его, чтобы перед репатриацией он все-таки дал Фандорину возможность сговориться с главным московским сыщиком. Пампкин человек незлой и умный. Может пойти навстречу — если, конечно, не сильно рассердился на Николасов обман.

Да, может быть, еще и не хватилась, ведь прошло не более пяти минут.

На набережной было пусто, только сзади раздавались неторопливые, гулкие шаги какого-то позднего прохожего. Вздыхнув, Николас повернулся, чтобы идти сдаваться.

— Коляныч! — жизнерадостно возопил поздний прохожий. — Какими судьбами?

Магистр попятился.

— Ну че ты как не родной? — как бы обиделся Очкарик (вот и стеклышки в свете фонаря блеснули, а в руке блеснуло еще и что-то металлическое — пожалуй, не пистолет с глушителем, а нож или кинжал). — Не бери в голову, все там будем.

Страшный человек ускорил шаг, теперь его отделяло от Николаса не более пятидесяти футов.

Фандорин развернулся и, приволакивая ногу, побежал прочь, но медленно, слишком медленно. И ролики сломаны, не умчишься. Господи, неужели все закончится здесь, у этой равнодушной реки, в этом чужом, недобром городе?

Послышалось стремительное приближающееся фыркание маломощного моторчика, визгливо заскрежетали тормоза. Рядом с тротуаром резко остановился малюсенький таункар — Николас знал, что эта модель называется «Ока».

Открылась дверца.

— Мотаем! — крикнул женский голос.

Фандорин, в очередной раз сбросивший балласт рефлексии, кинулся головой вперед в кабину и скрючился на крошечном сиденье, поджав длиннющие ноги.

Автомобильчик рванулся с места, замахал незакрытой дверцей, как воробей крылышком.

Николас кое-как устроился. Сел, поджав колени к подбородку, вывернулся назад. Фигура на тротуаре послала ему воздушный поцелуй.

— Oh, my God, — вздрогнул магистр и поскорее отвернулся.

Нет, все-таки это был кошмарный сон.

— Дверь, — раздался тот же голос, что давеча выкрикнул загадочное слово «мотаем». Николас захлопнул дверцу и повернулся к своей спасительнице. Разглядел в полумраке суровый профиль с коротким, чуть вздернутым носом и упрямым подбородком. Девушка или молодая женщина, худенькая и очень маленького роста. То ли смутно знакомая, то ли на кого-то похожая, сейчас не вспомнить, на

кого. На Марию Шнайдер эпохи «Last Tango in Paris»?

— Dream, midsummer night's dream¹, — пробормотал Николас, уже почти не сомневаясь, что все это ему снится.

— Ты чего, правда англичанин? — коротко взглянула на него Мария Шнайдер.

— Правда англичанин, — повторил Фандорин. — А вы кто? Как вас зовут?

Маленькая женщина ответила:

— Алтын.

От такого ответа магистр сразу успокоился. Разумеется, сон. Вот и непонятный алтын из Корнелиусова завещания объявился.

Но пигалица повторила:

— Алтын — это имя. Фамилия — Мамаева. А ты-то кто? И почему этот отморозок так хочет тебя убить?

Приложение:

Лимерик, сочиненный Н. Фандориным в лифте гостиницы 14 июня около половины шестого пополудни:

*Мне в сражении за Саратогу
Две руки оторвало и ногу.
Я на койке лежу,
Под себя я хожу.
Повезло мне, ребята, ей-богу.*

¹ Сон, сон в летнюю ночь (англ.).

Глава шестая

Служба есть служба. Любовные обыкновения русских женщин. Поручик фон Дорн разрабатывает Диспозицию. Явление ангела.

— **К**уда прошь, дубина! Сказано: «Halt!» Первый десяток links! Второй десяток rechts! Третий links! Четвертый rechts! Пяти links! Шестий rechts! Седьмой links! Восмий rechts! Барабан — и-и-и: тра-та-та-та, тра-та-та-та!

Корнелиус отобрал у барабанщика палочки, выстукал правильную дробь и потрепал мальчишку по вихрам: не робей, выучишься. Паренек был толковый, схватывал на лету.

Рота маршировала на Девичьем поле — дальнем плацу, расположенном за Пречистенскими воротами и Зубовской стрелецкой слободой, отрабатывала повороты плутонговыми шеренгами.

Пять месяцев усердной выучки не прошли даром. Солдаты истоиво стучали сапогами по и без того донельзя утопанной земле, поворачивали лихо, глаза пучили куражно. Фон Дорн, хоть и покрикивал, но больше для порядку — был доволен. Глядя на роту, трудно было поверить, что меньше чем полгода назад большинство солдат не знали, где у них лево, а где право: левши называли правой ту руку или ногу, которой им было удобно пользоваться, а поскольку левшей в роте насчитывалось пятеро, складных экзерциций никак не выходило. Чтоб солдаты не путались, пришлось приучить их к новым словам: тот бок, где стучит сердце, — links. Другой — rechts. Ничего, при-

выкли. Мартышку — и ту выучивают в ладоши хлопать да польского танцевать.

Солдатам хорошо, они от маршировки разогрелись, морды красные, потные, а господин поручик стоя на месте изрядно продрог. К концу октября на Москве стало, как в Вюртемберге зимой, да еще и мелкий зябкий дождь с утра. Можно бы, конечно, в плащ закутаться, но что это будет за командир, будто ворона нахохленная? Посему Корнелиус стоял молодцом, в одном мундире, и только ногой отстукивал: р-раз, и-и-и р-раз, и-и-и р-раз.

На краю плаца, как обычно, толпились зеваки. Холодный дождь москвитам нипочем. Русский, если промокнет под дождем, встряхнется, как собака, и пошел себе дальше.

К зевакам Корнелиус привык. По большей части на солдатские учения, конечно, глазела чернь, но нередко пялился и какой-нибудь боярин с челядью. Вот и сейчас над толпой торчала горлатная шапка. На белом арабском скакуне сидел важный человек — высокий, костлявый, при длинной седой бороде. Вокруг спешенные дворяне, с десятков, да еще скороходы в одинаковых малиновых кафтаных. Пускай смотрят, не жалко. Развлечений в городе Москве мало, а тут тебе и барабан стучит, и солдаты стройно вышагивают. Пробовал фон Дорн под флейту маршировать — так нажаловались монашки из Новодевичьего монастыря. Нельзя флейту, соблазн.

В общем, худо ли бедно ли, но приноровился обманутый поручик фон Дорн к московской каторге. А начиналась служба так, что хуже и не бывает.

Подъемного жалованья не досталось ему вовсе — ни денег, ни соболей, ни сукна. Все заграбастал вице-министр Федька, взамен согласившись дела о бесчестье не затевать, да еще долго чванился, пес, еле его полковник Либенау уломал.

Этаких солдат, как в своей роте, Корнелиус никогда еще не видывал и даже не подозревал, что по-

добные уроды могут называться солдатами. Грязные, оборванные — ладно. Но чтоб на всю роту ни одного исправного мушкета, ни одной наточенной сабли, ни пуль, ни пороха! Ай да мушкетеры!

Виноват был, конечно, командир, капитан Овсей Творогов. Мало того что во все дни с утра пьяный, ругливый, так еще и вор редкого бесстыдства. Всю амуницию и припасы продал, солдат вместо службы в работники поденно сдает, а деньги — себе в карман. Пробовал Овсей и нового поручика к своей выгоде пристроить: стеречь купеческие лабазы в Сретенской слободе, только не на того напал.

Пошел Корнелиус к полковнику жаловаться, да что толку? Либенау фон Лилиенклау — человек пожилой, уставший от русской жизни и до службы равнодушный. Дал поручику совет: *laissez-faire*, мой друг, *fai niente*, или, говоря по-русски, плюньте да разотрите. Московиты надули вас, а вы надуйте их. Человек вы еще молодой, не то что я, старый ботфорт. Будет война с поляками или хоть с турками — сдайтесь в плен при первой оказии, вот и освободитесь из московской неволи.

Но фон Дорн получать задаром жалованье, пусть даже половинное, не привык. Главное же — со временем возник у него некий тщательно разработанный план, который Корнелиус назвал Диспозицией, и по сему плану от поручика третьей роты требовалось состоять по службе на самом отличном счету.

Начал с ключевого: ввел в разум капитана, ибо с таким командиром навести порядок в роте было невозможно. Урок своего первого московского дня Корнелиус усвоил хорошо: в этой стране можно творить, что хочешь, лишь бы свидетелей не было. Что ж, обошелся без свидетелей.

Как-то подстерег Овсея Творогова утром пораньше, пока тот еще не впал в пьяное изумление, и отходил его, как следует. От души, вдумчиво. Чтоб синяков и ссадин не осталось, бил чулком, куда насыпал мокрого песку. Кричать не велел, пригрозив,

что убьет до смерти, и Овсей не кричал, терпел. Жаловаться Корнелиус тоже отсоветовал. Показал жестами (по-русски тогда еще совсем не умел): любой из солдат тебя, вора, за полтину голыми руками удавит, только слово шепнуть.

Творогов был хоть и пьяница, но не дурак, понял. Стал с того дня тихий, смирный, больше не ругался и солдат не притеснял. Теперь прямо с утра напивался так, что потом весь день лежал колодой в чулане.

Корнелиус завел особого денщика, одного непьющего чухонца, который при Творогове состоял: следил, чтоб в блевотине не захлебнулся и на улицу не лез. Когда капитан начинал шевелиться и хлопать глазами, чухонец вливал в него чарку, и Овсей снова утихал. И ему хорошо, и солдатам.

А командовать ротой фон Дорн стал сам.

* * *

— Перви-второй считать! — Поручик принялся отбивать тростью в такт счету. — Перви-второй, перви-второй! Перви нумера шаг вперед! Kehrt!¹ Панцер долой!

Прошелся между двумя шеренгами, повернутыми лицом друг к другу, выбирая себе пару — показывать прием рукопашного боя. Выбрал Епишку Смурова, здоровенного, неповоротливого парня, чтоб преимущества умной борьбы были наглядней.

— Солдаты, смотреть востро! Повторять не буду. Епишка, бей меня в морда!

Приказ есть приказ. Епишка засучил рукав, не спеша развернулся и наметился своротить поручикову личность на сторону.

Корнелиус проворно согнулся, пропуская страшный удар над собой, а когда солдата повело боком вслед за выброшенным кулаком, слегка подтолкнул Епишку в правое же плечо, да подставил ногу.

¹ Кругом! (нем.)

Верзила грохнулся чугунным рылом в землю, а поручик сел ему на спину и схватил за волосы. Толпа радостно загудела — упражнения в мордобое пользовались у зрителей особенной любовью.

— Klar?¹ Перви нумер бить, второй нумер кидать. Давай!

Солдаты принялись с охотой колошматить друг друга. Фон Дорн похаживал меж ними, поправлял, показывал. Потом поучил роту еще одному полезному и простому приему — как ошеломить врага, не ожидающего нападения: если снизу рубануть ребром ладони по кончику носа, то противник враз и ослепнет, и одуреет, делай с ним что хочешь.

Третьего дня, как обычно, солдаты подрались со стрельцами. Сабель-ножей не оголяли, потому что на Москве с этим строго — враз на виселицу угодишь, и разбирать не станут, кто прав, кто виноват. Раньше на кулачки при равном числе всегда побеждали стрельцы — они дружнее и к драке привычнее, а тут впервые одолели фондорновские солдаты. Принесли трофеи, семнадцать клюквенных колпаков. За это полковник Либенау получил от генерала Баумана благодарность и бочонок мозельского, а Корнелиус от полковника Либенау похвалу и фунт табаку.

Солдаты махали рукой друг у дружки перед лицами — поручик велел останавливать ладонь за вершок от носа. Зеваки притихли, не понимая, что за чудную забаву удумал немчин. Один из боярских челядинцев подошел ближе, завертел головой влево-вправо, приглядывался.

Одет по-русски, а сам черноликий, из-под богатой шапки лезут жесткие, курчавые волосы с густой проседью. Нос приплюснутый, на каштан похож. В общем — арап. У русских вельмож, как и у европейских, мавры и негры в цене. За совсем черного, говорят, до трехсот рублей платят. А этого, нарядного, с кривой саблей на боку Корнелиус видел на пла-

¹ Ясно? (нем.)

цу уже не впервые, такого трудно не приметить. Только прежде арап приходил один, а сегодня с целой ватагой, и даже вон боярин с ним.

Но тут фон Дорн разглядел сбоку, в сторонке от толпы, статную женскую фигуру: черный плат, лазоревый охабень, в руке белый узелок — и про арапа сразу позабыл.

Стешка обед принесла. Значит, полдень.

Плат у Стешки был хоть и вдовый, но не убогий, а дивного лиможского бархата. Охабень доброго сукна, а как полы разойдутся, видно козлиные башмаки с алыми сафьяновыми чулками. Лицо набеленное, щеки по московской моде нарумянены в два красных яблочка. Смотреть на Стешку приятно, да и узелок кстати. В нем, Корнелиус знал, пироги с вязигой и маком, кувшин пива, кус баранины с имбирем и непременно зернистая бело-рыбья икра, варенная в укусе.

По-европейски сейчас был полдень, а по-русски три часа дня. У московитов свое часоисчисление, время здесь высчитывают по-чудному, от восхода солнца, так что каждые две недели отсчет меняется. Нынче, на исходе октября, у русских в сутках девять дневных часов и пятнадцать ночных. Если прошло с зари три часа, значит, три часа дня и есть.

Стешка чинно села на бревно, расправила складки, на *касаточку* (это такое ласковое слово, означает *Schwalbe*, хоть Корнелиус на узкую черную птицу вроде был непохож) поглядывала как бы искоса. Московитки нежностей на людях не признают, в мужчинах уважают строгость; галантность же почитают за слабость характера, поэтому фон Дорн от своей возлюбленной отвернулся. Обед подождет, сейчас недосуг.

Со Стешкой поручику исключительно повезло — и в смысле Диспозиции, и в разных прочих смыслах. Стешкин муж, пока не угорел в бане, был в Немецкой слободе пожарным ярыгой — следил, чтоб иноземцы костров не жгли и печные трубы чистили. Когда мо-

лодка овдовела, то так на Кукуе и осталась. Зажила лучше, чем при своем ярыге, потому что оказалась мастерица-белошвейка, шила местным матронам рубашки, сорочки, чулки, платки из батиста. Дом построила на слободской границе — на русский манер, но чистый, светлый. У Корнелиуса нынче рубахи были одна белей другой, тонкого голландского полотна, воротники кружевные, крахмальные, да и сам всегда накормлен, обогрет, обласкан.

У Стешки дома хорошо. Печь с сине-зелеными изразцами, окна из косых кусочков слюды, весело подкрашенных, так что в солнечный день по стенам мечутся разноцветные зайчики, как в католическом храме. Лавки деревянные, но покрыты пестрыми лоскутными салфетками, а на постельной лавке — перина лебяжьего пуха. Специально для *Корнеюшки*, чтоб ему удобней трубку курить, хозяйка завела и немецкое резное кресло, да к нему скамеечку, ноги класть. Сама сядет рядом на пол, голову на колено пристроит и давай песни напевать. Чем не рай? Особенно когда после купидоновых утех, а перед тем еще была баня с холодным медом, вишневым или клюквенным.

Говоря по справедливости, имелись и в русской жизни свои приятные стороны. А вернее так: если женщина захочет сделать жизнь мужчины приятной, то добьется своего хоть бы даже и в Московии.

Вдова звала Корнелиуса поселиться у нее совсем, но он держался, отговаривался службой — мол, должен жить при цейхгаузе. Стешка непонятного слова пугалась и на время отставала, но потом подступалась опять. Дело-то было не в цейхгаузе — боялся фон Дорн прирасти к сладкому житью, порастрастить злону, питавшую его решимость своими жгучими соками. Что дело закончится женитьбой, этого не страшился. Слава богу, русские законы на сей счет строги. Православной за «басурмана» замуж нельзя, а чтоб фон Дорн перекрестился в греческую веру, москвиты не дождутся. Стешка, та, поди, сама охотно в католичество бы перешла, да только тут за

такие дела можно и на костер угодить. Хотя кто ее знает. Возможно, и не перешла бы, даже ради *каса-точки* — очень уж набожна.

Всякий раз перед тем, как с поручиком на лавку лечь, Стешка снимала нательный крестик и, попросив у Богородицы прощения, закрывала икону занавесочкой — так полагалось по русскому обычаю. На следующий день после греха в церковь войти не смела, молилась перед входом, вместе с блудницами и прелюбодеями. Мальчишки и невежи показывали на таких пальцем, смеялись, а Стешка только земно кланялась, терпела. Женщины в Московии вообще безмерно терпеливы.

Мужья их бьют, держат взаперти, к гостям не выпускают, за стол не сажают. Говорят, сама царица, если захочет иноземных послов посмотреть или позабавиться комедийным действием, вынуждена подглядывать тайком, через особую решетку — да и это почитается за небывалую вольность.

За измену муж вправе жену убить до смерти, и ничего ему за это не будет. Другое дело — если сам супругу кому временно отдаст, в счет неуплаченного долга, такое не возбраняется. А что бывает с бабой, если на мужа руку подымет, Корнелиус уже видел. Московский суд на расправу скор, и наказания самые страшные, хоть бы даже и за сущий пустяк.

Один писец из Иноземского приказа, Сенька Кононов, (фон Дорн у него в свое время грамотку на кормление получал) оплошно пропустил букву в царском титуловании. За это ему, согласно уложению, правую руку до запястья долой — не бесчести великого государя. А обрубок загнил, пошел антоновым огнем, так и помер несчастный Сенька в воплях и страшной муке.

Или был мушкетер из лучшей в полку первой роты, которую допускают охранять улицы во время царских выездов, именем Яшка Ребров. Без злого умысла, по случайности, выронил мушкет в карауле у Спасских ворот. Мушкет новейшей конструкции, с

кремневым замком, от удара о камень взял и выпал. Вреда никому не было, пуля в небо ушла, а все равно государственное преступление — в близости от высочайшей особы из оружия палить. Так Яшку, вместо того чтоб выдрать за нерадивость или в карцер на три дня усадить, отдали палачу. Правую руку и левую ногу отрубили парню, живи теперь, как хочешь.

Поначалу Корнелиус только ужасался безумной строгости московских законов, но по прошествии времени стал примечать, что люди как-то ничего, приспособляются, и законы эти нарушают много чаще, чем в Европе, где суд к человеческим несовершенствам много снисходительней. И пришел поручик к умозаключению: когда предписания закона непомерно суровы, человек исполнять их не станет — найдет обходной путь. На всякую силу отыщется хитрость. Просочится вода через камень, а трава прорастет через кирпич.

Чему-чему, а хитрости и пройдошливости у москвитов можно было поучиться. Взять хоть самое обычное, незлодейское преступление: когда кто в долги залез, а отдать не может. В Москве за это должника хватают и ставят на правож: лупят час за часом, с утра до обеда, батогами по лодыжкам, пока не взвоет и не побежит сам себя в кабальники продавать, лишь бы от муки избавиться. За годы военной службы фон Дорн столько раз в невозвратных долгах увязал, что, если б жить по-русскому обычаю, давно уж запродался бы на галеры, цепями греметь да веслами вращать.

Так-то оно так, но москвичи, кто подогадливей, за день перед тем, как на правож идти, заглянут на Палашевку, где палачи живут, да поклонятся кату деньгами или сукном, и тот дает за подношение кусок жести — положить за голенище. Тогда ничего, можно и под батогами постоять.

И женщины, если есть характер и голова на плечах, себя в обиду сильно не дают. Полковник Либенау со смехом рассказывал, как княгиня Кучкина от по-

стылого и лютого мужа избавилась. Шепнула в царском тереме, будто князь знает заговор волшебный, как подагренную боль одолеть. А царь как раз подагрой маялся, который день с замотанной ногой в кресле сидел, плакал от злости. Мамки побежали к царице, шепнули. Та — к венценосному супругу: так, мол, и так, ведает князь Кучкин, как подагру заговорить и сам себя вылечивает, а от других таится. Вызвали много целителя пред высокие очи. Он плачет, божится, будто ни о чем таком знать не знает. Поуговаривал его Алексей Михайлович, посулил большую награду, а когда князь не поддался, был ему явлен монарший гнев, во всем громоподобии. За колдовство, а еще больше за неподобающее злоупрямство били Кучкина кнутом и сослали в Соловецкий монастырь на вечное покаяние. А княгиня нынче вдовой при живом муже обывательствует в свое полное удовольствие, целый хор из пригожих песельников завела.

Если жить коварством и подлостью, не держаться за честь, за гордость, стелиться перед сильными и не жалеть слабых, то можно было отлично устроиться и в России. И многие из иноземцев устраивались. Как голландские купцы в Японии, которые топчут Христово распятие, чтоб получить от язычников шелк и фарфор. А здесь, в Московии, иной ловкач перекрестится в византийскую веру, и сразу все двери перед ним открыты: торгуй чем хочешь, покупай холопов, бери богатую невесту. Кто больше всего богатеет из европейских купцов? Не добросовестные торговцы, а кто вовремя дьяку взятку сунет да конкурентов перед властью очернит. А Корнелиус, жалкий простак, еще рассчитывал сделать здесь честную коммерцию! Да разве с этими дикарями сговоришься!

С рыжими волосами для париков «Лаура» никак не задавалось. У русских баб, видите ли, показывать волосы считается срамом. Они скорей все остальное на обозрение выставят, чем свои лохмы. Поди разбери под платками да шапками, кто тут рыжий, а кто

нет. Девки, правда, косы наружу выпускают, но у московиток коса — девичья краса. Чем она длинней и толще, тем невеста больше ценится, хоть бы даже вся рожа в прыщах. Косу девка ни за какие деньги не продаст. Оставались только гулящие, которые ходили по Москве простоволосыми. Этих-то полно, проходу от них нет, но рыжих попадалось куда меньше, чем в той же Голландии. Пока Корнелиус добыл волосы нужного оттенка только у одной, вовсе спившейся, за штоф вина и полкопейки. После рассмотрел — они хною крашенные.

Однако пергаментную завертку с торговым образцом берег, не выбрасывал. В полку поговаривали, скоро будут на Север посылать, против старообрядцев, что заперлись в своих лесных скитах, крестятся не по-правильному и царских податей платить не желают. Там, на Вологодчине, будто бы рыжих много. Фон Дорн прикидывал, как будет брать трофеи. Под корень резать не станет, не зверь, можно бабам и девкам вершка по четыре оставить. Ничего, через год новыми волосами обрастут.

А не пошлют в северные леса — не надо. Тогда вступит в действие секретная Диспозиция.

* * *

— Новиков, шпынь ненадобный! Свинячий морда расшибу!

Фон Дорн бросился к Миньке Новикову из четвертого plutонга. С Минькой беда — подлый, жестокий, другие солдаты его боятся. Вчера, говорят, кошку поймал и с живой шкуру драл — визгу было на всю казарму. Следствия по этому пакостному случаю Корнелиус еще не учинял. Если окажется правдой, послать Миньку с запиской к полковому прохвосту, пускай всыплет извергу полста горячих, чтоб не мучил бессловесных тварей, не позорил солдатского звания. Вот и сейчас, разучивая боевой прием — как удар ножом отбивать, — Новиков нарочно

вывернул руку шуплому Юшке Хрящеватому. Тот весь скривился от боли, а закричать боится.

Пришлось Миньку побить. Корнелиус поставил его стоять «смирно» и поваксил ему харю — несильно, чтоб переносицу не сломать и зубов не выбить, но все же до крови. Минька поддывал, руки держал по швам. Ничего, выродок, у прохвоста под розгами ты еще не так завоешь.

К розгам и оплеухам фон Дорн прибегал нечасто, только если уж такой солдат, что слов и увещаний вовсе не понимает. Начальствующий над людьми должен уметь к каждому свой подход найти, иначе какой ты командир? Если солдат плох — значит, офицер виноват, не сумел выучить, не додумался, как ключ подобрать. Но есть, конечно, и такие, как Новиков, кто отзывчив лишь на битье и ругань.

Битье — ладно, хорошо бы и вовсе без него, а вот ругань в военном ремесле — первейшее дело, без нее ни команду отдать, ни в атаку повести. Изучая русский язык, фон Дорн первым делом взялся за эту словесную науку. В ругательстве, не в пример прочим умениям, москвиты оказались изобретательны и тонки. Причина тому, по разумению Корнелиуса, опять была в чрезмерной строгости законов. За *матерный лай* власть карала сурово. По торжищам и площадям ходили особые потайные люди из числа полицейских, по-русски — земских ярыжек, держали ухо остро. Как заслышат где недозволенную брань, кто про кровосмесительное подло кричит, ярыжки такого сразу хватают и тащат на расправу. Только эта мера плохо помогает — от нее ругаются еще витиеватей и злее. Да и сами блюстители благонравия, когда ругателя за волосы в Земской приказ волокут, так бранятся, что непривычные люди, из приезжих, обмирают и творят крестное знамение.

Доскональное знание московского речевого похабства нужно было не только для воинской службы, но и для успеха Диспозиции. Поэтому лаяться Корнелиус выучился так убедительно, что бывалые

кукуйцы только крикали, а Стешка иногда краснела, иногда смеялась. Погодите, грозился про себя фон Дорн, то ли еще будет. Так выучусь на вашем варварском наречии изъясняться, что никто по разговору за немца не признает.

По правде сказать, и туземную любовницу поручик завел себе неспроста, с умыслом. На его brave усы и сахарные, толченым порошком чищенные зубы заглядывались и служанка Лизхен из «Аиста», и вышивальщица Молли Дженкинс, а он предпочел Стешку. Почему? Кроме прочих уже упомянутых резонов еще и потому, что половина времени при свиданиях уходила на учение: как называется вот это, как сказать вот то, да как правильно выговорить «pastszchenok».

По вечерам, наскакывая в конюшне на мешок с соломой и тыча в него из разных позиций шпагой (эту экзерцицию необходимо проделывать ежедневно, чтобы не утратить гибкости членов и сноровки), фон Дорн воображал, что разит весь сонм подлых москвитов, и говорил своим врагам так:

— Вы думаете, что навеки схоронили меня в вашем гнусном болоте? Положили в гроб, заколотили гвоздями и сверху присыпали сырой русской землей? Мы, европейцы, для вас — нелепые, безъязыкие уроды, *nemtszi*, каждого такого за версту видать? Говорите, у вас не бывало прежде, чтоб иностранец из Москвы обратно в Европу убежал? Кто пробовал — быстро ловили, били батогами, рвали ноздри и в Сибирь. Ничего, скоты длиннобородые, такого немца, как Корнелиус фон Дорн, вы еще не встречали. Уйду от вас, убегу, хрен с горчицей вам всем в глотку! Верну себе свободу, добуду богатство, и с обидчиком сквитаюсь, *dolg platezchom krasen*.

А Диспозиция у Корнелиуса была вот такая.

За год, к следующему лету, выучить русский язык — да так, чтоб не могли опознать иностранца. Московская одежда уже была припасена: кафтан,

островерхая шапка, юфтевые сапоги. Скоро, месяца через два-три, пора будет бороду отпускать.

А главный пункт Диспозиции состоял в том, чтоб из Москвы не с пустыми руками утечь, побитой собакой, а при трофеях и полном душевном удовлетворении.

В день, когда подъячий Иноземского приказа Федька Лыков, от кого все обиды и ущемления, за какой-нибудь надобностью явится в присутствие при «большом наряде», то есть в казенном царском кафтане из Оружейной палаты, подстеречь мздоимца в тихом углу, каких в Кремле множество. Стукнуть раз по лбу, чтоб обмяк. Кафтан, сплошь золотом тканый, с жемчужным воротником и рубиновыми пуговицами с него снять, шапку с соболями и алмазным аграфом тоже. Вот и будет возмещение за отобранный капитанский чин, за недоплаченное жалованье и украденные подъемные. С большущими процентами.

Хватит и отцовскому будильнику на подобающие хоромы, и брату Клаусу на возрождение Теофельса останется. Сладостней же всего то, что гнусного Федьку за пропажу царского добра будут долго батогами сечь, пока не возместит ущерб до последней полушки. Попомнит, *lahudrin syn*, «Корнейку Фондорина».

К своему переименованному на туземный лад прозвищу поручик привык не сразу. Выговорить «*Cornelius von Dorn*» русским отчего-то было не под силу. Теперь он откликался и на Корнея Фондорнова, и на Корнейку Фондорина. Пускай. Недолго терпеть осталось.

Напоследок, перед тем как идти к Стешке обедать, Корнелиус затеял главное на сегодня упражнение: огненный бой ротным построением. Эта батальная премудрость была его собственным изобретением, предметом особенной гордости.

Началось с того, что мало кто из русских мушкетеров оказался пригоден к стрельбе. До поручика

фон Дорна за неисправностью оружия да отсутствием пуль с порохом солдаты палить не умели вовсе. Когда, избавившись от капитана Овсейки и кое-как наладив мушкеты, Корнелиус впервые повел роту на стрельбище, вышло худо. Перед тем как нажимать на спусковую скобу, мушкетеры крестились и жмурились глаза, а двое (сам же и недосмотрел), забыли в стволе шомполы, отчего одному вышибло глаз, другому оторвало пальцы. Положим, за увечья поручику ничего не было, в московитском войске это дело обычное, но пришлось обучать стрельбе каждого солдата поодиночке. Зато теперь — хоть в армию к принцу Конде, краснеть за такую роту не придется.

Мишени фон Дорн велел воткнуть в землю у глухой стены заброшенного лабаза: сто жердей с руку толщиной — вроде как турецкие янычары.

По команде «Рота, к палбе становис!» солдаты забегали, выстроились четырьмя шеренгами, каждый на своем месте. В первой шеренге лучшие стрелки, за ними, в затылок, заряжалышки.

Верховой боярин подъехал ближе, встал подле арапа. Теперь можно было разглядеть и лицо: резкие, сухие черты, нос с горбинкой, а брови при седой бороде черные. По всему видно, большой важности человек.

Корнелиус покосился на вельможу. Кланяться, *lomati schapki* или нет? По воинскому уставу на учениях необязательно. Ну, раз необязательно — так и нечего.

Отвернулся, махнул тростью:

— Пали!

Чем хорошо было фондорновское построение — никаких приказаний от командира больше не требовалось. Стрельба велась не залпами, а вольно, когда кто получше прицелится. Пальнул, а сзади уже новый снаряженный мушкет подают, и так без прерыва. В минуту мушкетер из первой шеренги до четырех выстрелов делает — да не вслепую, как заведено во всех армиях, а с толком и смыслом.

Красуясь перед боярином и прочими зрителями,

Корнелиус сел на барабан, закинул ногу на ногу и даже трубку закурил. Грохот, дым, от жердей щеп летит, а командир знай себе позевывает — мол, мне тут и делать нечего.

Трех минут не прошло, а от сотни мишеней нетронутыми много десятка полтора осталось. Были янычары, да все полегли.

Корнелиус дунул в глиняный свисток, слышный даже через пальбу. Мушкетеры сразу ружья к ноге.

— Багинет! — крикнул фон Дорн. Солдаты воткнули в дула длинные штыки.

— Атака, марш-марш!

И тут уж Корнелиус недокуренную трубку отложил, шпагу из ножен выхватил и вперед.

— Ура-а-а!

В мгновение роты смела последних безответных турок к разэтакой матери.

Когда фон Дорн снова выстроил разгоряченных, с черными от порохового дыма лицами солдат, кто-то сзади тронул его за плечо.

Давешний арап, лицом еще чернее мушкетеров. Сказал по-русски (Корнелиус сначала чистоте речи позавидовал, а уж потом вник в смысл):

— Поди-ка. Шляпу поправь и иди. Ближний государев боярин Матфеев с тобой говорить желает.

Фон Дорн трость выронил, схватился шляпу выравнивать. Так вот что это за вельможа! Самый первый российский министр, пожалуй, что и канцлер, наиглавнейший царский советник, коннетабль всех московских армий Артамон Сергеевич Матфеев!

Если б звать — непременно поклонился бы, шея бы не переломилась. И на барабане развязно, нога на ногу, рассиживать не следовало, да еще с трубкой.

Шагая, как на параде, приблизился к великому человеку, вытянулся тетивой, шляпу с перьями сдернул. Вытащился снизу вверх ревностно, как подбаивает. По московитскому артикулу называться и докладывать начальству не полагается. Спросят, кто таков — тогда и отвечай.

— Ловко командуешь, капитан, — сказал канцлер, глядя на фон Дорна холодными голубыми глазами. — Никогда такой сноровки не видал. Ты кто? Какого полка?

— Хрестьяна Либенавина полка третьей мушкетерской роты поручик Корнейка Фондорн! — гаркнул Корнелиус без запинки и почти без акцента.

— Немчин? — спросил боярин и сразу, не дожидаясь ответа, задал еще несколько вопросов, так что стало видно — человек ума скорого, нетерпеливого. — Сколько лет, как в Россию выехал? Или из «старых немцев»? Где ротный капитан? Почему на барабане сидел, когда рота палила?

Фон Дорн стал рапортовать по порядку, стараясь делать поменьше ошибок.

— Точно так, немец. Выехал тому полгода. (У боярина удивленно дрогнули брови.) Капитан Творогов недужен. А на барабане сидел нарочно. Будто турецкий пуля командир сразил, а это ничего, бою не помеха. Если так палить, рота отлично может и совсем без командир.

— Это какой такой Творогов? — спросил Матфеев арапа.

Черный человек сказал — вольно, спокойно, будто равному:

— Овсейка Творогов, из боярских детей. Сам он солдат выучить так не мог — по все дни пьяный валяется. Гнать бы его, бражника, в шею, да он Хованскому, князь Ивану, крестник. Я ж говорил, боярин, стоит на ученье это поглядеть. И на поручика этого. Кого ж лучше вместо Митьки?

Корнелиус покосился на удивительного арапа. Все знает, даже про овсейкино пьянство!

Министр-канцлер внимательно рассматривал фон Дорна, что-то прикидывал. Чего ждать от этого осмотра, было неясно, но чутье подсказало поручику — сейчас, в сию самую минуту, решается его судьба, и от такого соображения Корнелиус стиснул зубы, чтоб не застучали.

— Ну гляди, Ванька. — Матфеев потер веки

(пальцы у боярина были сухие, белые, с перстнями). — На тебя полагаюсь. Разъясни капитану, что к чему, а я в Грановитую, Думу сидеть.

Повернул аргамака, взял ходкой рысью в сторону заставы. Дворяне свиты заспешили садиться в седла, ливрейные скороходы припустили быстрее лошадей. Остался подле Корнелиуса один арап Ванька. Тоже рассматривал, да еще внимательней, чем министр. Глаза у черного человека были большие, круглые, с белками в красных прожилках.

Фон Дорн встал повольнее — все ж таки не перед канцлером, но шляпу пока не надевал.

Чтоб не молчать, сказал:

— Я не капитан — поручик, боярин путал.

— Артамон Сергеевич никогда ничего не путает, — медленно, негромко проговорил Ванька. — Он до всякой мелочи памятливы, все помнит и к оговоркам привычки не имеет. Раз сказал «капитан», стало быть, Корней, ты теперь капитан и есть. И не просто капитан, а начальник Матфеевской мушкетерской роты.

Про эту роту фон Дорн, конечно, слышал. Царская лейб-гвардия, состоит на канцлеровом довольствии. Там простой мушкетер получает жалованья больше, чем обычный полковой поручик, да живут по-барски, на всем готовом. В Матфеевскую роту из русских берут только дворян не последних родов, а так служат все больше швейцарцы, немцы и шотландцы. Статные молодцы, один к одному, Корнелиус не раз видел их и на Красной площади, и у ворот Матфеевского дворца что на Покровке. Смотрел на выправку, на серебряные кирасы. Завидовал.

Поэтому так и затрепетал от араповых слов, не поверил счастью. Ему, лямочнику солдатскому, в Матфеевскую роту и прапорщиком попасть — великая удача.

— Зови меня Иваном Артамоновичем, — продолжил благодетель. — Я боярину крестник и в доме его дворецкий. Что скажу, то и будешь делать. Житье тебе отныне при Артамон Сергеевичевых палатах.

Роту свою с урядником отошли, сам со мной ступай, принимай новую команду.

— А что прежний капитан? — спросил фон Дорн, все-таки опасаясь подвоха.

— Митрий Веберов помер, — спокойно ответил Иван Артамонович. — Четвертого дня видели, как он вечером тайно из палат Иван Михалыча князь Милославского выходил, где Митьке быть незачем. А поутру, как ему мушкетеров на караул к царицыному терему вести, споткнулся Митька на ровном месте, да на нож и упал. Горлом. Молитвы — и той прочесть не успел. Все в руке Божьей.

Арап перекрестился коричневой рукой с белыми ногтями.

— Смотри, Корней. Будешь верен и по службе исправен, высоко взлетишь. А заворуешь, на посулы зложелателей польстишься, будет и с тобой, как с Митькой, псом неблагодарным. Примешь смерть от этой вот руки, в чем клянусь тебе Господом нашим Иисусом Христом, Пророком Магометом и богом Зитомбой.

Про бога Зитомбу Корнелиусу слышать не доводилось, но на руку Ивана Артамоновича он посмотрел снова, теперь еще более внимательно. Рука была жилистая, крепкая, внушительная.

— Только воровать тебе незачем, — сказал арап уже добрее. — Человек ты сметливый, я давно к тебе присматриваюсь. Сообразишь, в чем твоя выгода. Сорок рублей жалованья тебе monthly, да стол от боярина, да полный наряд, да награды за службу. Ты держись Матфеева, капитан. Не прогадаешь.

Тут новый фондорновский начальник улыбнулся, и зубы у него оказались еще белей, чем у Корнелиуса. Спросить бы, чем так начищает? Не иначе — толченым жемчугом. На влажных от слюны резцах Ивана Артамоновича волшебным блеснул луч осеннего солнца, и капитан фон Дорн вдруг понял: никакой это не арап, а самый что ни на есть благовестный ангел, ниспосланный Господом с небес в воздаяние за все перенесенные обиды и неправды.

Глава седьмая

Ежик в тумане

— Так, — резюмировала Алтын Мамаева, дослушав историю, которую Николасу за последний час приходилось излагать, стало быть, уже во второй раз (отчего рассказ не сделался хоть чуточку более правдоподобным). — Одно из двух: или ты полный придурок, или ты мне лепишь горбатого.

Николас задумался над предложенной альтернативой. С первым вариантом было ясно, но что такое «лепишь горбатого»? Исходя из логики, это выражение должно было означать «говоришь неправду»

— Я леплю горбатого? — переспросил Фандорин, сделав обиженное лицо. — Вы хотите сказать, что я гоню туфту?

— Сто пудов, гонишь, — сурово ответила Алтын. — Лохом прикидываешься.

«Значит, про «горбатого» угадано верно», — понял Николас. А «лох» — одно из самых употребимых новорусских слов, означает «недалекий человек», «дилетант», или «жертва обмана». Очевидно, от немецкого *das Loch*¹. Интересна этимология выражения про «горбатого». Почти не вызывает сомнения, что оно недавнего происхождения и связано с Михаилом Горбачевым; который у русских заработал репутацию болтуна и обманщика. Надо будет потом записать.

¹ Дыра (нем.).

— Я полный придурок, — сказал Николас. — Однозначно. Сто пудов.

Магистр сидел на кухне микроскопической студии, куда чудесная избавительница доставила его прямо с Софийской набережной. В машине на вопрос: «Куда вы меня везете?» — она ответила непонятно: «В Бескудники». Помолчав, добавила: «Надо тебя спрятать. А то оторвут башку, так я и не узнаю, что ты за хрен с горы. А ну давай колись, не то сейчас назад на набережную отвезу».

И Николас стал колотиться. Во-первых, потому что испытывал к свалившейся с неба Алтын Мамаевой благодарность. Во-вторых, он вовсе не хотел, чтобы она отвезла его обратно на набережную (хотя угроза, надо полагать, была произнесена не всерьез). И в-третьих, не было причины скрывать. Очень возможно, что мисс Мамаева знала о происходящем куда больше, чем он.

Кололся он всю дорогу до вышеназванных Бескудников, которые оказались спальным районом, сплошь состоявшим из грязно-белых панельных параллелепипедов, и потом, пока поднимались пешком на девятый этаж (лифт почему-то не работал), а заканчивать пришлось уже на кухоньке, за чашкой кофе, который хозяйка сварила быстро и деловито — точно так же, как вертела руль своего автомобильчика. Слушала она не хуже, чем мистер Пампкин: молча и сосредоточенно. Не перебивала, вопросов почти не задавала (только один раз — спросила, кто такой боярин Матфеев), лишь время от времени косилась на рассказчика, будто проверяла, не врет ли.

Теперь, в мягком свете красного абажура, Николас смог разглядеть девушку со странным именем как следует.

Черные, коротко стриженные волосы; черные же глаза, пожалуй, слишком большие для худенького, скуластого лица; широкий решительный рот; нос короткий и немного вздернутый — вот как выглядела хозяйка бескудниковской квартиры. И еще она была какой-то очень уж маленькой, особенно по сравне-

нию с параметрами Фандорина. Не то черная, стремительная ласточка, не то небольшой, но отнюдь не травоядный зверек — соболь или горностай.

Вот в чем необычность этого лица, сообразил Николас: за все время девушка ни разу не улыбнулась. И, если судить по жесткому рисунку рта, она вряд ли вообще когда-нибудь раздвигает губы в улыбке. Правда, Фандорин читал в одной статье, что средний русский за свою жизнь улыбается в три с половиной раза реже среднего европейца, не говоря уж о вечно скалящихся американцах. В той же статье было написано, что русская угрюмость вызвана иным поведенческим этикетом — меньшей приветливостью и ослабленной социальной ролью вежливости, однако Николас не видел большого греха в том, что улыбка в России не утратила своего первоначального смысла и не превратилась в пустую, ничего не значащую гримасу. В спорах с клеветниками России магистр не раз говорил: «Если русский улыбается, стало быть, ему на самом деле весело, или собеседник ему действительно нравится. А если улыбаемся мы с вами, это всего лишь означает, что мы не стесняемся своего дантиста». Неулыбчивость маленькой хозяйки маленькой квартиры подтверждала эту теорию. Девушке не было весело, и Николас ей не нравился — вот она и не улыбалась.

Это ладно, пускай. Но то, что Алтын Мамаева, получив все интересующие ее сведения, не сочла нужным дать гостю необходимые объяснения или хотя бы толком представиться, было огорчительно.

— Я очень благодарен вам, — уже не в первый раз сказал Николас. — Вы появились там, на набережной, вовремя, однако...

— Еще бы не вовремя, — рассеянно перебила она, сосредоточенно размышляя о чем-то. — Тайминг был супер. На пару секунд позже, и тот урод тебя точно кокнул бы. Видел, какая у него железка была в руке?

— Неотчетливо. — Фандорин передернулся, отгоняя ужасное воспоминание, и вежливо, но твердо

напомнил: — Вы еще не объяснили мне, как и почему...

Алтын снова перебила его, кажется, приняв какое-то решение:

— Будем пульпировать.

— Что? — не понял он.

Тут она произнесла и вовсе какую-то абракадабру, впившись при этом ему в лицо своими блестящими глазищами:

— Большой Сосо.

— Простите?

— Сосо Габуня, — продолжала нести околесицу невежливая барышня. — Вижу по выпученным фарам, что холодно... «Евродебетбанк»?... Холодно. «Вестсибойл»?... Опять холодно. Тогда в чем фишка? Не въезжаю... Не в боярине же Матфееве?

Николас почувствовал, что его терпение на исходе. Сколько можно издеваться над человеком? То скидывают с крыши, то стреляют, то подстерегают с ножом, то обращаются, как с недоумком. Все, enough is enough, или, как принято говорить у новых русских, *хорош*.

— Еще раз благодарю вас за помощь, — чопорно сказал магистр, поднимаясь. — И за отменный кофе. Я вижу, что никаких разъяснений от вас я не дожусь, а мне нужно искать похищенный документ. Скажите, как мне добраться отсюда до центра города?

— Пятьдесят минут на 672-м до Савеловской, — в тон ему ответила Алтын Мамаева. — Только автобус вечером редко ходит. Да и потом ты что, зайцем поедешь? У тебя вроде бабки по нулям — сам говорил.

Николас снова опустился на табурет, ощущая полнейшую беспомощность. Пигалица же уселась на кухонный стол, покачала кукольной ступней в белой теннисной туфельке и объявила:

— Теперь я буду говорить, а ты лови ухом, понял?

— Что?

— Помалкивай и слушай. Журнал «Телескоп» знаешь?

— Да, это иллюстрированный еженедельник. Вроде «Тайма». Наша университетская библиотека подписана, я иногда заглядываю.

— Так вот, я в «Телескопе» работаю, скаутом. Есть в редакции такая ставка. Когда готовится большая статья или тематическое досье, мы, скауты, собираем и проверяем информацию. Ну, чтоб журналу не облажаться и после по судам не париться. Понял?

Да, теперь Фандорин, кажется, начинал кое-что понимать. Ну, конечно, Алтын Мамаева — журналистка, как он сразу не догадался? И цепкий взгляд, и натиск, и манера говорить. К тому же, в машине на заднем сиденье магистр углядел «кэнон» с нешуточным, профессиональным объективом.

— Наш шеф-редактор решил сделать спецвыпуск «Легализация теневой экономики» — о том, как первая стадия развития капитализма, дикая, перерастает во вторую, квазинормальную. У нашего журнала вообще сверхзадача — освещать процесс вхождения России в цивилизацию. Мы не вскрываем общественные язвы и не посыпаем голову пеплом, а фиксируемся на позитиве. Чтоб люди читали журналчик и думали: жить стало лучше, жить стало веселей.

— Это правильно, — одобрил Николас. — А то большинство ваших газет и журналов имеют выраженную склонность к мазохизму.

— Вот и Кузя Свищ так считает.

— Кузьма Свищ? Колумнист вашего журнала?

— Да, наш суперстар. Два бакса за строчку. Он должен сделать профиль какого-нибудь крутого бизнесмена, который был черненьким, а стал беленьким.

— Ну хорошо, а при чем здесь я?

— погоди, англичанин, не гони тарантас. Сначала я объясню, при чем здесь я, а там и до тебя дойдем. Итак. Когда райтер говорит «вперед!», скаут берет ноги в руки и в бой.

— А райтер что делает?

— Пока ничего. У нас четкое распределение функций. В обязанности райтера входит... Ладно, это тебе по барабану.

— Что?

— Ну, к делу не относится. А относится к делу то, что мой райтер Кузя выбрал в таргеты Сосо Габуню. Он у нас и будет лакмусовой бумажкой.

— Сосо? — повторил Фандорин. — Это вы про него меня спрашивали?

— Да. Большой Сосо был сначала уголовный авторитет, этакий грузинский годфазер. Потом занялся бизнесом — ясное дело, для того, чтоб капусту полоскать. И так у него шустро дело пошло, что криминал ему вроде как и не нужен стал — и без того гребет бабки совковой лопатой. Ну и вообще, времена меняются. Эпоха братков кончается. Одних закопали, а те, что поумнее, сами перевоспитываются. Сейчас выгодней и надежней к конкуренту не мочил посылать, а адвокатов-депутатов на него натравливать. В общем, отрадное явление. Сосо — он умный, нос по ветру держит. Такой стал образцовый член общества, прямо слезы душат. Председатель правления «Евродебетбанка», спонсор культуры, друг молодых спортсменов, сироток со старушками подкармливает, без митрополита и пары протопопов за стол лобию кушать не садится. В общем, идеальный объект для статьи «У разбойника лютого совесть Господь пробудил». Но прежде чем Кузя исполнит на своем «маке» эту народную балладу, я должна проверить, правда ли Сосо стал такой белый и пушистый, годится ли он на нашу Доску почета или лучше выбрать в таргеты кого-нибудь другого. Такое у меня задание.

Николас посмотрел на Алтын с уважением. Оказывается, этой пигалице доверяют работу, с которой под силу справиться только очень опытному репортеру.

— Но ведь это чрезвычайно трудное задание. И, наверное, опасное?

Хозяйка небрежно пожала плечами:

— Маленькая женщина не может гоняться за мелкой добычей.

Фандорин попытался прикинуть, какого же она роста. Футов пять, не больше.

— Сколько в вас? Полтора метра?

— Больше, — с достоинством ответила она. — Полтора метра я переросла на целый сантиметр. Что ты меня все время перебиваешь? Я же сказала: лови ухом и не чирикай.

— Да-да, прошу прощения. Продолжайте.

— Ну вот. Побегала я, пощупала, понюхала. По-толковала кое с кем. Вроде все чистенько, никаких скелетов в шкафу. По банковским операциям норма, если не считать умеренных шалостей с бюджетными деньгами, но это у нас за большой грех не держат. Ну, кое-какие оффшорные загогулины — тоже неинтересно. Сейчас Сосо из-за тендера на контрольный пакет «Вестсбойла» здорово расшустрился. Еще бы — кусина жирный, у многих слюни текут. Там, конечно, всякие хитрости, нанайский реслинг, подставки, но ничего уголовного. Умеренно грязный бизнес эпохи недоразвитого капитализма. Я уж хотела дать Кузе отмашку — валяй, мол, пиши. И тут вдруг — бац! Нарыла кое-что о-очень любопытное. — Алтын подержала эффектную паузу и азартно прошептала: — У нашего Мцыри, оказывается, две СБ!

— Две эсбэ? — озадаченно переспросил Николай. — А что это — «эсбэ»?

— Служба безопасности.

— Зачем управляющему банком служба безопасности? Это же обычная компания, а не какая-нибудь военно-промышленная корпорация.

— Ну, служба безопасности имеется в любом мало-мальски солидном банке, у нас в России без этого нельзя. Есть СБ и в «Евродебете». Все как положено: начальником бывший гэбэшный полковник, мальчишки в костюмчиках, спецаппаратура, разрешения на оружие — полный ажур. Но штука в том, что у Большого Сосо есть и вторая СБ! — вос-

кликнула журналистка. — Причем жутко засекреченная, о ней даже Сергеев не знает!

— Кто?

— Сергеев — это гэбэшник, который в банке безопасностью руководит. Про вторую СБ в «Евродебете» вообще ни одна душа не знает, кроме самого Сосо. Чем это пахнет?

Фандорин подумал и ответил:

— Это пахнет нелегальной деятельностью. Можно предположить, что господин Сосо не порвал со своим преступным прошлым и сохранил структуру, предназначенную для противозаконных операций.

— Вот я и предположила. Если так, то, скорее всего, официальная СБ — это ширма, а когда надо кого-нибудь покошмарить или под землю вогнать — у Сосо свой «Эскадрон» имеется. Это они сами себя так называют — мне один раз удалось на их переговорную волну настроиться. Тоже еще кавалеристы нашлись, — мрачно хмыкнула она. — Эскадрон гусар летучих.

— Скорее, как в Аргентине — «эскадроны смерти», — пробормотал Николас, охваченный внезапным ознобом. — Это они хотят меня убить, да? Но за что? Чем я им помешал? Про «Вестсбойл» я впервые услышал от вас, клянусь!

— Господи, какие же вы, англичане, темпераментные, — покачала головой Алтын Мамаева. — Ты мне дашь рассказать или нет?

Пристыженный, Фандорин приложил ладонь к груди: мол, прошу прощения, буду держать себя в руках.

— Сегодня с утра я пристроилась за одной из их тачек, «опель-фронтера». Вот это зверюга! — завистливо вздохнула журналистка. — Погоняйся-ка за ней на моей керосинке.

— А мне кажется, что вы очень хорошо смотрите в вашем экономичном автомобиле, — проявил галантность Николас — и не слишком покривил при этом душой.

— На «фронтере» я смотрелась бы куда как лучше. — В голосе Алтын прозвучала неподдельная горечь. — Ладно, приличные девушки на джипе не ездят — это попсово... (Магистр вспомнил запись из блокнота: *«Попса, попсовый (сноб.) — вульгарный, плебейский, имеющий отношение к массовой культуре», вероятно от «pop-art».*) И потом, сегодня моя «Ока» была в масть. Никому из деловых и в голову не придет, что им может сесть на хвост этакая букашка. Опять же, на «Оке» легко спрятаться в потоке. А оторваться они от меня не могли, потому что еле ползли.

— «Опель» следил за кем-то? — блеснул пронизательностью Николас. — И поэтому ехал медленно?

— Вообще-то «эскадронцы» были на трех джипах: «фронтера», «паджеро» и «гранд чероки». Я это быстро вычислила, хотя они все время менялись. Ужасно мне стало интересно, кого это они так страстно пасут.

Фандорин печально усмехнулся:

— Угадаю с одной попытки. Долговязого лоха в синем блейзере. Так?

— Нет, не так... — Выражение лица Алтын сделалось загадочным, будто она собиралась преподнести собеседнику какой-то очень приятный сюрприз. — «Эскадронцы» пасли синюю «восьмерку» с подмосковными номерами — очень деликатненько, грамотно: ближе чем на сто метров не подбились, менялись каждые три минуты и все такое. А в «восьмерке» за рулем, — вкрадчивым тоном закончила журналистка, — сидел какой-то заморыш в очочках типа «Девять дней одного года» и клетчатой рубашечке.

— Что?!

От неожиданности Николас вскочил во весь свой невозможный рост и стукнулся головой о деревянную расписную коробку, почему-то прикрепленную к стене кухни. Коробка грохнулась на пол, рассыпалась на несколько дощечек, и по линолеуму покатились четвертушка черного хлеба в полиэтиленовом пакете.

Алтын сдержанно прокомментировала случившееся:

— Горячий британский парень расколотил мамину хлебницу. «Что, что», — передразнила она. — Что слышал. Я сначала вообще не догоняла, что в этой комбинации еще и кто-то третий участвует. Все удивлялась, почему это «Жигуленок» на 20 километрах ползет, а за ним и мы с братками. Так тащились от самой Пешков-стрит. И только за Зубовской площадью, где прохожих мало, я впервые тебя углядела. Вообще-то могла бы и раньше заметить такое чудо на роликах. — Суровая девушка чуть дернула уголок губы, но все равно не улыбнулась.

— Так-так! — соображал Фандорин, потирая ушибленную макушку. — Значит, я на роликах, за мной — синие «Жигули», за ними — «эскадронцы» на трех джипах, а в хвосте — вы на «Оке»? А я, как идиот, качу себе, достопримечательностями любуюсь...

— Ну да, целая собачья свадьба. Я не знала, что и думать. Кто этот каэспэшный придурок в «Жигулях»? И кто еще больший придурок на роликах? Парад паяцев какой-то!

Магистр был уязвлен подобной дефиницией, что и продемонстрировал легким поднятием бровей, но Алтын продолжила как ни в чем не бывало:

— Встали на Пироговке, напротив архивного городка: «восьмёрка», широким треугольником джипы и скромненькая ублюдочная машинка — в сторонке, аккуратно напротив облупленного дома с каменными буквами поверху «АРХИВЪ ДРЕВНИХЪ ДОКУМЕНТОВЪ. 1882».

Николас вздрогнул, но ничего не сказал.

— Долго ждала, часа два, а то и больше. Каэспэшник... Ну, это у нас раньше было такое типа неформальное движение. Клуб самодеятельной песни, — пояснила она, увидев, что Николас нахмурился от непонятного слова. — Окуджава там, возьмемся за руки друзья, костер-гитара. Неважно. Этот твой загадочный на них чем-то похож. Так вот, Каэспэшник посидел с полчаса в машине, потом ему на мобилу

позвонили, и он внутрь вошел. Эти, «эскадронцы», тоже давай куда-то названивать. Потом ничего, успокоились, сидят. Только по очереди в сортир бегают, там есть в скверике. Я сижу, смертельно завидую. Думаю, все. Больше не выдержу. Как только бабы детективами работают? Мужикам — им просто... — Кажется, Алтын хотела развить эту мысль, но только махнула рукой. — Короче, отлучилась на пять минут — и чуть самое интересное не пропустила. Как тебя и Каэспэшника на крышу занесло, не видела, но бросок через голову наблюдала. Эффектная была картинка. Фантастика, что ты себе все кости не переломал. Ты что, умеешь летать?

— Что-то вроде этого, — промямлил Фандорин.

— Эти, в джипе, задержались — одни выскочили и забегали, усатый, который у них за начальника, вцепился в мобилу. Я от греха отъехала подальше. Позвонила гаишнику знакомому в компьютерный центр, попросила номера «Жигуленка» проверить. Он говорит — со вчерашнего вечера в угоне, спасибо за помощь органам. Так, думаю. Значит, Каэспэшник к тачке не вернется. Сижу, поглядываю за «эскадронном» с безопасного расстояния. Один из них сбегал в архив, вернулся, пошушукались о чем-то. Не уезжают. Часы тикают, жизнь уходит, очередное пи-пи назревает. Потом мент выводит тебя. Я объектив наставила, зум выкатила, смотрю. Вижу: прыгун с высоты идет целехонький, только рожа в зеленке. Тебя сажают в «канарейку», и свадебный кортеж движется в обратном направлении, только теперь гораздо быстрее, я на своей «феррари» чуть не отстала. На Тверской, у гостиницы, джипы снова рассредоточились. Двое «эскадронцев» за тобой пошли — усатый и...

— Стоп! — вскричал Николас. — Грузины, один с подкрученными усами, другой в кожаной куртке, да?

— Точно. Выходит, ты не такой лох, как кажешься. Срисовал их?

— Значит, это было не случайное везение! — взволновался магистр. — Они специально дежурили

у моего номера! Знали, что меня пытаются убить, и в критический момент пришли на помощь!

Алтын присвистнула:

— Тебя еще и в гостинице пытались пришить? Интересная у тебя жизнь. Теперь понятно, почему ты из «Интуриста» таким мячиком выкатился.

Не слушая, Николас восстанавливал подоплеку событий:

— Они не следили за мной, эти «эскадронцы», они меня охраняли! Зачем — непонятно, но это факт. И когда я пересекал Красную площадь, а следом за мной шел убийца, мои телохранители тоже были неподалеку. Потом я на роликах оторвался от киллера, и заодно оторвался от них. Вот и остался без охраны.

— Да уж, ты со своими роликами всем нам облом устроил. Казспэшник дунул в сторону, в ГУМ, мы все за ним — за тобой все равно было не угнаться. Ну а в магазине твой приятель как сквозь землю провалился.

— Да, это он умеет, — кивнул Фандорин, вспомнив безуспешные поиски Очкарика в архивном городке.

— «Эскадронцы» покрутились-покрутились, поболтали по мобиле и уехали. Вид у них был кислый. Наверно, получили от Сосо клизму.

Морща лоб, Николас выстраивал логическую цепь дальше:

— Они не знали, где меня искать. А вот Очкарик догадался, что ядвигаюсь на Софийскую набережную, в посольство. В конце концов, сообразить было не так уж трудно — куда побежит британец, оставшийся без документов и оказавшийся в опасности? Надо полагать, что этот человек занял наблюдательный пост напротив посольства и стал ждать, не выйду ли я. И дождался... Стоп! — встрепенулся магистр. — А как вы-то оказались у посольства? Это не могло быть случайностью! Вы ведь даже не знали, что я британец!

Журналистка посмотрела на него сожалеюще, как на недоумка.

— Какой-то ты все-таки недокрученный. Видимо, травоядная жизнь не идет на пользу интеллекту, от этого вы, европейцы, такие вареные и туповатые. Ты же сам у меня спрашивал, где находится посольство Соединенного королевства?

Так вот почему лицо Алтын показалось ему смутно знакомым! Мария Шнайдер здесь совершенно ни при чем.

Господи, просто поразительно, что он до сих пор жив — ненаблюдательный, недовинченный, недокрученный. В блокноте было какое-то выразительное определение для человека подобного склада, еще более презрительное, чем просто «лох». Ах да: «чайник некипяченный». Сэр Николас А. Фандорин, М. А., Вт., Ч. Н. — вот как следовало бы именовать себя на визитной карточке.

— Будем подводить итоги, — печально сказал Николас. — Ясно только то, что профессиональный киллер хочет меня убить, а некий сомнительный предприниматель ставит ему палки в колеса. Что все это значит? Чем я угодил господину Сосо и не угодил веселому человеку в очках?

Вопрос повис в воздухе.

— Третий час ночи, я ваюсь с ног, — объявила Алтын, соскользнув с кухонного стола на пол. — Денек был полный финиш, забудемся сном. Утро вечера мудренее.

Фандорин вздохнул:

— Мне это сегодня уже говорили.

* * *

Все-таки на столе было жестко и неудобно. Хотя в разложенном виде он был и длинный, ноги все равно свисали, а подушка норовила уползти.

Имелась альтернатива — устроиться на полу, но она уже рассматривалась и была решительно отвергнута.

— Кровать у меня одна, к тому же девичья, — сказала Алтын, когда они переместились из кухни в

комнату. — Да ты на ней в любом случае не поместился бы.

— Накидайте мне каких-нибудь тряпок, и я прекрасно устроюсь на полу, — ответил он. Уже и место присмотрел — у стены, под огромными динамиками. Не свалятся?

— Ты к мышам нормально относишься? — спросила хозяйка.

— Вообще-то не очень, — насторожился Фандорин. — А что, у вас есть мыши?

И опасливо покосился по сторонам. В маленькой комнате было не очень-то чисто: поцарапанный паркет давно не протирали, на старинном буфете с резными башенками серели разводы пыли. Кроме этого монументального сооружения, наверняка помнившего графа Витте-Сахалинского, здесь была еще пресловутая девичья кровать, обеденный стол, верстачок с компьютером, огромная стереосистема, два телевизора один на другом (ну да — журналистка) и один-единственный стул. Не сказать чтобы уютно, а уж бардак (хорошее слово, еще из прежних, старорусских времен) такой, что аккуратный магистр только головой покачал. На полу лежали недочитанные книжки и газеты с коричневыми кружками от кофейной чашки, под стулом валялась маленькая кроссовка, а на оконном шпингалете сушилась какая-то интимная деталь дамского туалета.

— Не мыши, а мышь, — ответила Алтын, доставая откуда-то из-под кровати стопку постельного белья. — Ее Алисой звать, она живет вон там, за буфетом. Я ее сыром кормлю и печеньем, «Юбилейным». Она чужих стесняется, вот и спряталась. Но ночью обязательно вылезет знакомиться. Очень любознательная, вроде меня. Если же ты не хочешь с ней знакомиться, я стол раздвину, он длинный.

Так и расположились: она на кровати, он на столе. Погасили свет. Николас пожелал хозяйке спокойной ночи, ответного пожелания не дождался. Какое-то время было тихо.

Потом Алтын Мамаева хмыкнула:

— Николас Фандорин. Ну и имечко! Тебя как друзья зовут? Ник?

— Нет, старые друзья зовут меня Ниф-Ниф. Это, знаете ли, такой персонаж из...

— Знаю, — оборвала она. — В России тоже книжки читают. Побольше, чем у вас в Англии... Нет, я тебя Ниф-Нифом звать не буду, на поросенка ты не похож. Ты похож на ежика в тумане.

— Почему? — удивился Николас. — То есть, почему в тумане, понятно. Но почему ежик? Разве я колючий?

— Называть тебя Колей язык не повернется, — задумчиво продолжила она, пропустив вопрос мимо ушей — все-таки с воспитанием у Алтын Мамаевой не все было в порядке. — Какой из тебя Коля... Николас — это что-то из Диккенса. Буду звать тебя Ника, о'кей? И перестань мне «выкать», это теперь не в моде. Ты меня еще по отчеству называй: Алтын Фархатовна.

— Так вы... то есть ты — татарка? — догадался Николас.

Теперь разъяснились острые скулы и некоторая миндалевидность глаз.

— Это у меня отец был злой татарин, — мрачно ответила она. — Осчастливил имечком. А я по национальности москвичка.

— Он правда был злой?

Фандорин представил себе несчастное, бесприютное советское детство: отец-алкоголик, коммуналка, пионерлагерь. Тогда понятно, отчего бедная девушка не научилась улыбаться.

— Нет, неправда. Он был умный. Хотел, чтоб я не стеснялась быть татаркой и закаляла характер. Вот я и закаляла... Думаешь, легко быть Алтын Мамаевой в бескудниковской школе? Пока маленькая и глупая была, стеснялась своего имени. Хотела, чтоб называли Аллой. Но от этого только хуже дразнили. Золотухой. Это я как-то сдуру похвасталась, что по-

татарски «алтын» — золото, а у меня к тому же и прыщики были, — пояснила она. — Еще Копейкой обзывали и Полушкой — это уже из-за роста.

Живое воображение магистра вмиг нарисовало черненькую девочку в синем школьном костюмчике и пионерском галстуке — некрасивую, замкнутую, самую маленькую в классе.

— Ладно, — недовольно буркнула Алтын. — Автобиографию я тебе как-нибудь потом расскажу. Если доживешь.

Эта жестокая ремарка вернула Фандорина из сентиментального настроения к реальности. Он заворочался, завздохал. Подумал: лежу на столе, как покойник. А завтра, может быть, я буду лежать на столе в морге, уже ни о чем не тревожась. «А я, быть может, я в гробницы сойду таинственную сень».

Нет уж, если переходить на стихи, то лучше пусть будет лимерик...

Сочинив разухабистое пятистишие, он небрежно поинтересовался:

— А что мы будем делать завтра? Идеи есть?

— Есть, — ответил из темноты звонкий голос. — Я Казэспэшника твоего пару раз щелкнула. Съезжу в редакцию, отпечатаю фотки. Потом наведаюсь к одному знакомому на Петровку, покажу. Может, что и прояснится.

Тут мысли магистра истории приняли самоедское направление. Постыдный контраст — маленькая женщина большого калибра и здоровенный мужчина маленького калибра (черт бы побрал злоязычие профессора Крисби). Как любят говорить в телерекламе, почувствуйте разницу: Николас на сантиметр не дорос до двух метров, а напористая девчонка на сантиметр переросла полтора метра. Метраж тут значения не имеет, существенны только приставки — *недо* и *пере*. Эта малютка разговаривает с ним так, будто она взрослая, а он подросток — при том, что он, должно быть, лет на десять ее старше.

Она настоящий профессионал, с завистью думал

Николас, у нее всюду есть свои люди, она столько видела, столько знает. У нее интересная, опасная, *настоящая* работа.

— А чем все-таки занимается скаут? — спросил он.

— У нас журнал нового типа, — стала рассказывать Алтын. — Бьем конкурентов профессионализмом. В других редакциях журналист все делает сам: обзаводится источниками, собирает материал, проверяет его, пишет статью. А наш шеф-редактор взял на вооружение принцип Генри Форда — каждый занимает на конвейере свое место. Скаут — это специалист по сбору и проверке информации. Райтер — мастер концепции и стиля. Есть хедлайнер — он отвечает только за заголовки. Есть «болван» — то есть натуральный болван, образование — заочный техникум физкультуры, ему платят зарплату, чтоб он весь номер прочитывал и показывал, если где не врубается. Эти места переписывает адаптер, есть у нас и такая ставка.

— Но это нечестно! — возмутился Фандорин. — Ты делаешь всю основную работу, ты рискуешь, а слава и деньги достанутся твоему Кузе. Подумаешь, райтер! Тут ведь не «Евгения Онегина» писать. Неужели ты изложила бы собранные факты хуже него? Да хоть бы и хуже! Это твоя информация, а не его!

От потрясений, позднего времени и жесткого ложа воля магистра ослабла, и его неудержимо понесло в вечный омут — соваться с советами:

— Я не знаю, Алтын, до чего ты докопаешься в этой мудреной истории, но дело явно пахнет сенсацией. Известный банкир, содержащий отряд боевиков, профессиональный убийца, лох-англичанин. Когда мы с тобой во всем этом разберемся, ты должна пойти к шеф-редактору и сказать: «Хотите настоящую бомбу? Сногшибательный материал, о котором будут кричать по всем телеканалам? Есть такой материал. Только писать буду я сама, безо всяких райтеров. А если нет — до свидания, напечатаю в

другом журнале». Извини за бестактность, Алтын, но, судя по твоей квартире и машине, платят тебе в «Телескопе» немного, так что терять особенно нечего. Ты только намекни шефу, что это за материал. Ты просто не оставишь ему выбора! Он будет идиотом, если откажется. *Лохом!*

Полез с непрошеным советом — и получил по носу, как и заслуживал.

— Катись ты в Лох-Несс со своими советами, — огрызнулась Алтын Мамаева, и на этом разговор оборвался.

* * *

Проснулся он от негромкого, но пронзительного звука, происхождение которого было непонятно, зато смысл очевиден — случилось что-то тревожное.

Николас открыл глаза, приподнялся на столе (тело, несмотря на все подстилки, затекло и одеревенело), увидел пустую кровать, освещенную утренним солнцем, и только теперь, задним числом догадался: это вскрикнула Алтын.

Такая эмоциональность была настолько не в характере маленькой журналистки, что с Фандорина моментально сон как рукой сняло.

— Алтын! — позвал он, соскочил на пол и бросился из комнаты в коридорчик.

Одетая в розовую пижаму Алтын обернулась. Яркий луч, проникающий из кухни, высветил примятую щеку. За спиной девушки, в прихожей, густел сумрак.

— Спокойно, — сказала Алтын напряженным голосом. — Только без английского темперамента, ладно?

Она тут же сжала губы, глаза же, наоборот, раскрыла широко-широко, и они вдруг показались Фандорину очень красивыми.

Он увидел свою покровительницу словно впервые, причем выяснилось, что она очень даже не-

дурна — правда, не исключено, что тут сыграл свою роль и солнечный нимб, от которого волосы посверкивали лучезарными искорками. «Если б она хоть изредка улыбалась, — подумал Николас, ее можно было бы назвать хорошенькой». По понятной причине ему никогда не нравились женщины маленького роста — они словно принадлежали к другому биологическому виду. Как можно испытывать интерес определенного сорта к существу, которое, стоя в полный рост, едва достает тебе макушкой до диафрагмы?

Здесь Николас заметил, что Алтын показывает рукой в полутемную прихожую, проследил за направлением пальца и сразу забыл о пустяках.

— Твои? — неестественно тихим голосом спросила она.

Перед входной дверью вырисовывался какой-то прямоугольник. Фандорин вскрикнул — и гораздо громче, чем давеча Алтын. Кейс! Кинулся к чемоданчику, схватил. Его «самсонайт», вне всякого сомнения! Что за наваждение?

Хозяйка потянула ручку двери, и та с тихим скрипом отворилась.

— Я ее вчера запирала! — дрожащим голосом сообщила Алтын. — Отлично помню. На два оборота!

Быстро захлопнула дверь, судорожно повернула замок и навесила цепочку.

Фандорин на вытянутых руках — осторожно, словно полную до краев чашу, — понес кейс на кухню. Перед тем, как открыть, зажмурился.

Все было на месте. Ноутбук, телефон, сканер, документы, портмоне. А письмо?!

Слава богу, вот оно. Там же, где лежало — в конверте. Такое ощущение, что кейс не открывали или уж, во всяком случае, ни к чему не притрагивались.

Хотя нет — и открывали, и притрагивались. К кожаному пенальчику для ручек скотчем была приклеена бумажка. На ней размашисто накалякано шариковой ручкой: *«Миль пардон, Коляныч»*.

— В каком смысле? — прошептал Николас. — Ничего не понимаю.

— Получил свою реликвию? — спросила Алтын.

Она старалась держаться уверенно, хотя зубы у нее все еще постукивали.

— В общем, контекст прочитывается, — заявила журналистка. — Люди Сосо нашли-таки Каэспэшника и разобрались с ним по-своему. А твое имущество вернули тебе. Как они нас нарыли и как открыли дверь — вот в чем вопрос. Хотя что ее открывать-то — замок паршивый, отпирается ногтем. Давно собираюсь поменять. Нет, главная фишка в другом. С чего вдруг такая о тебе забота? — Она сморщила лоб, посмотрела на чемоданчик и внезапно шелкнула пальцами: — Оп-ля!

— Что такое? — испугался Николас.

— Я поняла! Дело-то, похоже, вовсе не в тебе, а в твоём кейсе. Точнее, в завещании этого твоего Фона. Ну конечно! Каэспэшник хотел в первую очередь за-получить бумагу, а грохнуть тебя для него было делом номер два. Чтоб волну не поднимал и под ногами не путался. Слушай, что там все-таки написано, в этой бумаженции? Из-за чего базар-вокзал?

Она с любопытством вытянула шею. Фандорин едва успел прикрыть ладонью записку, из которой следовало, что гипотеза журналистки неверна и что страшный человек живехонек.

— А вот мы сейчас посмотрим, что за паззл сложился из двух половинок, — бодро сказал магистр, вынимая ноутбук из чемоданчика.

Приложение:

Лимерик, сочиненный Н. Фандориным на обеденном столе в ночь с 14 на 15 июня:

*Заутра блеснул луч денницы,
В таинственной сени гробницы.
Уразверстой могилы
Собрались некрофилы
В честь гостя российской столицы.*

Глава восьмая

На новой службе. Двор великого государя. Большая московская политика. Мечтать никому не возбраняется. Новый год по-европейски. Мерцанье луны на полоске стали.

Новая служба оказалась против прежней не в пример хлопотней и бессонней, но жаловаться было грех.

Во-первых, рота — чудо что за рота. Солдаты все муштрованные, сытые, трезвого поведения и чинного облика, каждый за службу держится, а команды исполняют так — можно голоса не повышать. Уже на второй неделе стал Корнелиус бранные обороты за ненадобностью забывать, ругаться на мушкетеров было не за что.

Казарма стояла в трехстах шагах от Матфеевских палат, на улице Малоросейке. Чистая, светлая, при собственной кухне и арсенале. Но командиру полагось квартировать не с ротой, а в дворцовом флигеле, близко от боярина.

Дом со многими службами находился близ Покровки, в переулке, который в честь канцлера назывался Артамоновским. Квартиру капитану отвели просторную, с дубовой европейской мебелью, с голландской печью. Кроме денщика приставили в услужение еще холопа и девку-портомою. Корм полагался от боярского стола: когда пригласят, то в горнице (Артамон Сергеевич был в обхождении прост и нечванлив), а то приносили прямо в комнату.

Отдельного упоминания заслуживала экипировка — такой у фон Дорна никогда не было. Серебряная

каска и кираса с золотой насечкой; зеленый парадный мундир с позументами и еще один, повседневный, хорошего английского сукна. Сапог четыре пары, из них одни лаковые, зеркального блеска. Еще от боярина в дар бобровая шуба и шапка на зиму, полдюжины батистовых рубашек, две пары теплых подштанников. Когда Корнелиус в свободный вечер выбирался в Немецкую слободу (жалко, нечасто удавалось), то разгуливал меж домов заправским франтом: новая шляпа со страусовыми перьями, из-под распахнутой матфеевской шубы виден камзол с шитьем, на боку шпага в новых золоченых ножнах, в одной руке трость с резным набалдашником моржовой кости, в другой — тонкой работы табакерка. С сорока-то рублей что ж себя не побаловать.

Выдали капитану казенного коня — несказанного красавца текинских кровей. Своего прежнего, испанского, Корнелиус продал, хоть и жалко было. Можно бы и поддержать на боярской конюшне — зерно не свое и уход дармовой, но нечего коню без дела бока наедать. Продал вороного рейтарскому майору Люку Шарпантьеру — с выгодой, за тридцать два рубля с полтиной. Рейтар, хоть званием и годами был старше, разговаривал с фон Дорном почтительно, завидовал. Когда узнал, что тот получает по двадцать пять золотых пистолей на всем готовом, жалобно заругался по-гасконски: рейтары по мирному времени сидели на половинном окладе.

С деньгами у Корнелиуса выходил полный порядок. Впервые в жизни он начал откладывать, и много. А как не откладывать? Вина он не пил — на Москве пить нельзя, враз сопьешься; в кости не играл — за это Иван Артамонович по головке не погладит, да и не с кем при нынешнем-то возвышенном положении; на баб не тратился — разве изредка, на подарок Стешке. Однако из-за большой занятости теперь бывал у белошвейки реже; да и потом, прибыль от нее было больше, чем расхода: и угостит, и сама одарит. Недавно подарила воротник гипюровый брюс-

сельского кружения. Этак за два года можно было на отличный дом накопить — в Штутгарте или в Тюбингене, с яблоневым садом и даже собственным прудом. Но где именно купить дом и когда — об этом теперь думалось смутно. Корнелиус знал, что уедет из России бесприменно, но, конечно, не будущим летом, а позже. Кто ж от своего счастья бежит?

Артамон Сергеевич был щедр. На второй неделе фондорновой службы зашел в кордегардию и давай оружие проверять — чисто ли содержится, смазаны ли мушкеты и пистолы, наточены ли шпаги. Остался доволен. Капитана хвалил, пожаловал пару соболей в десять рублей. Плохо ли?

Обязанности у Корнелиуса были такие. Главная (это не говорилось, понималось само собой) — охранять самого боярина, его двор и семью, ну а кроме того, в очередь со стрельцами Стремянного приказа и копейщиками князя Милославского мушкетеры держали караулы в Кремле. Иногда фон Дорну в качестве дежурного офицера выпадало стоять при дверях на царских пирах и посольских приемах. В сияющей кирасе, с обнаженной шпагой в руке он торчал там недвижимым истуканом — вроде и глазом не поведет, а сам видел и примечал многое. Лыстило, что во всем огромном зале оружие у него одного, если не считать государевых телохранителей-рынды с церемониальными серебряными топориками. Даже у иноземных послов при входе во дворец отбирали шпаги, о придворных и говорить нечего. За явление пред светлые государевы очи при сабле или хотя бы кинжале — смертная казнь, без снисхождения. Всем, стало быть, нельзя, а капитану фон Дорну можно и даже должно. Вот какое ему (а верней Артамону Сергеевичу) доверие.

За первые два месяца новой службы насмотрелся Корнелиус и на город-Кремль, и на придворные обычаи, и на самого Государя Царя Великого Князя Всея Руси Самодержца.

Кремль — замок большой, с тройной стеной и

глубоким рвом, а случись осада — взять его будет не-трудно. Крепость вся старинного строения, кирпичная, земляных валов нет совсем. Если учинить правильную канонаду из современных орудий, от стен во все стороны полетят осколки, калеча и убивая защитников. И башни с колокольнями слишком высоки: сбить такую дуру прицельным пушечным залпом — полцитадели завалит.

Внутри Кремль напоминал не монаршью резиденцию, а какой-то муравейник. Бессмысленное и беспорядочное нагромождение деревянных и каменных построек, соединенных меж собой открытыми и закрытыми галереями. Хоромы по большей части ветхие, кривые. Над крышами торчат башенки, луковки, крендельки, флюгера — только вся эта красота до первого большого пожара. Одна зажигательная бомба из польской или шведской мортиры, и превратится царская твердыня в груду головешек.

В карауле лучше всего было стоять на спуске с Кремлевского холма, где разбиты Верхний и Нижний сады, а в них пруды и оранжереи с редкими фруктами — даже зимой плодоносят винная ягода, лимоны, клубника. Там, вдали от бояр и дворян, Корнелиус несколько раз видел и самого государя. Его величество любил прогуливаться меж сих райских кущ — сорвет с ветки померанец либо сливу, надкусит, выбросит.

Herr Zaar und Grossf, rst aller Russer Selbsterh%ter Alexei Mikhailowitz, прозванный русскими Тишайшим, был румян, голубоглаз, с круглой темно-рыжей бородой. Тучное тело носил трудно, переваливался на слабых, пухнувших ногах. В оранжерее его величество прохаживался веселый, улыбчивый, мурлыкал под нос то ли духовные гимны, то ли что-то более легкомысленное. В первый раз, подглядывая через толстое стекло в мелком переплете, Корнелиус только диву давался — так мало этот добродушный толстяк походил на каменного болвана, что принимал в Грановитой палате чужеземных послов. На

аудиенции царь сидел недвижной золотой куклой, даже глазами не поводил. Будто и не живой вовсе, а некая аллегорическая персона, олицетворяющая грузность и неповоротливость Третьего Рима.

А между тем, как скоро понял фон Дорн, его царское величество был хоть и грузен, но очень даже поворотлив и падок на всевозможные забавы. Молодая царица Наталья, воспитанница и свойственница Артамона Сергеевича, любила веселье и разные кунштюки, а супруг во всем ей потакал. Необъятная держава жила постно и скучно, музыки не слушала, театров не ведала, а в царских покоях имелся и свой оркестр, и балет, и «смехотворное действо» со скоморохами, и лицедейская труппа. Вот уж воистину *quod licet Jovi*¹. В запретные шахматы Алексей Михайлович воевал чуть не каждый день, для чего держал специального ученого шута Валтасара — тот один не боялся великого государя обыгрывать, хоть и бывал за такую дерзость бит клетчатой доскою по темечку. Правда, бил царь по одышливости некрепко, а жалел побитого сильно — и награждал, и жаловал, так что внакладе Валтасар не оставался.

Во внутренних царских покоях чудесно распевали сладкогласые птицы, многоцветные попугаи кричали из клеток — кто божественное, а кто и обидное. Непривычные, кто наверх впервые попадал, бывало, пугались до полусмерти. Как выкрикнет хохластый краснозобый Каролус: «Башку с плеч!» — так человек за левую грудь и схватится.

Еще в тронной зале, близ царского места, стояли два механических льва — медных, с кудлатыми гривами из овечьей шерсти. Если в особом чулане рычаг повернуть, львы разевали зубастую пасть, зыркали страшными глазами и утробно рычали. Тоже многих, кто и без того пребывал в благоговении и трепете пред высочайшими очами, оторопь брала. А госу-

¹ Что дозволено Юпитеру (*лат.*).

дарь радовался, по бокам себя хлопал, и бояре много смеялись.

В хорошем расположении любил Алексей Михайлович шутки и вовсе простые. Как-то на большом пиру Корнелиус наблюдал, как царь и великий князь подозвал к себе обер-камергера (по-русски «постельничего») князя Скарятинского, якобы для особенной милости — собственноручно напоить из кубка, а сам нарочно пронес вино мимо вытянутых трубочкой боярских уст и давай лить рейнское вельможе на лысину и за шиворот. Изволил смеяться мелким жирным смехом, и обер-камергер тоже был доволен государеву веселью, подхихикивал и благодарил, а прочие завидовали.

Один раз, проверяя караул на крыше царского терема, где был зимний сад и пруд, Корнелиус видел, как царь в европейском платье — камзоле и чулках — лежал на скамье, положив голову на колени царицы, а ее величество ловила блох в густых волосах самодержца. Капитан подивился не самой ловле блох. Дело обычное, на дворцовых пирах все почесывались, и Алексей Михайлович не ленивей других (один лишь капитан дворцовых мушкетеров, благодаря заветной коробочке под мышкой, стоял недвижно) — подивился европейскому платью. Когда рассказал об этом матфеевскому мажордому Ивану Артамоновичу, тот поведал, что царь Алексей сызмальства привычен к немецкой одежде — воспитатель боярин Морозов приучил. Русскую одежду, тяжелую и неудобную, государь не любит, но носит по обязанности, как подобает православному монарху. В домашности же, без чужих глаз, дает себе волю. А пять лет назад, когда ухаживал за будущей царицей, то и бороду сбрил, чтоб Наталье Кирилловне угодить. Потом, правда, снова отрастил — опять-таки из богобоязненности.

От той же богобоязненности государь во все посты — а их на Руси великое множество — по понедельникам, средам и пятницам пищи в уста не принимает, в церкви стоит по шесть часов на дню, кладя

до полутора тысяч земных поклонов. К царице же, хоть и любит ее безмерно, входит в опочивальню раз в три месяца, и этим благочестивым целомудрием все русские очень гордятся, тем более что, невзирая на воздержанность, чад Алексей Михайлович народил много: у его величества трое сыновей да шестеро дочерей, а еще шестерых принцев и принцесс Господь прибрал в младенчестве и отрочестве.

Из царских детей Корнелиусу больше всего нравилась восемнадцатилетняя Софья Алексеевна. Была она не такая, как другие царевны, что тайком, через дверную щель или из-за решетки подглядывали за пирами и приемами, а смелая, с пытливым и ясным взглядом, и на речь прямая, не стеснительная. Проверая караулы вокруг Каменного терема, где светелки царевен, капитан не раз видел, как Софья стоит у окна и смотрит не в землю, как положено русской благовоспитанной девице, а вверх, в небо, и щеки у нее в розовых пятнах, а взгляд затуманенный. Видел ее и в саду, с книгой, что и подавно было удивительно. А однажды, когда фон Дорн дежурил в галерее Потешного дворца, принцесса вдруг подошла и заговорила по-французски — спросила, слышал ли он о комедиях парижского сочинителя Молиера и может ли добыть для нее в Немецкой слободе хоть какое из его писаний. Корнелиус про Молиера ничего не знал, но обещался спросить в книжной лавке Бромелиуса — и выполнил просьбу ее высочества, принес пьесу под названием «*George Dandin, ou le mari confondu*», робея за фривольное содержание. Получил в награду перстень с яхонтом, раз в десять дороже книжки.

Была б Софья хоть чуточку помиловидней, Корнелиус, верно, преисполнился бы невозможных мечтаний, но, во-первых, в ту пору ему уже было о ком несбыточно мечтать, а во-вторых, царевна была собой нехороша: широка в кости, тяжела подбородком, с землистой кожей. Да зачем царской дочери красота? Все равно один путь — в монастырь. Рос-

сийских принцесс за чужеземных государей не выдают, чтоб не поганить православия; за своих вельмож тоже — зазорно царской дочери с холопом на перину ложиться.

Жила бы Софья в Англии, могла бы стать великой монархиней, не хуже рыжей Елизаветы. А так трон достанется хилому Федору Алексеевичу или его малоумному брату Ивану. Оба вялые, слабые, ни на что не годные. Имелся у царя еще один сын, маленький Петр Алексеевич, от новой царицы Натальи, но до трона мальчонке за старшими братьями было далеко. Петр-то как раз и шустер и резов — вечно за ним мамки и няньки по всему дворцу гоняются. Раз, сорванец, уселся на пол возле Корнелиуса и давай с ботфорта шпорное колесико откручивать. Сопел, старался — никак не уgomонится. Когда капитан на него потихоньку шикнул, принц поднял круглые дерзкие глазенки, завертел колесико еще истовей. А открутит — непорядок, нарушение мундира. Тогда фон Дорн посмотрел по сторонам (близко никого не было), да и отвесил шалуну щелчка по кудрявому затылку: не балуй. Царевич, хоть и трех лет всего, а ничего, не разревелся. Вытер нос парчовым рукавом, испытующе поглядел на большого дядьку в сверкающем железе и, слава богу, отстал — побежал себе восвояси, на нарышкинскую половину.

К тому времени Корнелиус уже успел разобраться в большой московской политике и знал, что борьбу за влияние на слабовольного Алексея Тишайшего ведут две придворные партии: родичи и сторонники прежней царицы, происходившей из рода князей Милославских — и приверженцы новой государыни Натальи Нарышкиной.

Сверху нынче были Нарышкины, предводительствовал над которыми канцлер Матфеев. Фортуна Артамона Сергеевича была сильна, а стояла на трех столпах. Первый, крепчайший — царица Наталья, которая воспитана в матфеевском доме, безмерно почитает боярина, батюшкой зовет. Второй столп —

давняя дружба Артамона Сергеевича с царем. Они вместе выросли, были товарищами по учению и играм. А третий столп — государственные таланты министра. Но эта опора из всех самая хлипкая, ибо царь Алексей умом невелик и ценит больше не тех, кто дело делает, а кто умеет его величество распотешить. И тут уж Матфееву не угнаться за придворными лизоблюдами вроде обер-маршала Хитрово или князя Ивана Милославского. Главная же надежда Милославских на племянника, кронпринца Федора Алексеевича — вот взойдет он на престол, тогда и настанет их время, а Матфеев с Нарышкиными наплачутся.

Ну да царь еще не стар и, скорей всего, переживет хвораго Федора так же, как пережил предыдущего цесаревича Алексея Младшего. Жаль было только, что живая умом принцесса Софья из другого лагеря — Матфееву и, значит, капитану фон Дорну, врагinya.

Чуднее всего в этом противостоянии было то, что Иван Милославский и боярин Матфеев жительствова-ли в одном и том же Артамоновском переулке, как бы разделенном незримой границей на две враждующие стороны. У Артамона Сергеевича одна лейб-гвардейская рота — мушкетеры, у Милославского другая — копейщики. И те, и другие ставят поперек переулка решетки и караулы, собачатся меж собой, бывает, что и подерутся. Но поединки и кровопролитие строго воспрещены, за это с фон Дорна и с капитана копейщиков строгий спрос. Государь смертоубийства между своими гвардейцами не терпит. Тут, если что, головы полетят, да и самим Ивану Михайловичу с Артамоном Сергеевичем несдобровать. Поэтому от кровопролития соседи воздерживались, но следили один за другим зорко, опасались каверз, а больше всего шпионства и измены.

Теперь Корнелиусу было понятно, в чем провинился его предшественник капитан Митька Веберов, виденный кем-то из матфеевских лазутчиков у князя Милославского.

На караулы в Кремль надо было заступать через три дня на четвертый, в остальное же время мушкетеры состояли при особе и дворе Артамона Сергеевича. Оберегали его обширную усадьбу, сопровождали боярина в разъездах — не все, конечно, а избранный десяток, но ротный командир беспрерывно.

Со временем, приглядевшись к капитану, Матфеев стал его пользоваться не только для охраны, но и для иных поручений, которые мало-помалу становились все хитрей и доверенней. Теперь Корнелиус все чаще оставлял роту на своего помощника, поручика Мирона Собакина, сам же то толмачил для Артамона Сергеевича, то скакал с наказами в солдатские полки, то чинно, в карете четверкой, вез послания к иностранным резидентам. Пожалуй, был он теперь не просто начальник боярской стражи, а самый настоящий адъютант.

Первый царский советник был до власти и дела жаден, забрал под себя чуть не десяток приказов, и все ему, ненасытному, казалось мало. И Посольский приказ, московское министерство иностранных дел, его, и военное министерство, и Малороссийский приказ, и разные наместничества. Тихое ведомство, Аптекарский приказ — и тот Матфеев никому не отдавал, держал при себе, потому что был большим ценителем учености, и даже слыл у московитов чернокнижником. Лучшую комнату во дворце боярина занимала библиотека — большущая, томов на триста. Русских книг там было немного (да и откуда бы им, многим, взяться — печатали на Москве мало), все больше польские, немецкие, латинские.

Корнелиус привычки к чтению не имел и в библиотеку заходил более из-за карт, развешанных по стенам. Рассматривал разные пути к польской да шведской границе — не то чтоб собирался немедленно, завтра же, пуститься в бега, а так, на будущее. Фортуна, как известно, особа переменчивая. Сегодня хо-

дишь в шелках и обласкан властью, а завтра не пришлось бы ноги уносить.

Пока же изо всех сил старался угодить боярину, в себе не разочаровать. Все поручения исполнял в доскональности, но так, чтоб не переусердствовать — Артамон Сергеевич показного рвення не уважал. Что тебе велено, то и сделай, не мельтеши. Судя по тому, что фон Дорна стали приглашать к столу чаще, даже и при гостях, боярин был своим адъютантом доволен. Корнелиус великую почесть ценил, держал себя в гостиной зале незаметно: садился с краю, близко от двери, рта не раскрывал, трубку, упаси Боже, первым не закуривал.

Дом у Матфеева был замечательно великолепный, другого такого на Москве нет. И убранством, и обычаем на царский дворец никак не походил.

В государевых теремах расписные, в цветах и травах, потолки, лавки покрыты бархатом, посуду на пирах подают из чистого серебра, но на полу грязь и объедки, в покоях темно, смрадно от чеснока и преющих под шубами бояр.

Зато палаты в Артамоновском переулке светлы и чисты. Просторный двор выложен разноцветными плитами, крыша сияет медью, на коньке — флюгер в виде рыцаря. Внутри еще роскошней. Стены не голые, как в Кремле, а обитые золоченой кожей с тиснением. Повсюду гобелены и гравюры, парсуны европейских монархов попеременно с белотелыми Венерами и наядами. Мебель не московская — лавки да сундуки, а настоящая: шпалерные и парчовые кресла, резные шкафы, в столовой зале венецианские стулья с высокими спинками, в хозяйском кабинете — огромный глобус, весь в тритонах и морских чудюшах.

Распоряжался в доме Иван Артамонович, крещеный арап, которого двадцать лет тому назад подарили боярину запорожские казаки — отбили из обоза у турецкого паши. За долгие годы странствий и приключений черный человек посмотрелся всякого. Удивляться и бояться разучился вовсе, а вот лю-

дей видел насквозь, так что многие в доме его боялись. Взглянет своими черными глазами, губы толстые чуть подожмет, и уже все ему про тебя известно: чем провинился, о чем думаешь, какому богу молишься. Сам тихий, некрикливый, до чтения охотник. Еще имел особенную забаву — ему пригоняли необъезженных жеребцов из татарского табуна, что за Мытным пустырем, и арап их в усадебном дворе обламывал. Накинет аркан — легко, с одного броска — и после по часу, по два гоняет кругами. Жеребец храпит, дыбится, копытами сечет, косится на мучителя бешеными глазами, а Иван Артамонович будто гвоздем к месту приколочен, не шелохнется, только скалит свои расчудесные зубы, и глаза у него такие же белковатые, как у жеребца.

Боярину арап был предан по-ястребиному — без страха, до могилы. Знал все его тайны и даже далекие помыслы. Если б не чернота, давно сидеть бы Ивану начальником в важном приказе, а то и состоять при Матфееве вице-канцлером (по-русски — думным дьяком), но дворецкий скромным положением не тяготился и на судьбу за свое арапство не обижался. Ему довольно было и того, что большое матфеевское хозяйство содержалось в полном порядке, на зависть и поучение всем, кто попадал в белокаменные хоромы.

Таких счастливых, правда, было немного, так как Артамон Сергеевич гостей отбирал придирчиво. Попасть к нему на «четверговые сидения», которые Корнелиус для себя окрестил журфиксами, считалось великой честью, достававшейся лишь избранным. В прежние времена запросто заглядывал и сам царь. Слушал клавикорды, смотрел картинки в заморских книгах, пялился на женщин и девок — в доме у Матфеева дам, на европейский манер, выпускали к столу, и держались они не по русскому этикету (глаза вниз, и упаси Боже открыть рот либо улыбнуться), а вольно. Жена Артамона Сергеевича была шотландка, урожденная Гамильтон, домостроя и старомосковских обычаев у себя не признавала. Своячениц и

крестниц, свежих и востроглазых, в доме у Матфеева было много, и одну из них, Наталью Нарышкину, вдовствовавший государь пожелал себе в царицы.

Для видимости устроили смотрины, по старинному чину: свезли во дворец девок из хороших родов, разложили по трое в постели — чтоб лежали смирно, будто спят, и глаз на государя раскрывать не смели. Алексей Михайлович для виду походил по смотринным опочивальням, посмотрел на сих якобы спящих красавиц и выбрал среди них не кого-нибудь, а матфеевскую воспитанницу — она уж знала, что выберет, и лежала без трепета, подсматривала сквозь густые ресницы.

После женитьбы царь на четвергах бывать перестал, но и без него журфиксы своего соблазна не утратили — только стали живей, свободней, да и веселее. Здесь угощали изысканно, без московского обжорства, поили не допьяну, как в Кремле, а умеренно, французскими, германскими и итальянскими винами. Посуду с каждой переменной блюд подавали новую, не валили в ту же тарелку. В царском-то дворце иную миску раз в год помогают, и то много, а здесь хоть смотрись в нее, будто в зеркало — сверкает вся. У каждого прибора (не только ложку подавали, но еще и вилку, а к мясу нож) клали льняную салфетку — чтоб руки вытирать изящным манером, не о платье и не о волосы. На царском приеме Корнелиус раз видел, как камергер Микишка Соковнин, нагнувшись, тайно высморкался в парчовую царскую скатерть, за что бдительным церемониймейстером Михайлой Щербатовым был немедленно выгнан с бранью и затрещинами. У Артамона Сергеевича подобную варварскую сцену и представить себе было невозможно.

Здесь разговаривали прилично, без крика. Не бахвалились дедовством, срамных речей не вели, старыми обидами не считались. Беседовали о философии и политике, о европейских и турецких новостях, с женщинами — про обыкновения версальского и сентджеймского дворов.

Артамон Сергеевич был уже совсем старик, лет пятидесяти, а его супруга Евдокия Григорьевна из детородной поры еще не вышла, приносила мужу приплод чуть не каждый год. Правда, из-за злого московского климата дети долго не жили, умирали в младенчестве — вот и сейчас, при Корнелиусе, хозяйка ходила в черном по годовалому сыночку, преставившемуся на Покров. Но двух чад Господь Матфеевым все же сохранил, смилостивился — сына и дочь.

Маленький Андрей Артамонович в свои десять лет был уже царевым стольником, знал не только грамоте, но еще по-французски, по-немецки, по-английски. На четверговых сидениях читал латинские вирши, и гости ему прилично, на западный манер, хлопали в ладоши. Видно было, что из мальчугана выйдет прок.

Однако куда больше Корнелиуса занимала канцлерова дочь, Александра Артамоновна, по-домашнему Саша. Хрупкая, беленькая, с круглым лицом и тонким вздернутым носом, с продолговатыми серыми глазами, она представлялась фон Дорну залетной птицей, угодившей в варварскую Московию по прихоти недоброго ветра: подхватил нежную птаху, занес ее за тридевять земель, да и бросил посреди чуждой, дикой чаши. Таких утонченных барышень Корнелиус видел в Гамбурге, Амстердаме и Париже, а в Москве встретить не чаял, отчего Александра Артамоновна показалась ему вдвойне, втройне прекрасней.

Щек она, вопреки туземному обычаю, не румянила, бровей не сурьмила, но все равно (а может, наоборот, именно из-за этого) была чудо как свежа и приятна взору. Однажды вышла к гостям во французском платье, с корсажем и открытыми, ослепительными плечами — так мужчины все умолкли, глазами захлопали, а Корнелиус, раскуривавший трубку, от сердечного сотрясения весь табак просыпал.

После, ночью, долго ходил взад-вперед по своей

горнице и, чтоб утешиться, вспоминал прежние любовные победы. Сашенька, Александра Артамоновна для капитана фон Дорна была досягаема не более, чем сияющая в небе звезда. Помыслить, и то страшно.

Все же на следующее утро, дожидаясь, пока Артамон Сергеевич выйдет из кабинета (боярин составлял памятную записку для украинского гетмана и, видно, засел надолго), Корнелиус предпринял диверсию — ни для чего такого, просто невыносимым показалось, что Сашенька его вовсе не замечает, смотрит сквозь, а если случайно встретится взглядом и улыбнется, то рассеянно, без смысла, будто псу дворовому, что хвостом повилал.

Сидел в главной гостевой зале, куда сходились переходы из всех покоев и где непременно рано или поздно должна была появиться боярышня — может, из светелки во двор пройдет, или к матушке, или в библиотеку, или еще куда.

Капитан прицепил свой лучший кружевной воротник, в ухо вдел золотую серьгу, вороной парик собственноручно расчесал попышней, пустил двумя волнами по плечам. На соседнем стуле лежала шляпа со страусиными перьями, черным и белым. Под тулейей был спрятан заветный будильник.

Накануне Корнелиус проверил, работает ли механизм. Слава богу, работал — гамбургские мастера свое дело знали. Сокрытые внутри колокольчики в нужный миг начинали серебристо отшелкивать веселую песенку «Здравствуй, новый Божий день» — чтоб человек просыпался в добром расположении духа, с улыбкой на устах.

Дождался. По наследственному фондорновскому везению, Александра Артамоновна была одна. В руке держала малую грифельную доску и счеты с костяшками, на каких купцы считают — не иначе, шла к Андрею Артамоновичу, учиться вместе с братом арифметике (и зачем только высокородной девице эта низкая наука?).

Корнелиус не поворачиваясь — словно и не ви-

дит — нажал под шляпой рычажок боя и сразу руку отнял, на колено положил. Сам сидит, искоса по отражению в зеркале за Сашенькой следит.

Та шла себе, стуча каблучками по дубовому паркету, да вдруг замерла: откуда ни возьмись полились волшебные переливчатые звуки — приглушенно, как бы из-под земли или, наоборот, из надземных сфер. А фон Дорн сидит, вроде и не слышит ничего, только мизинец руки, положенной на эфес, оттопырил, чтоб луч на перстне поиграл.

— Капитан... Как тебя... Корней! — шепотом позвала Сашенька.

Здесь Корнелиус, конечно, вскочил, повернулся, поклонился самым учтивым образом — париком чуть не до пола.

— Да, ваше сияние? (Так перевел на русский *Durchlaucht*¹).

— Слышишь? — боярышня боязливо подняла розовый пальчик, ресницы так и затрепетали. — Слышишь?

Фон Дорн наморщил лоб, словно бы прислушиваясь. Недоумевающе развел руками.

— Лошадь кричит? Это Зюлейка, гневной кобыл Иван Артамонович. У нее будет дитя.

— Да не кобыла! — досадливо махнула Сашенька. — Вот, вот! Музыка райская!

Взгляд, обращенный на Корнелиуса, был одновременно испуганным и в то же время исполненным надежды на чудо.

Капитан проговорил заученную фразу — красивую и без единой ошибки:

— Я человек простой и грешный, мне не дано слышать райскую музыку. Это могут только небесные создания.

И снова поклонился — почтительно, без дерзкой галантности.

Боярышня, наклонив головку, послушала бой

¹ Светлость (нем.).

еще немножко, потом вдруг быстро подбежала к стулу и сдернула шляпу.

— Это что? Табакерка с музыкой? Да ты, Корней, шутник!

Схватила будильник и звонко, не хуже серебряных колокольчиков, рассмеялась.

— Какой красивый! А зачем цифры? И небесные знаки?

Корнелиус смиренно объяснил про устройство будильника и с поклоном сказал:

— Позвольте, ваше сияние, подарить вам этот скромный подарок.

Сказал — и сердце стиснулось, все-таки жалко было отцовского будильника.

Но устроилось все лучше некуда. Будильник Александра Артамоновна в дар не приняла, на шутку не рассердилась и с того дня стала фон Дорна отличать. Улыбалась уже со смыслом, как другу. Если ехала кататься в санном возке, велела скакать следом. А один раз, на прогулке в Сокольниках, попросила обучить палубе из пистолети. Когда боярышня двумя ручками взяла рукоять, а Корнелиус стал наводить дуло, ее раздумывавшаяся от холода щека оказалась совсем близко, и от этого с капитаном приключился немислимый конфуз — промазал с десяти шагов по толстому стволу. Сама же Сашенька его и утешала.

Человек не властен над своими фантазиями. И стали фон Дорну грезиться видения одно несбыточней другого. Мечтать ведь никому не возбраняется.

Скажем, загорелся чудесный каменный дворец, со всех сторон пламя, холопы от жара разбежались. Корнелиус вбегает в окутанную дымом светелку, подхватывает ослабевшую Сашеньку на руки, выносит наружу, и она в благодарность целует его в опаленные усы. Ради такого впору было самому палаты запалить. В Москве что ни день где-то горит, никто и не удивится...

Или, еще лучше, спасти самого Артамона Сергеевича от покушения или какой-нибудь другой смер-

тной опасности, а в награду боярин, как в сказке, скажет: «Женись, храбрый и верный рыцарь Корнейка, на моей единственной дочери». Конечно, капитан фон Дорн по матфеевским меркам голодранец и знатности невеликой, но ведь и сам экселенц не из Рюриковичей, простой дворянский сын. Враги за глаза ругают его худородным. А что до различия в вере, то ради Сашеньки и перекреститься бы можно. Бог простит, потому что Он за любовь многое прощает.

Когда фантазии заходили так далеко, Корнелиусу становилось стыдно и страшно, ибо тут уж пахло пагубой христианской души. А главное — грешил он помыслами попусту, безо всякого резона, потому что у Александры Артамоновны жених уже наметился, и презавиднейший. Василий Васильевич Галицкий: богатый, умный, просвещенный, собой писанный красавец. Галицкие — первая среди шестнадцати знатнейших фамилий, которые веками составляли самую опору престола. На четвергах Галицкий бывал всегда, ни одного не пропускал. Сидел на почетном месте, рядом с хозяином, но всякий раз поворачивал стул так, чтобы и Александру Артамонову видеть.

Покручивая холеный пшеничный ус (бороду брил), князь умно изъяснял и о государстве, и о торговле, и о военном деле. По всему, он получался полный матфеевский единомышленник, так что Артамон Сергеевич только одобрительно поддакивал. С иностранными гостями Галицкий говорил по-латыни и по-французски — те тоже восхищались блестящим собеседником. Как ни высматривал Корнелиус, придраться в Василии Васильевиче было не к чему, превосходил он мушкетерского капитана решительно по всем статьям.

Да за одну красоту тонкого, породистого, в профиль чуть хищноватого лица князя полюбила бы любая королева. Когда, запрокинув кудрявую голову, Галицкий посматривал на Сашеньку и победи-

тельно поигрывал бровями, у фон Дорна начинали неметь скулы. А если боярышня розовела и опускала ясные глаза, Корнелиус выходил за дверь и там, в коридоре, отводил душу — представлял себе, как бьется с князем на шпагах, всаживает ему в живот, по самую рукоять, испанскую сталь, и у баловня Фортуны от последнего изумления лезут из орбит красивые синие глаза.

Ну почему мир устроен так несправедливо?

* * *

Мерное течение службы и жизни для капитана фон Дорна закончилось в ночь на 1 января 1676 года от Рождества Господня, а по русскому исчислению 5184-го. У Артамона Сергеевича праздновали Новый год по-европейски, а не 1 сентября, как было заведено в Московии. Собрались гости — по большей части всегдашние, матфеевского избранного круга, и несколько новых.

Из обычных были князь Галицкий — возмутительно прекрасный в польском бело-золотом кунтуше; знакомый Корнелиусу еще по слободе пастор Грегори, устроитель царского театра, весь желтый от больной печени; улыбчивый, похожий на сытого кота камергер Лихачев; стрелецкий генерал князь Долгорукий, боевой товарищ Артамона Сергеевича; ученый хорват с непроизносимой фамилией — все *zsch* да *tsch*, и еще некоторые особы.

Самым важным гостем нынче был высокопреосвященный Таисий, митрополит Антиохийский. Этот учнейший грек, в прошлом падуанский доктор богословия и католический викарий, перешел в православие и достиг высших церковных степеней. Все знали, что государь его чтит, а в божественных делах слушает больше, чем раньше слушал низложенного патриарха Никона.

Митрополита Корнелиус во дворце видел часто, да и у Матфеева он появлялся не впервые. Только в

царском тереме Таисий восседал важный, пышный, в золотой ризе и митре, сплошь расшитой жемчугом и алмазами, с пастырским посохом, а к Артамену Сергеевичу являлся попросту, в мягкой шерстяной рясе, и держался доступно, улыбочиво. Говорить с ним можно было о чем угодно, хоть о политике, хоть о языческих богах античности, но больше всего Таисий оживлялся, когда речь заходила о книгах. Его карие глаза загорались азартными огоньками, руки сами тянулись теребить шелковистую седую бороду, на щеках проступал мелкий старческий румянец.

Однако был у Корнелиуса с высокопреосвященным один разговор, после которого капитан усомнился — так ли уж прост и свят Таисий. Как-то в царском тереме митрополит подошел к проверявшему посты фон Дорну, ласково с ним поздоровался и завел беседу: какой-де веры и как обходится без исповеди и причастия. Когда Корнелиус ответил, что обходится плохо и пробавляется одной лишь молитвой, Таисий, поглядев по сторонам, перешел на шепот. «Без исповеди-то христианину нельзя, грех, — сказал. — Ты вот что, сын мой, ты на исповедь ко мне приходи. Я хоть и принял православие, но от католической веры не отрекся — потому что Спаситель един, хоть по-латински ему молись, хоть по-славянски. И Святейший Престол меня от матери-церкви не отлучал, священнического звания не лишал. Могу и исповедывать, и грехи отпускать. Придешь?» Искушение облегчить душу было великим, но и сомнение брало. Как это возможно — разом быть и католиком, и православным? За приглашение фон Дорн поблагодарил, обещал прийти. Но не пошел, а грек, хоть после и виделись многократно, не настаивал.

При Таисии всегда был ближний келейник, чернобородый, молчаливый, со страшным костлявым лицом. Нерусский — должно быть, тоже грек или левантинец. Звали его Иосифом. Про него говорили, что он лют верой, носит под рясой железные вериги и всяко умерщвляет плоть — по ночам, чтоб

избавиться от мучительных соблазнов, точит себе зубы напильником, только через такое невозможное страдание и преодолевается. Вериг Корнелиус не видел, зато острые, почти что треугольные зубы заметил и проникся почтением. Видно было, что Иосиф и в самом деле человек святой.

Новых гостей нынче было двое. Одного, ученого лекаря и фармацевта Адама Вальзера, привел подручный боярина по Аптекарскому приказу дьяк Голосов. Герр Вальзер Корнелиусу понравился — тихий, седенький, с мягкой улыбкой и добрыми голубыми глазками, которые с любопытством взирали на мир из-за больших оловянных очков. В сенях аптекаря дожидались двое дюжих холопов с крепкими дубинками и слюдяными фонарями на длинных палках. Из этой предосторожности можно было заключить, что Вальзер на Москве человек не новый, хорошо знающий, как оберегаться по ночному времени. Кто из дому затемно выходил один, да без своего света, тому в этом разбойном городе далеко было не уйти — или тати ночные разденут, или уличные сторожа, видя одинокого человека, перед соблазном не устоят. Голосов и Вальзер явились прежде других. Аптекарь засмутился просторной гостиной, робко попросил разрешения осмотреть хозяйскую библиотеку и долго не казал оттуда носа.

Зато второй из новых людей, дьяк Посольского приказа Афанасий Лебедев, только что вернувшийся из Европы, сразу завладел всеобщим вниманием — стал рассказывать последние французские вести про короля Людовика и его метресс. Весь просвещенный мир, оказывается, нынче обсуждал великую новость: положение прекрасной маркизы Монтеспан пошатнулось. Пикантнее всего было то, что сердце его величества у блестящей фаворитки похитила не какая-нибудь юная красавица, а пожилая воспитательница бастардов, прижитых маркизой от Короля-Солнце. Эта самая мадам Ментенон весьма благочестива, рассказывал дьяк, скромна, имеет от

роду сорок лет и обольстила версальского монарха не пышными прелестями, но умом и высокой нравственностью.

— Сие означает, что король Людовик в постельных баталиях совсем истрепался и теперь желает от женок не пылкости, а одного лишь покоя, — весело сказал князь Василий Васильевич. — Он нынче как петух, что курочек не топчет, а только кукаречет. Такому кочету одна дорога — в суп.

Сказано было не только остроумно, но и политически тонко — среди гостей французских доброжелателей не было, и шутку встретили дружным смехом. Потом заговорили кто о чем, а фон Дорн еще долго терзался тем, как улыбнулась Сашенька князевой скабрёзности. Утешение было одно: зубы у Галицкого, как и у большинства москвитов, нехороши — когда смеялся, видно, что желты и кривоваты. Поймав взгляд Александры Артамоновны, капитан широко улыбнулся — пусть сравнит и оценит. Боярышня тоже улыбнулась. Оценила ли белизну и ровность зубов, было неясно.

Когда слуги зазвенели серебром, вынося блюда с угощением, из библиотеки выглянул Адам Вальзер. Потянул носом на аромат печева, пряного мяса, дыmlеной белорыбицы и вдруг переменялся в лице. Глаза герра Вальзера испуганно заморгали, розовые щечки побледнели. Корнелиус удивился такому метаморфозису и проследил за направлением аптекарева взгляда. Оказалось, что Вальзер смотрит на митрополита Антиохийского, да и грек тоже взирает на тихого человека, причем с явным неудовольствием.

Впрочем, Таисий от лекаря тут же отвернулся, поманил к себе Корнелиуса. Когда тот с почтительным поклоном приблизился, высокопреосвященный шепнул:

— Капитан, позови-ка ко мне брата Иосифа.

Фон Дорн сходил в сени за чернобородым монахом, а когда вместе шли обратно, в залу, навстречу выскочил герр Вальзер, все такой же бледный.

— Уже уходите, сударь? — удивился Корнелиус. — Но празднество только начинается.

— Дело важное... Запомню. И нездоров, — срывающимся голосом пролепетал аптекарь, с ужасом глядя на смуглого брата Иосифа.

Побежал к выходу чуть не вприпрыжку, чудной человек.

Корнелиус побыл в гостиной недолго — минуту, много две. Митрополит, дав келейнику какое-то поручение (Иосиф сразу заторопился), завел с пастором Грегори ученый спор о воззрениях какого-то Паскаля, а князь Василий Васильевич подсел к Сашеньке и принялся что-то нашептывать ей на ухо. Боярышня потупилась. Хозяин, Артамон Сергеевич, поглядывал на молодых с ласковой улыбкой, и смотреть на это у капитана не было решительно никаких сил.

Черт с ней, с белорыбицей — все равно в глотку не полезет, решил Корнелиус и отправился в ночь, за ворота, проверять караулы. Ничего, скоро мука закончится. Пришлет Галицкий сватов, сыграют свадьбу, и перестанет Александра Артамоновна смущать бедного солдата дружеским обращением и лучистым взглядом. Жизненная мельница все перемелет, была мука, а останется одна мука.

Прошел Артамоновским переулком. У решетки, что отделяла милославскую половину, стояли в тулупах сержант Олафсон и еще двое. Не спали, трубок не курили. На другом посту, где выход на Малорасейку, караул тоже был в порядке.

Корнелиус решил обойти усадьбу задами, вдоль глухой стены — не для дела, а так, ради моциона. Возвращаться в залу, чтоб смотреть, как Галицкий щекочет усами ушко Александры Артамоновны, было невмочь.

Ночь выдалась ясная — при луне, при звездах. Фон Дорн шел, поглядывая в вечное небо, вздыхал. Руку на всякий случай держал за пазухой, на рукояти пистолы.

Вдруг из темноты, где ограда церкви Святого

Николая, донеслась возня, а потом, конечно, и крик: «Караул! Убивают!».

Корнелиус покачал головой, развернулся идти обратно. Кричи не кричи, уличный караул не прибежит — им тоже жить охота. После, когда вопли умолкнут, — вот тогда подойдут. Если не до смерти убили, отведут в земскую избу. Если до смерти, увезут на Чертолье, в убогий дом. А из дворов спастись убиваемого никто не сунется, в Москве такое не заведено. Мало того, что самого зарезать могут, так еще потом на разбирательстве в Разбойном приказе умучают: кто таков, да зачем не в свое дело лез — может, сам вор.

Ну их, москвитов, пусть режут друг друга на здоровье.

Но тут вдруг от нехорошего места донеслось по-немецки:

— Hilfe! Hilfe!

Это уже было другое дело. Европейца, тем более соотечественника, бросать в беде нельзя.

Фон Дорн трижды коротко дунул в свисток, подзывая своих, а сам дожидаться не стал, побежал на шум.

Обогнул ограду, увидел фонари на снегу — один погас, второй еще горел. Рядом два неподвижных тела с раскинутыми руками. Кричали оттуда, где сгущалась тьма. Капитан сощурил глаза и разглядел две черные фигуры, которые тащили волоком кого-то упирающегося и жалобно кричащего.

И снова:

— Караул! Hilfe!

Так ведь и голос знакомый! Теперь, вблизи, Корнелиус узнал — это же герр Вальзер. Тем более: грех и даже преступление не выручить матфеевского гостя.

— Стой! — бешено заорал фон Дорн, выхватывая пистоль — шведскую, с колесным замком.

Один в черном обернулся — забелело круглое

¹ Помогите! Помогите! (нем.)

пятно лица. Корнелиус пальнул, и разбойник опрокинулся на спину.

Выватил шпагу, кинулся на второго, а лекарю крикнул по-немецки:

— Герр Вальзер, в сторону!

Тот проворно отполз на четвереньках. Тать в длинном черном одеянии (да это ряса, он был переодет монахом!) выхватил прямой, широкий тесак, но где ему, увальню, было тягаться с лучшим клинком прежнего Вюртембергского полка. Первым же выпадом фон Дорн проткнул негодяя насквозь.

Оказывается, бандитов было не двое, а трое. Третий — высокий, в остроконечном клобуке — стоял немного в стороне, засунув руки в рукава, и не двигался. Видно, перетрусил. Лица было не видно — лишь силуэт, так как луна светила ночному вору в спину.

— Пади на колени, блудник сын! — страшным голосом потребовал Корнелиус и взмахнул окровавленной шпагой. — Убью, как собаку!

Высокий выпростал из рукава руку, легонько всплеснул ею, и капитана вдруг звонко ударило в грудь — это брошенный нож пробил шубу и звякнул о кирасу.

Ах, ты так! Ну, пощады не жди!

Корнелиус занес шпагу для рубящего удара и бросился на разбойника. Тот стоял все так же неподвижно, будто примерз к земле.

Клинок со свистом рассек воздух, но голову татю разрубить не успел. Неуловимым для глаза движением тот перехватил сталь рукой в кожаной рукавице, словно шутя вырвал у капитана шпагу и запросто, как лучину, переломил ее пополам.

Оторопев, фон Дорн сделал шаг назад, выхватил из-за голенища кинжал. Возникло жуткое, безошибочное чувство, что все это он уже когда-то видел в кошмарном сне: бил врага шпагой, а шпага ломалась; колол кинжалом, а тот сгибался, будто был сделан из воска.

Страшный, непробиваемый человек вцепился Корнелиусу в запястье, вывернул так, что захрустели кости, а другой рукой коротко, мощно ударил мушкетера в лицо.

Фон Дорн отлетел навзничь. Улица, небо, дома завертелись, норовя разместиться вверх тормашками. Повернувшись вбок, Корнелиус выплюнул с кровью на снег два передних зуба. Но расстраиваться из-за погубленной красоты было некогда и незачем — земной путь капитана мушкетеров подходил к концу.

Разбойник нагнулся, подобрал выпавший кинжал и наступил оглушенному Корнелиусу на грудь, припечатал к мостовой. Полоска стали поймала лунный свет, тускло блеснула. В жизни фон Дорн не видел ничего красивей этого мимолетного сполоха.

Господи, прими душу раба Твоего Корнелиуса, сына Теодора и Ульрики.

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел

Писанъ въ Ромѣи и сѣ
лѣхъ рѣчѣхъ Т.¹
Владимѣрѣ Фомѣнѣ
Писанъ въ Ромѣи

[illegible]

Включить компьютер и открыть файл *vondorn.tif* было делом одной минуты. Вот оно — соединенное из двух половинок и сосканированное завещание капитана Корнелиуса фон Дорна. Если послание сыну Никите, конечно, было завещанием.

Почерк у капитана, даже и по понятиям семнадцатого столетия, был неважный. Николас прищурился и очень медленно, по складам, стал читать: *«Па-мять сия для сын-ка Ми-ки-ты ег-да в ро-зу-ме-нии будет а ме-ня Гос-подь при-бе-рет а пу-ти на Мос-кву не по-ка-жет а еже-ли умом не дой-дешь как того изы-ска-ти на то во-ля Бо-жья па-ки со-блазн ди-авол-ский не за-вла-дел...»*

— Что-что? — перебила Алтын. — Слушай, я не въезжаю. Ты можешь это перевести на нормальный русский язык? «Егда, паки». Хренотень какая-то.

— Сейчас, — сказал Фандорин. — Сначала почерк расшифрую.

Он вошел в программу «Scribmaster», попутно объясняя, что это программный продукт нового поколения, разработанный специально для исследователей древних рукописных текстов. В базе данных замечательной программы содержится до трех тысяч вариантов написания латинских, греческих, еврейских и кириллических букв, которые «Scribmaster» умеет считывать и преобразовывать в любой из современных шрифтов.

В длинном списке стилей Николас выбрал строку *skoropis 17th cent*, в графе *transform to* поставил шрифт «Ижица», неудобный для чтения, но единственно пригодный, потому что в нем имелись буквы, не употребляемые в современной русской орфографии. Надстрочные знаки, конечно, пропадут, но это не страшно — прочесть все равно будет можно.

Алтын с любопытством наблюдала за манипуляциями магистра, дыша ему в самое ухо и время от времени даже щекоча висок своими стриженными волосами. От девушки пахло утром, сном и свеже-

стью. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвлекаться от главного.

— Ну, поехали. — Он перекрестился и нажал на *enter*.

— Ты что, из богомольцев? — спросила Алтын.

— Нет, я, собственно, агностик. Но хуже не будет.

Рукописный текст на экране исчез, появилась картинка: старинные часы, стрелка которых медленно отсчитывала секунды. На исходе второй минуты изображение дрогнуло, и вместо невразумительных каракулей возник обычный печатный текст. Николас и Алтын непроизвольно подались вперед, не замечая, что прижимаются друг к другу щеками, и впились глазами в дисплей.

Память сня для сына
розумени бѹдетъ
а пѹти на москву
не дойдешь как тог из
пакн соблазнѣ днаволс
изыщеш и хрста ради
что понизу в алтынѣ
рогожею не нмай дѹши
А отъ скородома отъ
саж по черной слободе
предка ншег кѣ княже
де местѣхъ ѹвидеш
сѣ оконницы въ числе
гѹго снлаго а ежели х
и того де не пѹжайся
знатна
А какъ в подклеть сой
востокъ нди въ ѹголѣ а
ѹзкая и ты тѹ плантѹ
железная да колоц ков
А сойдешь оттѹда в т
передѣ темъ какъ со
ншемѹ нссѹ хрстѹ а

микиты егда въ
а меня гсподь приберетъ
не покажетъ а ежели ѹмомъ
ыскати на то воля Бжя
кни не завладелъ а какъ
верн токмо либерею
толовас а замолея подѣ
спасення ради
каменыхъ вѣратъ нди 230
яко отъ сѣкалы део
мѹ дворѹ и въ тѣх
домѣ древяна клецки что
дщерей ѹ предка ншего
рамнина отъ пожарѹ сгоритъ
пакн подклеть ѹ храмины
деш и на северѣ нди да на
въ ѹглѹ планта каменная да
сѣверин а под плантою чѣпъ
аное и ты его надай
айник где полъ земляной а
йдеш помолнся гсподѹ
костей мертвыхъ не

пѣжайся да любопытст
гспда ради и нипочемѹ
не гневн моей отцовой
родѹ члвческомѹ хѹда
Отрин тѹ книгу и

ва свог не пытай хрста
замолея тог не имай
воли дабы не себе не
не сотвори ти
такѹ найдеш Ивановѹ
либерею

хрстось тебя благослови
писан на кромешникахъ
лета 190го майя въ
3 дн
корней фондорн рѹкѹ
приложилъ

— Все равно белиберда какая-то! — недовольно воскликнула журналистка. — Ни хрена не понятно.

Но магистр лишь невежливо отмахнулся, скользая взглядом по строчкам. Прочитал, недоуменно затряс головой. Прочел еще раз.

— Либерея? Иванова Либерея? — пробормотал он. — Неужто та самая? Чушь! Бред!

Алтын смотрела на него в упор.

— А? Либерея? Это которая в Африке, что ли?

Фандорин хмуро вглядывался в экран, шевеля губами.

Тогда журналистка яростно ударила его острым кулачком в бок (от неожиданности Николас ойкнул).

— Переводи, гад! Я сейчас сдохну от нетерпения!

И он перевел, сопровождая чтение необходимыми комментариями:

— *«Писано для сына моего Микиты, когда в разум войдет, а меня уже не будет, если не приведет Господь вернуться в Москву. А если не поймешь или не сумеешь найти искомого, так на то воля Божья, чтоб соблазна дьявольского избежать. А если и найдешь, то ради Христа бери только ту Либерею, что внизу в алтын-толобасе. (Не знаю, что это такое.) Замолея же, прикрытого рогожей, трогать не смей ради спасения души. (Что за Замолей такой, понятия не имею.) От Скоро-*

дома (Забыл, что это такое — кажется, название Земляного вала), от Каменных ворот иди 230 сажень (Сажень — это семь футов, стало быть, речь идет о расстоянии примерно в 500 метров) по Черной Слободе в ту сторону, как от Скалы Тео, предка нашего, к Князьему Двору... (Хм, любопытно. «Скала Тео» — это, скорее всего, Теофельс, родовой замок фон Дорнов. Какой там может быть княжий двор? Ах, да! Это он о Фюрстенхофе! Фюрстенхоф — соседний городок, где когда-то находилась мыза князей Гонгонлоз! Какое же это направление? Дай Бог памяти, я же там в позапрошлом году все окрестности облазил... Да, точно: Фюрстенхоф от Теофельса на юго-востоке. Как, однако, Корнелиус осторожничает! Ладно, читаем дальше.) ... к Князьему Двору, и там увидишь деревянный дом в столько окон, сколько было дочерей у предка нашего Гуго Сильного. (Гуго Штарк, то есть Сильный, жил в 15 веке. Я прочитал в родовой хронике швабских фон Дорнов, что у него было тринадцать дочерей и всего один сын. Стало быть окон тринадцать. Странное число для московской постройки семнадцатого века.) А если дом от пожара сгорит, то не страшно, ибо там подклет (то есть первый этаж или фундамент) крепок. Как войдешь в этот подклет, иди в северо-восточный угол. Там каменная узкая плита. Ты эту плиту подними, под нею железная цепь и кованое кольцо. Ты его потяни, и попадешь в тайник с земляным полом. Перед тем как спуститься туда, помолись Господу нашему Иисусу Христу. Костей мертвых не пугайся, а любопытству Христа ради не поддавайся и ни за что Замолея того не трогай. (Снова этот непонятный Замолей!) Не нарушай моей отцовской воли, не то себе и всему роду человеческому хуже сделаешь. Отодвинь книгу и ... (Тут пропуск. Но сканер не виноват — на моей половине письма дефект, бумага прохудилась. Совсем маленькая дырка, на одно короткое слово. В остальном сохранность документа отменная. Судя по контексту, что-нибудь незначимое, благочестивое. Предположим: «С Бо-

гом». Но что же там такого ужасного, в Замолее этом, прикрытом рогожей? Зачем так уж сына страшать? Должно быть, какое-нибудь суеверие. Так, и вот самое главное — концовка.) *Так найдешь Ивану Либерю. Благослови тебя Христос. Писано в Кромешниках 3 мая 190-го года. Корней Фондорн руку приложил*. — Подперев рукой щеку, Николас принялся рассуждать вслух: — Это не духовная, а, скорее, некое топографическое указание, которое Корнелиус в 1682 году написал для своего сына, должно быть, в ту пору еще совсем малолетнего. На чем основано мое предположение о малолетстве Никиты? Письмо написано не по-немецки, а по-русски, значит, семьей капитан обзавелся только в России. А прибыл он сюда лишь в 1675 году, всего за семь лет до указанной даты.

Магистр вскочил из-за стола, попытался расхаживать по кухне, но через два шага уперся в стену. Потоптался-потоптался, рассеянно жестикулируя, и сел обратно.

— Безумно интересный документ! Возникает множество вопросов. Он пишет: *«Егда... меня Господь приберет, а пути на Москву не покажет»*. Это явное подтверждение версии о том, что Корнелиус действительно сопровождал Матфеева в ссылку и вернулся в Москву только вместе с опальным боярином! Уже не гипотеза, факт. Да на одном этом можно выстроить монографию!

Алтын бесцеремонно пресекла научные восторги историка:

— К черту твою монографию и твоего Матфеева! Объясни лучше, почему твой прапрадедушка, или кто он там тебе, пишет загадками — Скала Тео, этот многодетный отец-герой и прочее?

Николас пожал плечами:

— Очевидно, автор письма не хотел, чтобы смысл был понятен постороннему. Вероятно, он рассказывал своему маленькому сыну предания о роде фон Дорнов — и о родовом замке, и о предках,

поэтому Никита должен был понять смысл иносказаний. Странно, что русский летописец нашего рода Исаакий Фандорин этих легенд не пересказывает — я узнал их, только когда изучал историю швабских фон Дорнов. Очевидно, когда Корнелиус умер, Никита был еще слишком мал, не запомнил рассказов отца и не сумел передать их потомству.

— По-моему, все ясно, — заявила журналистка. — В письме твоего предка Корнея дается наводка на зарытый клад. И главный лом здесь вот в чем: кто-то из наших крутых современников всерьез верит, что этот клад можно найти и сейчас, через триста лет. Из-за этого тебя и выманили в Россию. Из-за этого отобрали недостающую половину письма. И пришить хотели тоже из-за этого.

— Предположим, — не стал спорить Николас, которого научное открытие настроило на рассудительно-академический лад. — Но зачем тогда было возвращать мне похищенное?

— А хрен их знает, — Алтын почесала переносицу, — что-то у них не склеилось... Или, скорей всего, клад ищет не одна банда, а две. При этом одна хочет тебя замочить, другая же почему-то оберегает. Тайна двух океанов. И самая главная загадка — что это за клад такой?

Фандорин покровительственно улыбнулся:

— Ну, это как раз совершенно очевидно.

Самоуверенная девица посмотрела на него с таким почтением (впервые!), что магистр поневоле приосанился. Налил из чайника воды, не спеша отпил, хотя жажда его совсем не мучила — просто хотелось потянуть прекрасное мгновение.

— Тот игнорабус — или те игнорабусы, кто заварил эту кашу, считают, что в письме Корнелиуса идет речь о легендарной Либерее, библиотеке Иоанна Четвертого. Слышала о такой?

— О библиотеке Ивана Грозного? Да, слыхала. В газетах пару лет назад кипеж был — мол, того и гляди отыщут, и тогда в России потекут молочные реки

вдоль кисельных берегов, потому что в той библиотеке раритетов на миллиарды баксов. Какие-то там древние книги и манускрипты, которые стебанутый кровосос Ваня зачем-то куда-то заныкал. Она что, действительно существовала, эта библиотека?

Фандорин состроил скептическую гримасу и заговорил тоном заправского лектора:

— Я никогда специально не занимался этой темой, но основные факты помню. После того как турки в 1453 году захватили Константинополь, бесценная библиотека византийских базилевсов, унаследованная ими еще от римских кесарей и за тысячу лет изрядно преумноженная, досталась брату последнего императора морейскому деспоту Фоме. Он вывез библиотеку в Италию, а оттуда Либерея в составе приданого его дочери Софьи, вышедшей замуж за Иоанна Третьего, попала в Москву. Кстати говоря, «либерей» — это не имя собственное, а просто «собрание книг». Что с этими сокровищами произошло дальше, никто толком не знает. Дело в том, что московские государи той эпохи книг особенно не читали. Считается, что ящики с книгами были засунуты неразобранными в один из кремлевских подвалов и пролежали там много лет. При Василии Иоанновиче из Афона выписали книжника Максима Грека, чтобы он разбирал и переводил для государя какие-то древние книги — вероятно, те самые. Потом, уже при Иоанне Грозном, кто-то из пленных ливонцев якобы видел Либерею и даже составил ее описание. Это, пожалуй, последнее более или менее достоверное упоминание о царской библиотеке. А потом она бесследно исчезла. Большинство ученых считают, что библиотека либо была раздарена по частям, либо, что вероятнее всего, сгорела во время одного из многочисленных кремлевских пожаров. Но есть и энтузиасты, которые верят, что Либерея до сих пор хранится где-нибудь в забытом подземелье Кремля, Александровской слободы или одного из почитавшихся Иоанном монастырей. За последние сто лет несколь-

ко раз затевали раскопки в Кремле, даже и при Сталине, но, разумеется, ничего не отыскиали. Ну а уж Корнелиус фон Дорн и подавно к Иоанну Грозному отношения иметь не мог — он ведь жил на целый век позже. Нет, в письме речь идет о какой-то другой «Ивановой Либерее». Эти твои кладоискатели — невежи и дилетанты, они пали жертвой заблуждения.

— За лекцию спасибо, — ответила на это Алтын. — Похоже, что фенька про библиотеку и правда туфтовая. А вот к невежам и дилетантам на твоём месте я отнеслась бы посерьёзнее. Как бы ты сам не пал жертвой их заблуждения! Мы ведь с тобой не знаем, до какой степени у них на этой Либерее поехала крыша — похоже, совсем соскочила со стропил. Допустим, один из них — Большой Сосо. Но есть и кто-то другой, с которым Сосо бодается и на которого трудился покойный Каэспэшник...

Она включила чайник, наполнив его нефilterованной водой прямо из-под крана (Николас поёжился, но промолчал), и упорхнула в комнату.

— Не ходи сюда, я переодеваюсь! — крикнула она через открытую дверь. — ...Значит, так. Сейчас выпьем чаю, жрать все равно нечего, и я мылю в редакцию. Попробую выяснить, что за фрукт этот твои Каэспэшник. Точнее, уже сухофрукт, потому что после встречи с абреками Большого Сосо он вряд ли остался в лоне живой природы. А ты, историк, сиди тихо, шевели мозгами. Может, ещё что-нибудь из письма выудишь. В холодильнике полный дзэн, придется потерпеть. Считаю, что ты в стране Третьего мира, где свирепствует голод. Я на обратном пути заскочу в магазин, чего-нибудь прикуплю. Смотри: на улицу ни ногой. И к окнам не подходи.

* * *

Через минуту после того как стремительная липутка, не присаживаясь, в два глотка выпила чашку кофе, Николайс остался в квартире один. Тоже по-

пил кофе (без сливок и сахара), рассеянно сжевал горбушку черствого хлеба, щедро оставленную хозяйкой, и стал, как велено, шевелить мозгами. Кажется, общий контур событий начинал понемногу прорисовываться сквозь туман.

Кто-то — назовем его господин Икс — узнал о документе из кромешниковского тайника. Заинтересовался упоминанием об «Ивановой Либерее», вообразил, что речь идет о мифической библиотеке Ивана Грозного и что в ополовиненном письме содержится ключ к этому бесценному сокровищу. Вернее, фрагмент ключа, потому что левая часть письма отсутствовала. Не было в кромешниковской половине и подписи, так что зацепиться Иксу было не за что.

Прошло три года, и господин Икс откуда-то узнал о статье некоего британского историка, которая сразу же заставила вспомнить кромешниковскую находку. Икс сопоставил факты, свел воедино первые строчки письма, процитированные в английской статье и убедился, что найден недостающий фрагмент «пропавшей грамоты». Дальнейшие намерения Икса очевидны: он решил выманить англичанина в Москву и завладеть недостающей половиной.

Кто же такой этот Икс?

Не историк — это понятно. Ученый не стал бы красть и подсылать убийц. Ну а кроме того, ученый знал бы, что библиотека Ивана Грозного — давно разоблаченный вымысел. Не говоря уж о том, что послание фон Дорна составлено ста годами позже.

Это бандит, человек из русской мафии. И это пока все, что можно о нем сказать. Дальше углубляться не стоит, иначе можно прийти к ошибочным выводам — слишком мало информации. Кто именно стоит за историей с письмом Корнелиуса, лучше пока оставить за скобками. Вместо этого нужно заняться самим документом.

Тут одни вопросы.

Почему Корнелиус написал письмо? Зачем разрезал его пополам? Почему одна половинка осталась в Кромешниках вместе с золотым медальоном и хрус-

тальным будильником (вещами, которые, судя по всему, капитану были особенно дороги), а вторая половинка оказалась в фамильном ларце Фандориных? Куда делся капитан после мая 1682 года? Почему не добрался до своего клада сам? И что там все-таки было, в этом кладе? Понятно, что не библиотека Ивана Грозного, но все-таки «либерей», какие-то книги.

Николас чувствовал: ему не хватает совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до далекого предка. Если б только Корнелиус дал хоть самую крошечную подсказку! Но капитан молчал. Он был близко, Николас видел, как во мраке сереет его неподвижный силуэт — в кожаном колете, в круглом шлеме, со шпагой на боку. Капитан и рад был бы шагнуть навстречу своему потомку, но мертвые этого не могут. Николас должен был преодолеть расстояние сам. Только вот как это сделать?

Он перечитал грамотку несколько раз подряд. Что за мертвые кости, которых может испугаться Никита? И почему бояться надо не их, а какого-то Замолей, прикрытого рогожей? Что такое «Замолей»?

Увы, инстинкт подсказывал магистру, что секрет Корнелиуса относится к разряду тех тайн, которые Время хранит особенно ревниво и просто так не выдаст.

Конечно, интересно было бы заняться поисками фандоринова тайника. Дом в тринадцать окон, разумеется, не сохранился, да и место, где он стоял, отыскать вряд ли удастся, так что клад навсегда утерян. Однако в процессе поисков можно было бы хоть как-то прояснить картину. Быть может, удастся выяснить, какое собрание книг во времена Корнелиуса могли называть «Ивановой Либереей». Ведь в Московии XVII века все книжные собрания были наперечет, тут явно мог обнаружиться какой-нибудь след. Возможно, речь идет о библиотеке самого Матфеева, известного книжника. Считается, что после падения всемогущего министра она была разворована. А вдруг боярин успел ее припрятать и служилый иноземец Корнелиус об этом знал? Вот это была бы сенсация!

Эх, не до сенсаций. Живым бы отсюда выбраться.

Фандорин заставил себя вернуться к безжалостной реальности. Возможно, русские мафиози, разыскивающие Либерею, прочли полный текст письма, поняли, что по такой инструкции клада не найдешь, и решили отпустить английского историка восвояси.

Возможно, но не факт. Нужно подождать, не выяснит ли чего-нибудь вездесущая Алтын Мамаева. В любом случае немедленно на самолет и в Лондон. К чертовой бабушке эту историческую Родину с ее криминальными интригами и головоломными загадками!

Правильность решения сомнений не вызывала, и Николас решил дать перетруженной голове отдых. Чем бы убить время?

Для начала неплохо бы привести в мало-мальски пристойный вид одежду.

Он кое-как отчистил пятна на брюках и пиджаке, застирал и посушил над газом воротник и манжеты рубашки, потом пришел надорванный рукав и залатал дыру на коленке. Не haute couture, но, по крайней мере, милиция на улице за бомжа не примет.

Так. Чем заняться теперь?

Фандорин посмотрел на царивший в квартире бедлам, и ему пришла в голову отличная идея: отблагодарить хозяйку за гостеприимство. Магистр разделся до трусов, вооружился тряпкой и, насвистывая, принялся приводить логово Алтын Мамаевой в порядок. Помыл полы, отдраил раковины, вытер пыль. Окна мыть не стал, памятуя о предостережении. Маловероятно, что на соседней крыше затаился убийца со снайперской винтовкой, но, как говорится, береженого Бог бережет.

Постельное белье и розовую пижаму Николас сложил стопкой. Трусики в голубой цветочек, обнаруженные под кроватью, деликатно трогать не стал. Собрал разбросанные книжки, пристроил их на полку. В глаза бросились два заглавия, повергшие непрошеного уборщика в смущение: «КАК УВЕЛИ-

ЧИТЬ СВОЙ РОСТ НА ПЯТЬ САНТИМЕТРОВ» и «101 СОВЕТ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ХОЧЕТ БЫТЬ ЛЮБИМОЙ». Фандорина охватило запоздалое раскаяние — зачем он только навязался со своей благодарностью и дурацкой любовью к чистоте! Вряд ли хозяйке будет приятно вторжение в ее приватность... Раскидать, что ли, все обратно? Но как быть с грязью и пылью, их-то обратно не вернешь!

В разгар тягостных сомнений зазвонил телефон.

— Ника, слушай меня внимательно, — раздался в трубке напряженный голос Алтын. — Я тут такое узнала... Стоп, Мамаева, по порядку... — одернула она сама себя. — Ты родился в рубашке — это мега-тонно. Знаешь, кто вчера на тебя охотился? Не какой-нибудь бычок колхозный, а киллер суперкласса! Мне его сразу по фотографии опознали. Кличка — Шурик, а настоящего имени никто не знает.

— Какое странное прозвище — Шурик, — сказал Фандорин, чтобы Алтын не подумала, будто он испугался. Ладонь, сжимавшая трубку, вдруг стала противно липкой и холодной.

— Киллер нового поколения, со своим стилем. Патриот шестидесятых: техасы, кеды, Визбор и все такое. Короче, «Кавказская пленница».

— Какая пленница? — не понял магистр. — При чем здесь пленница?

— Неважно. Послужной список у него — полный финиш. Завалил Атласа, Жмырю и Левончика — это подмосковные беспредельщики. Мой источник говорит, что братьев Отаришвили, скорее всего, тоже Шурик сделал. И президента «Святогорбанка», и председателя Лиги инвалидов. Ах, да что я тебе толкую — ты же ежик в тумане, ничего в нашей новейшей истории не смыслишь! В общем, Шурик — киллер с большой буквы. Меньше ста тонн зеленки за заказ не берет. По всему, над таким крутым мочилой должен быть хозяин, но кто — неизвестно. Что еще? Ах да, у Шурика свой почерк — не любит убивать издалека. Предпочитает работать не

взрывчаткой и не волюной с оптикой, а ножом, пистолетом, кастетом или просто руками — у него пятый дан по каратэ. Знаешь — из тех душегубов, кто любит видеть глаза жертвы.

— З-знаю, — с трудом выговорил Николас, вспомнив веселую улыбку Очкарика.

— Что ты так разволновался? — успокоила его Алтын. — Был Шурик — стал жмурик. Мальчики Сосо до него добрались.

— Да, конечно, — тихо произнес Фандорин.

— Сиди дома, жди меня. Я только заеду в наш инфоцентр, девочки обещали надыбать книжек про библиотеку Ивана Грозного и пресс-досье по ее поискам. Сильно оголодал?

— Нет, не очень...

— Ладно, потерпи.

Магистр уронил трубку на аппарат и заметался по комнате.

Шурик, этот кошмар с улицы Вязов, жив и невредим! Записка написана им, ни малейших сомнений. «Миль пардон»! Это он подбросил кейс, кто ж еще. Вчера, на набережной, преспокойно стоял, махал рукой вслед. Запомнил номер машины, поэтому и адрес отыскал без труда. Бр-р, входил сюда ночью, смотрел на них с Алтын, спящих. Почему-то не убил. Передумал? Получил другую инструкцию? Наверняка.

Неизвестно, что за игру ведет этот веселый убийца, но нельзя подвергать опасности маленькую журналистку. Она и так из-за Николаса оказалась на волосок от гибели. Выродку, который любит смотреть своим жертвам в глаза, ничего не стоит убить черноглазую девушку ростом полтора метра плюс один сантиметр, рука у него не дрогнет.

Следует немедленно уходить отсюда. Только вот как? Квартира наверняка под наблюдением. Что делать? Что делать? Что делать?

Уже сложив кейс, Фандорин еще минут десять пометался по квартире, потом взял себя в руки: сел, закинул ногу на ногу, решительно сцепил пальцы на коленях. Заставил себя успокоиться.

Значит, так.

Вывести Алтын из-под удара. Это главное. Все остальное потом.

Нужно было сказать ей, что Шурик жив и где-то рядом. Теперь поздно, у него даже нет номера ее сотового телефона.

Оставить записку?

Но скорее всего, едва он покинет квартиру, сюда наведаются. Наверняка. Убивать его пока не намерены, это ясно — значит, будут следить, или, как выражается Алтын, *пасти*. Зачем-то он им нужен — иначе к чему было возвращать кейс?

А если эти серьезные господа будут за ним следить, то непременно захотят установить здесь подслушивающую аппаратуру. Они ведь не знают, что англичанин сюда больше не вернется.

Стало быть, нужно сделать так, чтобы они об этом узнали.

Фандорин взял листок, размашисто вывел фло-мастером:

Цыпка, отоспался и ухожу.

Спасибо, что приютила. Ты даже не представляешь, как вовремя ты вчера подрулила на своей тачке. За это — особенная благодарность и лишние полсотни плюс к той сотне. И спасибо, что не задавала лишних вопросов. За это еще полсотни.

*Целую,
Коля.*

«Коля» — это хорошо. Она поймет. Не приписать ли что-нибудь еще, что предупредит ее об опасности?

Нет, нельзя считать Шурика идиотом. Сам внезапный уход Николаса и оскорбительный смысл письма должны подсказать ей, что дело нечисто. Фандорин подумал, полистал фольклорный блокнот и усугубил эффект припиской:

А перепихон был классный.

Вот так. Теперь она сообразит. Будем надеяться.

Положил поверх записки две бумажки по пятьдесят долларов. На всякий случай запомнил номер телефона, обозначенный на аппарате. Звонить, конечно, сюда будет нельзя. Разве что просто послушать голос. Убедиться, что жива.

Больше пока ничего сделать было нельзя. Как говорит Алтын, ноги в руки — и вперед, то есть в аэропорт. Если нет мест на лондонский рейс, улететь куда угодно, лишь бы подальше отсюда.

Прощай, маленькая храбрая женщина, которая мечтает вырасти на пять сантиметров и быть любимой. Пусть твои мечты сбудутся.

* * *

Перед тем, как выйти из подъезда, Фандорин набрал побольше воздуха в грудь и снова перекрестился — это уже становилось вредной привычкой.

С нарочитой неспешностью прошел мимо пожилых женщин, сидевших на скамейке и бесцеремонно на него уставившихся. Он слышал, как одна громко шепнула:

— Это Алтынкин. Ночевал.

Другая заметила:

— Ишь, каланча-то.

Не озираясь по сторонам. Глупый англичанин ни о чем не подозревает, он уверен, что чемоданчик ему вернуло Божье провидение.

Направо подворотня. Свернуть. Шагов сзади не слышно.

На пыльной, залитой солнцем улице Фандорин позволил себе оглянуться. Никого. Для верности прошел по тротуару минут пять, ничего подозрительного не заметил.

Может быть, он драматизирует? Что, если господин Икс, прочитав письмо Корнелиуса, и в самом деле утратил интерес к поискам Либереи?

Тем лучше!

Тогда так. Остановить машину. В путеводителе

сказано, что в Москве мало такси, но зато развит частный извоз. За небольшие деньги, долларов за пять, можно на попутной машине доехать с окраины до центра. А там взять настоящее такси, и в Шереметьево.

Оглянувшись (по-прежнему никаких признаков слежки), Николас стал поджидать *попутку*. Как назло, мимо ехали одни грузовики. Ну, естественно — скоро конец рабочего дня.

Наконец из-за угла вылетел ярко-алый спортивный автомобиль. Николас вскинул было руку и тут же опустил. Зачем владельцу такого шикарного экипажа пять долларов?

Но «ягуар» бесшумно затормозил у тротуара. С деликатным жужжанием сползло вниз тонированное стекло.

За рулем сидел викинг с золотистыми волосами до плеч и коротко стриженной бородкой. Васильковые глаза взирали на магистра с веселым недоумением.

— Елки-моталки, живой бритиш. Только котелка с зонтиком не хватает. В Бескудниках! What are you doing here, dear sir?¹

— Я, собственно, хотел добраться до Шереметьева, — пробормотал Фандорин, встревоженный тем, что в нем с первого взгляда виден британец.

— Не бритиш, но крутой укос под бритиша, — констатировал нордический красавец. — Ценю мастерство. Садитесь, сэр, подкину до Хаммера. А там вас до Шере-мать-его любой водила за полтинник доставит.

Машина кошачьей породы вкрадчиво взяла с места, Николаса мягко вжало в пружинистую спинку кресла.

Викинг с любопытством обернулся к нему и хотел что-то сказать, но тут заиграл марш Мендельсона (Николас читал в газете, что русские обожают устанавливать музыкальные сигналы на мобильных телефонах), и начало беседы было отложено.

¹ Что вы здесь делаете, дорогой сэр? (англ.)

— Я, — сказал блондин.

Потом, после паузы, резко произнес:

— Мало ли что Черномор сказал. Вы, Леонид Робертович, лицензию обещали? Обещали. Бабки скушали? Скушали. Отвечайте за базар, или же, выражаясь интеллигентно, исполняйте взятые на себя обязательства... Вот это другой разговор... Значит, завтра коллегия министерства? Ну, буду ждать. И учитите, это ваша заморочка, не моя. Ауф видерхерен.

Николас знал, что Черномором в чиновничьих и деловых кругах России называют самого премьер-министра, и взглянул на хозяина машины с особенным интересом. Кто он такой, если ему и глава правительства не указ? Какой-нибудь крупный промышленник или лоббист?

— Ну, что молчите, сэр? — спросил деловой человек, закончив телефонный разговор. — Плата за проезд — искрометное ля-ля. Расскажите что-нибудь. Вы кто такой?

Снова заиграл свадебный марш.

— Я, — снова произнес в трубку новорусский мацо. — ...Ты че, Толян, с клубники упал, как Мичурин?... Ага, щас. Нашел терпилу... Какие, блин, реутовские? Че ты мне гонишь?... Рамсы развести проблем нет, только не плачь потом... Ладно, Толян, забили.

Этот разговор велся совсем в иной манере, чем предыдущий. Теперь Николас и вовсе ничего не понял. Правда, выражение «развести рамсы» в блокноте имелось. На криминальном аргоне оно означало «уладить конфликт». Выходит, этот человек не политик и не бизнесмен, а уголовник?

На сей раз викинг швырнул трубку на приборную доску довольно сердито и процедил: «Козлина дешевый». Но тут же вспомнил о попутчике, белозубо улыбнулся ему и сказал:

— Пардон. Познакомиться не дают. Блейзер из «Харродса»? Рукав порван, видели?

— Да, благодарю. Я вчера неудачно упал... —

тоже улыбнулся Николас. — Наверное, теперь придется выки...

Вдруг водитель поправил зеркало заднего вида, коротко обернулся назад и перебил:

— Э, сэр, да у нас с вами хвост. Ваш или мой? Меня сейчас вроде бы пасти некому.

Фандорин тоже оглянулся и увидел близко, в каких-нибудь двадцати ярдах, светло-зеленый джип «Нива». За рулем сидел человек в очках, с соломенным чубом. Шурик!

— Это мой, — быстро сказал магистр, и сердце у него заколотилось быстро-быстро. — Послушайте, я не хочу подвергать вас опасности. Высадите меня. Или... — Он взглянул на викинга, тихо закончил: — Или просто прибавьте газу. С вашим двигателем мы от него легко оторвемся.

Сказал — и покраснел, потому что просить о такой опасной услуге совершенно незнакомого человека было недостойно, стыдно. Но ужас, всколыхнувшийся откуда-то из темных подземелий души, был сильнее всех прочих чувств. Должно быть, то же произошло и с цивилизованными пассажирами парома «Христиания», когда палубы стали крениться навстречу свинцовому холоду волн... Эта мысль помогла Фандорину совладать с приступом слабости.

— Нет, не нужно прибавлять газу, — сказал он. — Высадите меня. Это моя... заморочка, не ваша.

Викинг включил сигнал поворота и вырулил направо, в переулочек.

— На газ жать не буду, — сказал он, поглядывая в зеркало. «Нива» держалась на той же дистанции. — Нарушать ограничение скорости некрасиво. Это во-первых. Высаживать вас я тоже не буду, потому что моя тачка — все равно что мой дом. Значит, вы у меня в гостях, а своих гостей я не сдаю. Это во-вторых. Ну и в-третьих... — Он повернул еще раз, под знак «тупик». — Я кошмарно самолюбивый. Какого хрена этот урод на мне повис?

Машину качнуло — это водитель нажал на тор-

моза. «Нива» тоже остановилась, сократив дистанцию до десятка ярдов. Вокруг был пустырь, гаражи, пыльные кусты.

Видя, что отчаянный блондин собирается открыть дверцу, Николас в панике схватил его за рукав:

— Что вы делаете! Вы не знаете, что это за человек!

— А вы не знаете, что за человек Влад Соловьев, — невозмутимо ответил самоубийца. — Ладно, не психуйте, сэр. Выйдем, поговорим, как люди.

Он вылез наружу, хлопнув дверью, и не спеша двинулся по направлению к зеленому джипу.

Фандорин тоже открыл дверцу, чтобы крикнуть: «Осторожно, он вооружен!»

Не крикнул. Чтобы не выглядеть еще большим идиотом, чем он был на самом деле.

Магистру вдруг стало совершенно ясно, что он угодил в ловушку. Эти двое — странный бизнесмен и Шурик — заодно. «Ягуар» остановился возле долгового британца не случайно.

Николас взглянул на замок зажигания. Ну, разумеется, — ключи этот самый Влад забрал с собой.

Вскочить из машины, побежать через пустырь?

А, собственно, зачем? Убивать его, кажется, не собираются. Пока. Что ж, по крайней мере, объяснят, что им от него нужно.

Смирившись с неизбежным, он повернулся и стал смотреть, как встретятся сообщники.

Шурик из машины не вылез. Сидел, высунув локоть в открытое окно и с невинной улыбкой смотрел на медленно приближавшегося франта в кремовом итальянском костюме, со связкой ключей в небрежно опущенной руке. Поздороваются? Обменяются рукопожатием?

— Салям алейкум, — приветливо произнес Влад Соловьев и внезапно швырнул ключи прямо в лицо Шурику — молниеносно быстрым, точным движением.

Связка угодила сидящему точно в очки, так что

хрустнули стекла. В ту же самую секунду Влад одним скачком преодолел последние метры, еще отделявшие его от «Нивы», схватил Шурика рукой за светлый чуб и два раза сильно приложил лбом о ребро дверцы.

От неожиданности Николас просто окаменел.

Ловкий викинг распахнул дверцу, и Шурик рухнул лицом в асфальт, причем оказалось, что в правой руке, которую он до сего момента не показывал, у него зажат уже знакомый маистру пистолет с черной матовой трубкой.

Влад Соловьев взял пистолет, рассмотрел его и, не оборачиваясь, помахал Фандорину: идите, мол, сюда. Тот приблизился на плохо сгибающихся ногах, встал чуть поодаль от неподвижного тела.

— 93-я «беретка», — уважительно сообщил Соловьев. — Серьезная воляна. Сажает тройными очередями. Похоже, я вляпался в какашечную историю. Кто этот геноссе?

Он пнул носком ковбойского сапога безжизненно вывернутую руку лежащего.

Ответить Николас не успел, потому что рука вдруг ожила: схватила Влада за сапог. Шурик, не вставая, весь изогнулся, и сдвоенным ударом обеих ног подсек противника под другую щиколотку.

Соловьев грохнулся навзничь, а киллер резко поджал колени к подбородку и прыжком вскочил на ноги. Не дав викингу опомниться, с размаху ударил ботинком (сегодня поклонник шестидесятых был не в кедах, а в тяжелых туристических вездеходах) по пистолету — оружие отлетело в сторону и запрыгало по асфальту. Завершив разворот на каблуке, Шурик нанес удар в обратном направлении — целил врагу в подбородок, однако Влад увернулся, сделал кувырок через голову и выпрямился. Вся спина замечательного кремового пиджака теперь была в черных разводах.

Выставив руки перед собой чуть выше пояса, Шурик ринулся вперед. Замелькали руки, ноги, сливаясь в единый круговорот, словно лопасти вентилятора. Раньше Николас видел такую рубку только в

гонконгских фильмах и считал, что это чистой воды трюкачество. Короткие хриплые выкрики перемежались сочными звуками ударов. Видно было, что схватились два мастера рукопашного боя, но это не давало Фандорину права оставаться в стороне от схватки. Он тоже закричал во все горло и бросился на киллера. Не для того, чтобы сбить его с ног — куда там, а чтобы отвлечь на себя и хоть этим помочь обороняющемуся Соловьеву.

Помощь оказалась невеликой. Даже не обернувшись, Шурик выбросил ногу назад, попав Николасу точнехонько в пах, и магистр присел на корточки. Бескрайняя вселенная вмиг сжалась до размеров ушибленного места.

Утиным шагом Фандорин отковылял в сторону. Господи, как же ему было больно!

И тут пострадавший увидел пистолет: он лежал себе возле бровки, безучастно поблескивал под солнцем. Забыв о боли, Николас кинулся к оружию, схватил его и развернулся — в самый раз, чтобы увидеть финал впечатляющего единоборства.

Влад Соловьев, пятившийся назад под натиском вертлявого Шурика, зацепился высоким каблуком за крышку канализационного люка. Покачнулся, взмахнул руками, и немедленно получил мощнейший удар подошвой ботинка прямо в незащищенную грудь. Упал, раскинув руки, и остался лежать без движения.

— Ни с места! Руки вверх! — крикнул киллеру Фандорин, выставив вперед руку с пистолетом.

Никогда еще ему не приходилось держать боевого оружия, однако Николас знал, что где-то на рукоятке должен быть предохранитель. Если его не снять (или если *с него* не снять?), выстрела не будет.

Левой рукой магистр пошарил по гладкой поверхности справа, слева, сдвинул какой-то рычажок. Оставалось надеяться, что это и есть предохранитель. Теперь требовалась крайняя осторожность — чуть двинешь указательным пальцем, и может выстрелить.

— Руки вверх! — еще раз крикнул он Шурику, который стоял над поверженным противником и глядел на магистра со снисходительной улыбкой. Покачал головой, двинулся к Николасу.

— Стоять! — повысил голос Фандорин. — Я выстрелю! Честное слово!

Шурик честному слову явно не поверил и шага не замедлил.

Николас столько раз видел эту сцену в кино, что у него возникло явственное ощущение deja vu: ди-летант с пистолетом в дрожащей руке, и злодей, который твердо знает, что нормальный, цивилизованный человек не сможет выстрелить в упор.

— Не надо! — предупредил Николас, сам чувствуя, что в его голосе предательски звучат просительные нотки. — Остановитесь! Не надо! Не вынуждайте...

— Надо, Федя, надо, — с напускной строгостью перебил его Шурик, почему-то назвав Фандорина чужим именем, и протянул руку к ходящему ходуном стволу.

В этот миг Николас со всей определенностью понял, что никогда и ни за что не сможет пустить пулю в человека, который смотрит тебе прямо в глаза и улыбается. От ужаса и беспомощности пальцы магистра непроизвольно сжались, а пистолет вдруг взял и сам по себе глухо чмокнул три раза подряд. Очень быстро: чмок-чмок-чмок.

Шурика словно переломило надвое. Он сложился пополам, продолжая смотреть на остолбеневшего Фандорина. Губы киллера еще были растянуты в глумливой улыбке, но глаза удивленно расширились, и стало видно, что один из них, как прежде, голубой, а другой почему-то карий.

Это у него во время драки выскочила цветная линза, сказал себе Николас и попятился назад. Шурик же немного постоял в нелепой скрюченной позе и повалился боком на асфальт. Он лежал согнутый, зажимал обеими руками живот и все растягивал, растягивал губы в улыбке.

Николасу стало невыносимо страшно. И он сам не знал, чего боится больше: того, что этот человек сейчас умрет, или что он поднимется и снова пойдет на него с этой своей жуткой улыбкой.

Однако Шурик и не вставал, и не умирал — он дергал ногой в тяжелом ботинке и через ровные промежутки негромко повторял:

— А...А...А...А...

Изо рта у него стекала кровь, и уже набежала небольшая темная лужица.

Очнулся Влад. Сел, помотал головой, словно прогоняя хмель. Посмотрел на Николаса, на лежащего Шурика. Легко поднялся, подобрал связку ключей. Вытер рукавом безнадежно испорченного пиджака разбитый рот.

— Завалил гниду? — спросил Соловьев, переходя на «ты». — Круто. Слушай, Майкл Джордан, ну у тебя и дружбаны. Ты видел, как он меня метелил?

— У него пятый дан по каратэ, — объяснил Николас, не сводя глаз с раненого киллера. — Нужно «скорую помощь».

— Это точно. — Влад подошел, встал рядом. — Пятый дан? Тогда понятно. У меня-то четвертый. Ну, чего любишься? Видишь, человеку нехорошо. «Скорая помощь» у тебя, ты и домачивай.

Он кивнул на пистолет, все еще зажатый в руке Фандорина. Николас оторопело уставился на Соловьева. Неужели он предлагает добить раненого?

— Ты чего, в первый раз, что ли? — Влад покачал золотистой головой. — Тогда тем более круто. Такого волка уделал. Не менжуйся, братишка, довинчивай. Все равно отходит. Он бы нас с тобой расчитал — не моргнул... Ну! А, ладно, дай я.

Вынул оружие из вялых пальцев магистра, прицелился Шурику в голову.

— Не гляди, если такой нежный.

Надо было воспрепятствовать убийству, но Фандорина охватила странная апатия, сил хватило только на то, чтобы отвернуться.

Еще одна чмокающая очередь, и аканье прекратилось.

Соловьев обхватил Николаса за плечи и быстро повел к «ягуару».

— Все, земля, все. Ходу.

Наскоро обтер «беретту» платком, вытащил из рукоятки не до конца отстрелянный магазин, пустой пистолет кинул на асфальт. Пояснил:

— А то пацанята местные подберут, еще дел наделают. Обойму после выкину. Лезь в тачку, чудесный незнакомец. Ну, я с тобой и запопал.

* * *

На первом же светофоре Соловьев протянул руку:

— Начнем церемонию официального представления. Влад Соловьев.

Фандорин, запнувшись, назвал так:

— Нико... Николай Фандорин.

— Интересный ты человек, Коля. Просто лом у меня на интересных людей, нет мне от них никакого житья. Ты не пузырься, претензия не к тебе, а к Господу Богу. Извини, конечно, за праздное любопытство, но кого мы с тобой урыли? — Он искоса взглянул на мучнисто-белое лицо магистра истории. — По виду и прикиду ты не из деловых. Выражаясь языком дворов и мусоров, чистый ботаник. Скажи мне, ботаник Коля, как ты до жизни такой дошел, что за тобой матерые волчары с девяносто третьими «береттами» гоняются?

Очень захотелось все рассказать этому смелому, бесшабашному парню, да и долг признательности вроде бы не позволял скрытничать. Но, с другой стороны, впутывать в свои невеселые дела постороннего было бы безответственно. Влад и без того уже изрядно *запопал*. Страшный Шурик мертв, но Алтын говорила, что у него должен быть хозяин...

Соловьев выждал с полминуты, пожал плечами:

— Не хочешь — не говори. Имеешь право. Ты мне, Коля, жизнь спас. Если б ты не грохнул этого кошмарика, он бы мне точно кирдык сделал.

— Понимаете... — волнуясь, начал Фандорин. — Понимаешь, Влад, я не уверен, что имею право втягивать тебя в эту историю... Она такая мутная, запутанная. Я бы даже сказал, таинственная. И очень опасная.

— Опасная — хрен бы с ним, не привыкать, а вот чужих тайн не люблю, — поморщился Влад. — Свои девать некуда. Ты скажи, тебе зачем в Шереметьево надо? Хочешь дернуть из ЭрЭф в солнечную Антанию или гостеприимную Чехию? Устал от своих корешей, хочешь от них отдохнуть? Понимаю тебя, Коля, особенно если все они вроде этого сеньора. Может, есть проблемы? Я помогу. Как теперь говорят, долг платежом зелен. — Он коротко хохотнул и перешел на серьезный тон. — Ксива, виза — проблем нет. За сутки сделаю. Учесывай хоть в Новую Зеландию.

— Спасибо, не нужно. Документы у меня есть. — Николас достал из кармана свой паспорт, показал.

Влад открыл красно-золотую книжечку, заглянул в нее, присвистнул.

— Так ты в натур, бритиш. Ну, дела. Все равно, Коля, с Шереметьевым лучше обождать. Ты уверен, что никто не видел, как мы с тобой совершали противоправное действие? Какой-нибудь дядя из гаража в щелку любопытствовал, бабуля бутылочки собирала, алкаш в кустах писал? Больно у тебя фигура приметная с твоим баскетбольным ростом. Наша ментура, конечно, не Скотленд-Ярд, но если поступит ориентировка на дядю Степу иностранного вида, с зелеными полосами на щеках и дебильным выражением на мордалице, тебя в два счета сцапают. Посиди тихо денек-другой, а я выясню, в розыске ты или нет. Если тебе захватиться негде, проси политического убежища у Владика. Выручу. Давай, Коля, заказывай музыку — Влад Соловьев исполнит. Для нашего друга

из солнечного Альбиона прозвучит патриотическая песня «Не нужен мне берег турецкий».

И правда запел — красивым, звучным баритоном:

*А я остаюсь с тобою,
родная моя сторона,
не нужно мне солнце чужое,
и Англия мне не нужна!*

Фандорин молчал, растроганный и впечатленный. Ход его мыслей был примерно таков.

Все-таки в словах Достоевского о всемирной отзывчивости русской души есть великая и неоспоримая правда. Взять хоть этого Владика — казалось бы, маргинальный тип, по западным меркам, просто разбойник, а сколько отзывчивости и душевной широты в этом новорусском флибустьере! Как тут не вспомнить взаимоотношения Петруши Гринева с кровавым и великолепным Пугачевым. Тот тоже за заячий тулупчик отблагодарил без меры и счета, безудержный в добре так же, как в зле. Вот каких типов рождает русская земля! Тут и красота, и мощь, и бесшабашность, и душевное благородство — при абсолютном пренебрежении к закону и нормам общественной морали. Ведь только что всадил человеку в голову три пули, а ни малейших признаков рефлексии — сидит, поет.

— Ну чего, надумал? — весело спросил новоявленный Пугачев, обгоняя справа милицейскую машину. Фандорин посмотрел назад, уверенный, что блюстители порядка немедленно остановят нарушителя. Но водитель в фуражке взглянул на номера «ягуара» и лишь покачал головой.

— Мы с тобой, Влад, человека убили, — тихо сказал Николас. — И ни о чем другом я сейчас думать не могу.

Лицо викинга-флибустьера посуровело, глаза чуть прищурились, словно от встречного ветра.

— Это у тебя, Коля, от нежного английского

воспитания. Ты, наверно, в детстве короткие штанишки носил, и в школе у вас дрались только до первой крови.

— А у вас разве нет? — удивился магистр.

— Я, Коля, вырос в Черногорске. У нас, начиная с младшей группы детсада, молотились до полной отключки. Слышал про город Черногорск?

— Нет.

— Про него мало кто слышал. Параша, а не город: тринадцать шахт, двадцать винных лабазов, две туберкулезные больницы, четыре кладбища и сорок тысяч уродов, быдла, которому больше деваться некуда. И если я сейчас шарашу на «ягуаре», если у меня офис во дворце графов Добринских, двадцать шесть скважин на Ямале, вилла в Сен-Тропезе и еще много кой-чего, так это не потому, что я в школе хорошо учился. А потому, Коля, что я рано понял одну простую хреновину. — Он яростно ударил ладонью по рулю. — Если я, быдло, хочу прорваться из скотского загона типа Шахта — Магазин — Чахотка — Могила, мне придется своей башкой много заборов протаранить. Я, Коля, заборов вообще не признаю. Куда мне надо, туда и пру. Влад Соловьев отступать не умеет. Если я что-то делаю, то до упора, засаживаю по самую рукоятку. Поставил себе задачу — сдохну, но своего добыю. Только раньше те сдохнут, кто мне поперек дороги встанет. А вставали мне поперек дороги многие. И сдохли многие, только виноват в этом не я — они. И твой кореш сегодняшний тоже сам нарвался. У нас тут не Англия, но живем мы, Коля, по английскому закону. Твой земля придумал, Чарльз Дарвин. Закон такой: или они тебя, или ты их. А не хочешь жить по Дарвину — сиди в Черногорске, кушай сивуху и харкай черной пылью.

Страстная речь черногорского эволюциониста произвела на магистра должное впечатление — Николасу стало стыдно, что он вырос в прилизанном Кенсингтоне, в детстве играл на флейте, а в одиннадцать лет хотел повеситься из-за того, что сэр Александер не купил ему пони.

Впереди и справа показался комплекс серых прямоугольных зданий, блестящих полированными окнами. Перед комплексом застыл бронзовый Гермес в балетной позе.

Соловьев развернулся через сплошную разделительную полосу и остановился перед двухэтажным домом с вывеской «Кабак».

— Что это? — спросил Фандорин.

— Что написано — кабак. У меня, Коля, голова болит, потому что усопший пару раз здорово по ней вмазал. Грудь ноет. Во рту солоно, зуб шатается. Надо полечиться.

Николас удивился:

— Но ведь это не госпиталь?

— Это заведение, Коля, принадлежит мне, и тут есть все: ресторан, бар, номера, а понадобится — будет и госпиталь. К тому же «полечиться» по-русски означает — выпить немножко водки.

— Я не пью спиртного. Совсем.

— А кто пьет? — обиделся Влад, вылезая из машины. — Я же сказал: немножко. Посидим, познакомимся поближе. Помянем дорогого покойника.

* * *

Самого ресторана Николас так толком и не увидел. На лестнице, что вела из гардероба на второй этаж, их встретила очень красивая блондинка в строгом и элегантном костюме — очевидно, кельнерша или распорядительница.

— Здравствуй, Владик, — сказала она грудным голосом и мило порозовела.

— Привет, Зинок. — Соловьев посмотрел на распорядительницу с явным удовольствием. — Посади-ка нас в одиночку. Сделай там все, как надо, и чтоб не мешали. Лады?

— Хорошо, Владик, — проворковала красавица. — Я сама обслужу. Кушать будете или так, закусить?

— Ты неси, чего не жалко. Мы там решим.

Судя по столу, накрытому в отдельном кабинете, Зинку для Владика было ничего не жалко. В какие-нибудь пять минут длинный стол, накрытый на два куверта, был сплошь заставлен графинами и закусками, из которых Николаса особенно впечатлил заливной осетр с шипастой мезозойской спиной. А три монументальных бадьи с белужьей, севрюжьей и осетровой икрой в магазине «Кавиар-хаус», что на улице Пикадилли, должно быть, обошлись бы в несколько тысяч фунтов. Николас вспомнил, что последний раз по-настоящему ел вчера утром, в гостиничном ресторане (апельсиновый сок, омлет с сыром, тост), и желудок затрепетал короткими сладострастными спазмами, а во рту открылась неостановимая течь.

Зинок выстроила перед Соловьевым диковинную шеренгу из хрустальных рюмок, каждая из которых была до краев наполнена прозрачной влагой.

— Не пью два раза из одной стопки, — пояснил Влад. — Понт у меня такой. Типа наследие трудного детства. Пацаном столько водяры в круговую из горла выжрал, что теперь стал фанатом индивидуализма... Ну, чего сидишь? По первой — за то, что сидим, а не лежим, хотя могли бы.

Как было за такое не выпить? Тем более что «лежать» Фандорину, по всему, полагалось еще со вчерашнего дня — упасть с крыши архива и больше уже никогда не подняться.

— Не сомневайся, ботаник, пей, — поторопил его Соловьев. — Оно и для нервов необходимо.

Коротким, хищным броском он отправил содержимое рюмки в глотку, и Николасу оставалось только последовать примеру хозяина.

Ничего страшного не произошло. Совсем наоборот — тепло стало, легко дышать. А после того как магистр съел соленых грибков, холодца и кусочек фуагра, травмированные нервы и в самом деле оттаяли.

— За встречу двух интересных людей, которые нашли друг друга, как пуля дырку, — сказал Влад. — Давай-давай, не устраивай затор на дороге. Регулировать движение буду я. Вот так, и огурчик вдогонку...

Сейчас еще по одной, закусить — и стоп. Пока Зинуля организует горячее, я тебя определю на постой.

Оказалось, что здесь же, за поворотом коридора, имеется роскошно обставленный номер — не хуже, чем в пятизвездочном отеле.

— Ты не думай, — говорил Соловьев, — я не девок сюда вожу. Видишь, письменный стол, компьютер навороченный. Иногда лень домой в Жуковку пилить. Живу здесь день, бывает и два. И ты поживи. Завтра будет ясно, ищут тебя пожарные и милиция или нет. Ты кейс-то тут оставь, никто его не возьмет.

— А пожарные почему? — спросил Фандорин, сделав вид, что не расслышал про кейс. После двукратной пропажи заветного чемоданчика не хотелось расставаться с ним ни на минуту.

— Забыл, что ты советский человек, — махнул рукой Влад. — Больно лихо по-русски чешешь. Стишок был такой, в детском саду. Короче, ищут все — и пожарные, и милиция — какого-то отморозка. Не помню, что он там отмочил. Наверно, подпалил что-нибудь. Да хрен с ним. Хату ты видел, дорогу запомнил. Теперь пойдем назад. Пора знакомиться ближе.

С Николасом происходили удивительные, но не лишённые приятности события. Он сидел, подперев голову, за столом, слушал, как снизу, из ресторана, доносятся звуки аккордеона и славный, хрипловатый голос поет хорошую песню про дороги, пыль, туман и холода-тревоги. Блейзер висел на спинке стула, душитель-галстук был перемещен с шеи магистра на горлышко бутылки. Пространство вокруг слегка покачивалось и подплывало, но это нисколько не расстраивало Фандорина — пусть подплывает. Николас знал, что он не вполне трезв, а столь правильная самооценка свидетельствовала о том, что он не так уж и пьян. Секрет был прост: благоразумие и предусмотрительность. Не пить всякий раз, когда закаленный Влад опрокидывает рюмку, а прорезать — дважды пропустил, потом выпил; дважды

пропустил — выпил. Правда, Зинок выставила перед флибустьером уже третью шеренгу...

Познакомиться ближе вполне удалось. Фандорин теперь знал про нового друга все: Влад Соловьев — генеральный управляющий холдинга «Черная гора», в который входят нефтегазовый концерн «Блэк маунтин», парфюмерные магазины «Моннуар», пивной завод «Шварцберг», завод по сборке компьютеров «Курояма» и сеть увеселительных заведений «Монтенегро» (к которой, в частности, относится и замечательный кабак «Кабакъ»).

Раскрылась во всей своей славянской беспредельности и душа генерального управляющего.

— Жить, Коля, надо с хрустом, как яблоко грызешь, — говорил Влад, размахивая румяным крымским яблочком. — Чтoб сок во все стороны летел. Иначе нé хрена и кислород переводить. Ты что, думаешь, офис на Волхонке — это предел мечтаний Влада Соловьева? Шишкебаб! Унд морген ди ганце вельт¹, понял? Конечная цель ничто, движение — все, понял?

— Понял, — кивнул Николас, с интересом наблюдая, как стол слегка приподнимается над полом и опускается обратно, приподнимается и опускается — прямо спиритизм какой-то. — Я, Владик, понял одно. Ты — цельная натура, ты человек Возрождения. И я тебе завидую. — Магистр горько махнул рукой. — У тебя размах, у тебя ветер в ушах, у тебя фейерверк. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Владик, конечно, отлично все понимал — даже лучше, чем сам Николас. Человек Возрождения положил другу руку на плечо, с треском съел яблочко и предостерегающе покачал пальцем:

— Вот тут, Коля, ты не прав. Завидовать никому нельзя, гиблое это дело. Завидует тот, кто не своей жизнью живет. Если ты живешь своей жизнью, если делаешь то, для чего тебя Бог создал, — он ткнул куда-то в потолок, — ты никому завидовать не бу-

¹ А завтра — целый мир (нем.).

дешь. Я с тобой сейчас без лажи говорю, без пацанства, а по чистоте. Вот ты кто, историк?

— Историк, — кивнул Николас и отпил из рюмки.

— Так и будь историком. Чего тебе завидовать Владу Соловьеву? Я ведь, Коля, лихой человек. Разбойник. Я себе рано или поздно шею сверну. С хрустом, как и жил. А ты давай, книги пиши. Открытия там делай. — Он неопределенно покачал вилкой в воздухе. — У вас в ис... исторической науке бывают открытия? Бывают? Вот и давай, ломи по полной, засаживай по рукоятку. Иначе какой ты на хрен историк?

Как это верно! Фандорин даже головой замотал. В этот самый миг он принял решение, которое показалось ему простым и естественным. Да, он был нетрезв, но от этого решение не становилось менее верным. Ведь правильность выбора сознаешь не мозгом, а сердцем. Разум может ошибиться, сердце же — никогда.

Нельзя оставлять Корнелиуса одного, безгласно тянущего из мрака руку потомку. Нужно не трусить и не отступать, как не трусит и не отступает Влад. Как Николасу жить дальше, как чувствовать себя полноценным человеком и относиться к себе с уважением, если он отступится от этой тайны, откажется от первого настоящего дела, которое подарила ему судьба?

Задохнувшись от полноты чувств, Фандорин тихо сказал:

— Да, Влад, у нас бывают открытия. Еще какие. Я тебе сейчас такое расскажу...

Он наклонился вперед, чтобы поведать другу про завешание Корнелиуса фон Дорна, про Либерею и про боярина Матфеева, но тут в кабинет заглянула Зина, она же Зинуля и Зинок: подняла с пола упавшую салфетку, осторожно сняла с Влодова плеча невесть как туда попавшее перышко зеленого лука и бесшумно удалилась.

— Владик, а ведь она в тебя влюблена, — гром-

ким шепотом сообщил Николас, когда красавица вышла. — Ей-богу. Ты видел, как она на тебя смотрит? О-о, дело тут не в том, что у тебя много денег. Поверь мне, она от тебя без ума.

Соловьев заинтересованно оглянулся на дверь.

— Кто, Зиночка? Нет, ты серьезно? Понимаешь, Коль, у меня принцип: никаких фиглей-миглей с персоналом, а то не работа — бардак получается. Зина тут в «Кабак» администратором. Толковая, я хотел ее на казино кинуть. Золото баба. Слушай, ты в самом деле думаешь, что она?..

Николас приложил руку к груди и для вящей убедительности закрыл глаза.

— Сто пудов. Счастливый ты человек, Владик. И денег у тебя без счета, и красивые женщины тебя любят.

— Это правда, — не стал спорить генеральный управляющий «Черной горы». — А знаешь, почему? Потому что я к ним легко отношусь — и к деньгам, и к телкам. Пардон — к женщинам. Тут, Коль, целая философия, я про это много думал. Деньги — они на самом деле живые. И им в нас, мужиках, нравится то же, что лялькам... Пардон — женщинам. И к бабам, и к бабкам нужно относиться легко, весело, но бережно. Невнимания и небрежности они не прощают, понял? Часто говорят: мистика денег, тайна женской души. Не верь. Нет никакой тайны, там все просто и понятно. Ты, главное, веди себя с ними, как к добрыми корешами. Не хами, но и не делай из них фетиша. Ферштеест ду одер нихт?¹ Любить их можно, и очень даже можно, но не слишком доставай их своей любовью, придерживай. И они сами к тебе потянутся.

— Кто — деньги или женщины? — уточнил Фандорин, слушавший с чрезвычайным вниманием.

— Оба. То есть обе. — Соловьев задумался над грамматикой, но так ничего и не придумал. — Извини, Коль. На философию повело. Ты мне хотел что-то рассказать.

¹ Понял или нет? (нем.)

Па-па-па-пам! Па-па-па-пам! — запищал свадебный марш, в десятый если не в пятнадцатый раз за вечер. Николаса не уставало поражать, как по-разному разговаривает Соловьев со своими невидимыми собеседниками: то на малопонятном, но интригующем блатном жаргоне, то с изысканными речевыми оборотами (вроде «не сочтите за труд» и «буду вам бесконечно признателен»), то по-английски, то по-немецки, то вообще на каком-то тюркском наречии.

«Ренессансный тип, Бенвенуто Челлини», — думал Николас, любясь тем, как артистично Влад опрокидывает стопку и одновременно слушает телефон. Обычно разговор продолжался не более минуты, но на сей раз беседа что-то затягивалась. Соловьев нахмурился, забарабанил пальцами по столу.

— ...Это точно? — сыпал он короткими вопросами — ...И имя, и фамилия?.. А тормознуть нельзя?.. Кто-кто?.. Тот самый?.. Египетская сила! Ну, тогда все, капут. Понесет отстой по трубам... У кого на контроле?.. У самого?.. — И дальше в том же духе.

Фандорин нетерпеливо ждал. Сейчас он расскажет Владу такое, что тот поймет: занятия историей могут быть приключением не менее авантурным, чем удалой российский бизнес.

— Вот что, Коля, — сказал Влад, закончив разговор. Его глаза смотрели на Николаса серьезно и трезво, будто трех рюмочных шеренг не было и в помине. — Дело пахнет крематорием. Мой человечек звонил, из ментуры. Я ему, как мы сюда приехали, звякнул, велел проверить, нет ли геморроя. Ну, в смысле, засветились ли мы с тобой, не попали ли в розыск.

— Что, попали? — похолодел Фандорин.

Соловьев мрачно ответил:

— Я — нет, а ты — да. Никто нас там не видал. Во всяком случае, свидетели пока не объявились. Но мы с тобой, Коля, облажались, как последние бакланы. Не обшмонали покойничка. А у него, суки аккуратной, в блокнотике твоя фотокарточка, и на обороте написано: «Николас Фандорин», плюс название гостиницы и еще какой-то адрес на Пироговке. Так что

извиняйте, мистер Фандорин, российская граница для вас теперь на запоре. — Влад вздохнул. — Ты в розыске, Коля, и в ломовом — по высшему разряду.

— Почему по высшему? — слабым голосом спросил Николас. Потянулся за рюмкой, но отдернул руку — мозги и так едва слушались, а между тем дело обретало уж совсем скверный оборот.

— Дело на контроле у министра. Ты хоть знаешь, кого мы с тобой кончили? — нервно улыбнулся Влад. — Нет? Ну, тогда считай вышеизложенное хорошей новостью, потому что сейчас будет плохая. Этот чудила с «береттой» — сам Шурик, король мокрошного заказа. На дядю Васю из Конотопа он быковать не стал бы. Думаю, за Шурика на тебя сейчас такие люди обидятся, что рядом с ними МВД и МУР покажутся мамой и папой...

Фандорин яростно потер ладонью лоб, чтобы окружающий мир перестал легкомысленно покачиваться.

— Я должен сдать властям. Объясню, как все произошло. Это была самооборона.

— Ну да, — кивнул Соловьев. — Самооборона: три контрольных в черепок. Или ты скажешь ментам, что это твой друг Владик его домачивал?

— Что ты! — в ужасе вскричал Николас. — Я про тебя вообще ничего говорить не буду! Скажу, что остановил первую попавшуюся машину, что номера не запомнил, водителя не разглядел, что...

— В МУРе не фраера сидят. Ты пообъясняй им, откуда у английского историка знакомые вроде Шурика и в каких кембриджах тебя научили суперкиллера из его же собственной волины компостировать.

Фандорин повесил голову. Ситуация представлялась совершенно безвыходной. Сдаться милиции — значит, подвести человека, который пришел на помощь в трудную минуту. Не сдаться — превратиться в беглого преступника.

— Короче, так! — Влад стукнул кулаком по столу — две пустые рюмки перевернулись, из трех полных расплескалась водка. — Мне что Шурик, что

МУрик, что министр Куликов. Будешь припухать здесь столько, сколько надо. А как поутихнет, я тебя через Турцию по фуфловой ксиве отправлю. Мусора — хрен с ними, они тебя тут не найдут. Я тех, других опасаюсь. Кто Шурика с поводка спустил. Говори, Коля, все, что знаешь, не томи. Я должен прикинуть, откуда ждать наката, чтоб вовремя окопаться.

Николас смотрел на красивого человека Влада Соловьева и молчал. Сегодня у магистра истории был вечер мужественных решений. Недавно он принял одно, отчаянное по своей смелости, а теперь вызревало второе, еще более безрассудное.

Не будет он ничего рассказывать храброму флибустьеру. И убежищем его не воспользуется. Потому что это было бы чудовищной подлостью. Достаточно того, что он втянул в эту страшную историю Алтын. Что же он, совсем подонок, губить тех, кто ему помогает?

Поступить с Владом порядочно и честно можно было только одним способом — исчезнуть из его жизни, не подвергать смертельной опасности.

— Что молчишь, пенек ты английский? — взорвался Соловьев. — Думаешь, я тебя прикрыть не сумею? Сумею, не дрожи. Ты не смотри, что я без охраны езжу. Не признаю телохранителей. Свое тело белое я как-нибудь сам сохраню. А если не сохраню, две копейки мне цена. Но бойцы у меня есть, броневые. Я их из Черногорска импортирую, так что они на меня, как на Господа Бога, молятся... Ты чего такой белый? Замутило?

А побледнел Николас оттого, что понял: не отпустит его Соловьев. С точки зрения его флибустьерской этики это было бы предательством. Удержит попавшего в беду друга, хоть бы даже и насильно. Запрет под замок, в номер с мебелью красного дерева и *навороченным* компьютером — церемониться не станет. Допускать этого нельзя.

Эффективнее всего срабатывают самые простые уловки. Николас вспомнил, как ловко он ушел от

мистера Пампкина, многоопытного советника по безопасности.

— Да, мутит, — сказал магистр, рванув ворот рубашки. Поднялся, нарочно пошатнулся (чемоданчик держал в руке). — Нехорошо. У меня бывает — приступы аллергии. Я в туалет.

— А кейс тебе зачем?

— Там таблетки, — соврал Николас. — Сейчас приму, и пройдет.

Для правдоподобия блейзер пришлось оставить на стуле. Там, во внутреннем кармане, паспорт. Зачем ему теперь паспорт? Вот бумажник в кармане брюк — это хорошо.

Вышел в коридор. Сбежал вниз по лестнице. Из ресторана неслись протяжные звуки песни «По диким степям Забайкалья». Пели два голоса — один все тот же, хрипловатый, мужской; другой мелодичный, женский. Красиво выводили, но сейчас было не до песен.

Помахать рукой Зинуле, улыбнуться. Швейцару сунуть бумажку.

Все!

Ночь. Оказывается, уже ночь.

Ай да Николас, ай да ловкач, всех перехитрил — как Колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел.

Как похолодало-то. Марш-марш! Подальше от «Кабака»:

По ди-ким сте-пям Забай-калья! Левой, левой!
Раз-два!

Приложение:

Лимерик, сочиненный нетрезвым Н. Фандориным вечером 15 июня, во время побега из «Кабака»:

*Пройдоха и ловкий каналья,
А также законченный враль я.
Одна мне отрада
Бродить до упада
По диким степям Забайкалья.*

Глава десятая

Дом в тринадцать окон. Волшебные свойства кости единорога. Корнелиус узнает новые слова. Тайна Философского Камня. Чужие разговоры. Иван Артамонович рассказывает сказку. Нехорошо получилось.

Сержант Олафсон заслужил бочонок пива, мушкетеры Салтыков и Лютцен — по штофу водки. За то, что быстро бегают — так объявил им капитан фон Дорн, немного отдышавшись и вернувшись от небесных забот к земным.

За спасение от верной гибели можно бы дать и куда большую награду, но надо было блюсти командирскую честь. Когда из-за угла церкви с железным лязгом выбежали трое солдат, страшного татя в клобуке словно Божьим ветром сдуло. Только что был здесь, уж и кинжал занес, а в следующий миг растаял в темноте, даже снег не скрипнул. Солдаты разбойника и вовсе не разглядели — только ротного начальника, с кряхтением поднимавшегося с земли. Не разглядели — и отлично. Незачем им смотреть, как ночной бандит их капитана ногами топчет.

Адам Вальзер — тот, конечно, все видел, но языком болтать не стал. Да к нему от пережитого страха и речь-то вернулась не сразу, а лишь много позже, когда в караульной ему влили в рот стопку водки.

— Я сердечно благодарен вам, господин капитан фон Дорн, за спасение. — Аптекарь схватил Корнелиуса за руку — пожать, но вместо этого, всхлипнув, сунулся с лобзанием, и раз-таки чмокнул в костяшки пальцев, прежде чем капитан отдернул кисть. — Я старый, слабый человек. Меня так легко убить!

И все знания, все тайны, которыми я владею, навсегда исчезнут. Мой разум угаснет. О, какая это была бы потеря!

Фон Дорн слушал вполуха, озабоченный совсем другой потерей. Из карманного зеркальца на безутешного капитана шерился дырявый рот. И это на всю жизнь! Не говоря уж о том, что единственное преимущество перед блестящим князем Галицким безвозвратно утрачено. Теперь никогда больше не улыбнешься дамам, не свистнешь в четыре пальца, не оторвешь с хрустом кусок от жареной бараньей ноги... Черт бы побрал этого лекаря-аптекаря с его излияниями, лучше б его тихо прирезали там, в переулке!

— Я дам вам солдат. Проводят до дома, — буркнул Корнелиус и чуть не застонал: он еще и шепелявил!

— Милый, драгоценный господин фон Дорн, — переполошился Вальзер. — А не могли бы вы проводить меня сами? У... у меня есть к вам один очень важный разговор. Интереснейший разговор, уверяю вас!

При всем желании Корнелиус не мог себе представить, какой интересный разговор возможен у него с этим сморчком. О клистирных трубках? Об ученых трактатах?

— Нет. Служба, — коротко, чтоб не шепелявить, отрезал капитан. Черт! «Шлужба»!

Вдруг тон аптекаря переменился, из молящего стал вкрадчивым.

— Бросьте вы любоваться на осколки зубов. Я вставлю вам новые зубы, белее прежних! И совершенно бесплатно. У меня остался кусочек кости африканского единорога, берег для самых высоких особ, но для вас не пожалею.

Капитан так и дернулся:

— Зубы можно вставить? Вы не шутите?

— Ну конечно, можно! Я нажил здесь, в Москве, неплохое состояние, делая замечательные ис-

кусственные зубы для зажиточных горожанок — из моржовой и слоновой кости, а особенным модницам даже из шлифованного жемчуга!

От внезапно открывшихся горизонтов Корнелиус просветлел и лицом, и душой.

— Из жемчуга — это прекрасно! Я тоже хочу из жемчуга!

Вальзер поморщился:

— Единорог гораздо лучше. Что жемчуг? Через год-другой раскрошится, а рог риносероса будет служить вам до гроба. И не забывайте, что писали древние о магических свойствах единорога. Его кость приносит удачу, оберегает от болезни, а главное — привораживает женские сердца.

Аптекарь хитро подмигнул, и капитан сразу же сдался:

— Да, единорог — это то, что мне нужно. Ну, что вы сидите? Поднимайтесь, идем! Так и быть, я провожу вас. Когда вы изготовите мне новые зубы?

— Если угодно, нынче же, во время разговора. Я удалю корни, сделаю слепок, выточу новые зубы и вставлю. Кусать ими антоновские яблоки вы, конечно, не сможете, но улыбаться девушкам — сколько угодно.

Черт с ними, с антоновскими яблоками. Корнелиус пробовал — кислятина.

Идти оказалось далеко — за стену Белого Города, за Скородомский земляной вал, но не на Кукуй, где проживали все иностранцы, а в обычную русскую слободу.

— Не удивляйтесь, — сказал Вальзер, едва поспевая за широко шагающим капитаном. — Приехав в Московию, я первым делом перекрестился в местную веру, и потому могу селиться, где пожелаю. Там мне спокойней, никто из соотечественников не сует нос в мои дела.

Корнелиус был потрясен. Ренегат! Вероотступник! А с виду такой славный, душевный старичок.

— Покороблены? — усмехнулся Адам Вальзер. — Напрасно. Я этим глупостям значения не придаю. Бог у человека один — разум. Все прочее — пустое суеверие.

— Любовь Христова суеверие? — не выдержал фон Дорн. — Божьи заповеди? Спасение души?

Не стал бы ввязываться в богословские споры, но уж больно легко отмахнулся аптекарь от Иисусовой веры.

Вальзер охотно ответил:

— Суеверие — думать, что от того, как ты молишься или крестишься, зависит спасение души. Душу — а я понимаю под этим словом разум и нравственность — спасти можно, только делая добро другим людям. Вот вам и будет любовь, вот вам и будут Моисеевы заповеди. Что с того, если я в церковь не хожу и чертей не боюсь? Зато, мой храбрый господин фон Дорн, я бесплатно лечу бедных, и сиротам бездомным в куске хлеба не отказываю. У меня подле ворот всегда ящик с черствым хлебом выставлен.

— Почему с черствым? — удивился Корнелиус.

— Нарочно. Кто сытый, не возьмет, а кто по-настоящему голоден, тому и черствая крошка в радость.

Потом шли молча. Фон Дорн размышлял об услышанном. Суждения герра Вальзера при всей еретичности казались верными. В самом деле, что за радость Господу от человека, который тысячу раз на дню сотворяет крестное знамение, а ближних тиранит и мучает? Разве мало вокруг таких святош? Нет, ты будь добр и милосерден к людям, а что там между тобой и Богом — никого не касается. Так и старший брат Андреас говорил, Божий человек.

Пожалуй, Корнелиус уже не жалел, что ввязался из-за маленького аптекаря в ненужную потасовку — тем более что место утраченных зубов вскоре должны были занять новые, волшебные.

Посреди темной, состоявшей сплошь из глухих заборов улицы аптекарь остановился и показал:

— Вон, видите крышу? Это и есть мой дом. — Хихикнул, поправил заиндевшие очки. — Ничего особенного не примечаете?

Фон Дорн посмотрел. Дощатый забор в полтора человеческих роста, над ним довольно большой бревенчатый сруб с покатой крышей. Темные окна. Ничего особенного, вокруг точно такие же дома.

— Окна посчитайте.

Посчитав узкие прямоугольники, Корнелиус произвольно перекрестился. Чертова дюжина!

— Это зачем? — спросил он вполголоса.

Вальзер открыл ключом хитрый замок на калитке, пропустил капитана вперед.

— И на первом, каменном этаже тоже тринадцать. Отлично придумано! Я среди здешних жителей и без того колдуном слышу — как же, немец, лекарь, травник. А тринадцать окошек меня лучше любых сторожевых псов и караульщиков стерегут. Воры стороной обходят, боятся.

Он довольно засмеялся, запер калитку на засов.

— Слуг у меня теперь нет. Было двое парней, да остались там, на снегу лежать, — горестно вздохнул Вальзер. — Глупые были, только им жрать да спать, а все равно жалко. Один приبلудный, а у второго мать-старушка на посаде. Дам ей денег, на похороны и на прожитье. Теперь новых охранников трудненько будет нанять. Вся надежда на вас, герр капитан.

К чему он это сказал, Корнелиус не понял и расспрашивать не стал. Хотелось, чтоб аптекарь, он же лекарь, поскорей занялся зубами.

Дом стоял на белом каменном подклете, до половины утопленном в землю и почти сливающимся с заснеженной землей. Спустившись на три ступеньки, Вальзер отворил кованую дверцу и на сей раз вошел первым.

— Осторожней, герр капитан! — раздался из темноты его голос. — Не напугайтесь!

Но было поздно. Корнелиус шагнул вперед, под-

нял фонарь и окаменел: из мрака на него пялился черными глазницами человеческий скелет.

— Это для анатомических занятий, — пояснил Вальзер, уже успевший зажечь свечу. — Его, как и меня, зовут Адам. Я держу его в сенях для дополнительной защиты от воров — вдруг кто-нибудь из самых отчаянных не устрашится чертовой дюжины или, скажем, не умеет считать до тринадцати. Входите, милости прошу.

Он зажег еще несколько свечей, и теперь можно было разглядеть просторную комнату, верно, занимавшую большую часть подклета. Диковин здесь имелось предостаточно, одна жутче другой.

На стене, над схемой человеческого чрева, висела большущая черепаха с полированным панцирем. Слева — огромная зубастая ящерица (крокодил, догадался Корнелиус). На полках стояли желтые людские черепа и склянки, где в прозрачной жидкости плавали куски требухи — надо думать, тоже человеческой. Повсюду на веревках были развешаны пучки сухой травы, низки грибов, какие-то корешки. Ни иконы, ни распятия Корнелиус не обнаружил, хотя нарочно осмотрел все углы.

— Тут у меня и приемный покой, и аптека, — объяснял хозяин, устанавливая меж четырех канделябров чудной стул — с ремешками на подлокотниках.

— Это зачем? — опасливо покосился фон Дорн на пыточного вида седалище.

— Чтоб мои пациентки не бились и не дергались, — сказал Вальзер. — Но вас я, конечно, привязывать не стану. Для мужественного воина, как и для философа, боль — пустяк, не заслуживающий внимания. Простой зуд потревоженных нервов. Садитесь и откройте пошире рот. Отлично!

Корнелиус приготовился терпеть, но пальцы лекаря были ловки и осторожны — не трогали, а скользили, не мучили, а щекотали.

— Очень хорошо. Удар был так силен, что оба

корня расшатаны. Я легко их выдерну... Какие превосходные, белые зубы — словно у молодого льва. О, вы настоящий храбрец! Знаете, я человек робкий, я не понимаю природы бесстрашия. Храбрые люди так легко и безрассудно рискуют своей жизнью, совершенно не думая о последствиях! Ведь малейшая ошибка — и все. Чернота, небытие, всему конец. Девять месяцев в материнской утробе, долгое и трудное взросление, счастливое избавление от мириада болезней и опасностей — и все это растоптано, перечеркнуто из-за одного неразумного шага. Гибнет целый мир, данный человеку в ощущениях и работе рассудка! Ведь умрешь — и не узнаешь, что будет завтра, через год, через десять лет. Никогда больше не увидишь весеннего утра, осеннего вечера, травяного луга, стелящегося под ветром! Как вы непростительно, преступно глупы, господа смельчаки! И все же я восхищаюсь вашей глупостью. Она великолепна, эта бесшабашность, с которой человек из-за прихоти, вздора, каприза отказывается от всех даров жизни и самого бытия! Воистину лишь царь вселенной способен на такое расточительство! Шире рот, шире!

Корнелиус замычал, ибо лекарь вдруг ухватил его чем-то железным — показалось, что прямо за челюсть — и потянул.

— Один вынут. Р-раз! Вот и второй. Прополощите рот водкой и выплюньте в миску.

Как следует погоняв меж щек изрядный глоток водки, выплевывать ее капитан, конечно, не стал — проглотил и сразу потянулся к бутылке выпить еще, но Вальзер не дал.

— Довольно. Я хочу, чтобы вы внимали мне с ясным рассудком. Я собираюсь сообщить вам нечто такое, что изменит всю вашу жизнь.

Аптекарь взволнованно поправил очки, испытующе посмотрел фон Дорну в глаза.

— Надеюсь, изменит к лучшему? — пошутил тот.

Вальзер задумался.

— Прежде чем я отвечу на этот вопрос, скажите, герр капитан, есть ли в вашей жизни какая-нибудь великая тайна, которую вы пытаетесь разгадать?

— Великая? Слава богу, нет. — Корнелиус улыбнулся. — Разумеется, кроме самой жизни.

— Тогда считайте, что до сих пор вы по-настоящему не жили, — очень серьезно, даже торжественно сказал Вальзер. — Человеческая жизнь обретает смысл, только когда в ней возникает Великая Тайна. Слушайте же. Вы первый, кому я решил открыться. Если б я верил в Бога, то счел бы, что вас послал мне Господь. Но Бога нет, есть только слепой случай, а стало быть, спасибо слепому случаю.

Фон Дорн почувствовал, что ему передалось волнение собеседника, и шутить больше не пытался — весь обратился в слух.

— Вы храбрый, сильный, великодушный рыцарь. У вас живые, умные глаза. Как редко соединяются в людях эти драгоценные качества: сила, великодушные и ум. Возможно, я совершаю непоправимую ошибку, доверяясь вам, но ведь если б вы не кинулись с такой самоотверженностью спасать меня, я все равно уже был бы мертв. — Вальзер содрогнулся. — Монахи выпотрошили бы меня заживо, попытались мою тайну, а потом бросили бы на поклёв воронам.

— Монахи? А я думал, это обычные грабители, которые нацепили черные ряссы, чтобы их было не видно в темноте.

— Разве вы не узнали Юсупа? — удивился аптекарь. — Вы же были с ним лицом к лицу.

— Какого Юсупа? Вы имеете в виду ту каналью, что вышибла мне зубы? Нет, лица я не разглядел — луна светила ему в спину. Разве он мне знаком?

— Это же Иосиф, подручный митрополита Антиохийского!

— Вы хотите сказать, что на вас напали люди Таисия?

Корнелиус вспомнил, как высокопреосвященный шептался о чем-то с чернобородым аскетом, и тот сразу выскользнул за дверь. Нет, это было совершенно невозможно.

— Не может быть, — затряс головой капитан. — Такой ученый муж, служитель Божий. Вы ошибаетесь!

— Кто служитель Божий, Юсуп? — Вальзер смеялся. — Не хотел бы я встретиться с его богом. Юсуп — сириец, хашишин, главный доверенный Таисия, исполнитель всех его темных дел.

— Хаши... Кто?

— Хашишин. Есть на Востоке такой тайный орден. Его членов сизмальства готовят к ремеслу убийцы. Эти люди верят, что могут достичь райского блаженства, если будут убивать по велению своего имама. Все тайные убийства Леванта и Магриба совершаются хашишинами, они мастера своего кровавого дела. У них нет ни семьи, ни обычных человеческих чувств и пристрастий — только курение хашиша да верность имаму.

— Да, я что-то слышал про этих фанатиков, — кивнул фон Дорн. — Их еще называют ассасинами. Но только при чем здесь его высокопреосвященство?

— Много лет назад Таисий выкупил Юсупа у антиохийского паши, спас от мучительной казни — сдирания кожи заживо. С тех пор Юсуп считает его своим имамом и предан ему как пес. Знаете, как Таисий достиг своего нынешнего положения? Все его недоброжелатели и соперники чудесным образом отправлялись в мир иной. Стоило Таисию пожелать епископской кафедры в Салониках, и тут же освободилась вакансия — архиерей ни с того ни с сего свернул себе шею, упав ночью с кровати. Так же досталась греку архиепископская митра, а после и митрополитская. О, я многое знаю про их с Юсупом дела! Когда Таисий ставит перед собой цель, он не останавливается ни перед чем. Ради Либерии этот

хищный зверь разорвет меня в клочья. А ведь он еще не знает про Замолей!

— Либерея? Замолей? — нахмурился Корнелиус на новые слова. — Что это или кто это?

Адам Вальзер сбился, потер пальцами лоб.

— Простите меня, друг мой. Я перескакиваю с одного на другое и только путаю вас. Сейчас, сейчас я успокоюсь и расскажу все по порядку. Знаете что? Я буду говорить и одновременно делать вам зубы — это поможет моему разуму выстроить последовательную цепочку изложения. Вначале же скажу лишь одно: речь пойдет о величайшем сокровище из всех ведомых человечеству.

Это предупреждение мудрый аптекарь, несомненно, сделал для того, чтобы капитан выслушал рассказ с подобающим вниманием.

Уловка подействовала — Корнелиус всем телом подался вперед.

* * *

— Величайшее сокровище? — спросил фон Дорн, не только пришепывая, но еще и как-то вдруг осипнув. — Вы говорите о золоте?

Вальзер рассмеялся — не весело, а скорее горько.

— Вы полагаете, герр капитан, что на свете нет ничего ценнее золота?

— Почему же, есть. Драгоценные камни, например. Алмазы, сапфиры, смарагды.

— Что ж, — аптекарь взял какие-то костяные рогульки и загадочно усмехнулся, — есть там и драгоценные камни, а золота столько, сколько вы пожелаете.

— Столько, сколько я пожелаю? — озадаченно переспросил Корнелиус.

— Именно так. Сколько вам нужно для полного удовольствия — пуд, сто пудов, тысяча?

Брови фон Дорна грозно сдвинулись. Кажется, герр Вальзер позволяет себе насмешничать? Аптекарь же, заметив, как изменилось лицо мушкетера,

зашелся тихим смехом — пожалуй, все же не издевательским, а возбужденным.

— Не вертите головой, мой молодой друг, вы мне мешаете. Сидите и терпеливо слушайте, я начну издалека.

Он вставил Корнелиусу в рот костяные распорки, и на этом диалог естественным образом превратился в монолог.

— Восемь лет назад я поступил профессором фармакологии и травоведения на медицинский факультет Гейдельбергского университета. Вы, конечно же, слышали об этом почтенном учебном заведении.

Фон Дорн подтверждающе угукнул — в Гейдельберге, только на теологическом факультете, учился его брат Андреас.

— Не трясите головой, сидите смирно... Условием моего договора с ректоратом было то, что в свободное от лекций и лабораторных опытов время мне будет дозволено свободно рыться в университетских архивах. В ту пору я был приверженцем галенистской терапии, изучал целебные свойства сурьмы и надеялся отыскать полезные сведения об этой удивительной субстанции в трактатах и записках знаменитых алхимиков прежних столетий. Попутно мне попадалось множество любопытнейших документов, не имеющих отношения к предмету моего научного интереса, однако человек с пытливым разумом всегда держит глаза широко открытыми — ведь никогда не знаешь, откуда забрезжит благословенный свет. И вот однажды я наткнулся на записи одного пастора, некоего доктора Савентуса, человека большой учености, знатока греческой и древнееврейской премудрости. Он жил сто лет назад.

Фон Дорн замычал — больно.

— Потерпите, здесь, в десне, застрял маленький осколок зуба. Вот так! Больше больно не будет... Этот богослов служил в Ливонии приходским священником и во время войны попал в московитский плен.

После множества приключений, которые я вам сейчас пересказывать не буду, Савентус оказался в Кремле, где предстал перед очами царя Ивана — того самого, кого впоследствии прозвали Грозным. Пастор пишет, что царь обошелся с ним милостиво и сказал, что давно ищет ученого мужа, который помог бы ему разобрать старинную библиотеку, доставшуюся государю от предков. И далее автор записок подробно излагает историю этого книжного собрания, которое он именует Либереей. Царская библиотека... Прополощите рот водкой, но только, умоляю, не глотайте.

Воспользовавшись тем, что снова может говорить, Корнелиус нетерпеливо воскликнул:

— Послушайте, герр Вальзер, к дьяволу вашу библиотеку! Рассказывайте про сокровища.

— Так библиотека и есть то самое сокровище!

Капитана охватило глубокое разочарование. Он так и знал, что этот книжный червь вывернет на какую-нибудь тоскливую чушь. Нашел, кого слушать всерьез, развесил уши!

Вальзер снова засмеялся.

— У вас удивительно выразительная мимика, герр фон Дорн. Сейчас я изготовлю слепок из воска. Пошире рот и не вздумайте шевелиться.

«Пусть болтает, — думал Корнелиус, пока лекарь залеплял ему десны вязким и горячим, — лишь бы сделал хорошие зубы».

— Либерейя — это та самая библиотека византийских императоров, в основу которой легло собрание великой Александрийской библиотеки и сочинения первых христианских вероучителей. Двести лет назад принцесса София, племянница последнего кесаря, привезла великому герцогу московитов это сокровище в приданое. Невежественные цари книгами интересовались мало, и до Ивана библиотека так и пролежала в сундуках почти нетронутой. За полвека до Савентуса к книгам допустили ученого афонского монаха Максимуса, но разобрать библиотеку до конца не дали. А между тем Савентус пишет, что в

сундуках лежали редчайшие, а то и вовсе уникальные списки и рукописи, самая немудрящая из которых стоила бы не менее тысячи золотых дукатов. Это по ценам столетней давности, а в наш просвещенный век король французский заплатил бы за неведомую комедию Аристофана или собственноручные записки Тацита пятьдесят, нет, сто тысяч ливров!

Корнелиусу уже не казалось, что Вальзер несет чушь. Кто бы мог подумать, что древняя писанина стоит такие сумасшедшие деньги? Сто тысяч ливров!

— Но Аристофан, Тацит — это все пустяки, мой храбрый капитан. — Аптекарь наклонился вплотную к лицу Корнелиуса. В голубых глазах Вальзера восторженными огоньками горели отражения свечей. — В приданом принцессы Софьи находился сундук с тайными, запретными книгами, доступ к которому имели только сами порфириносцы. Что в том сундуке — царю Ивану было неизвестно, ибо все книги и рукописи там были на древних языках. Именно с тайного сундука Савентусу и было велено начать. Кроме некоторых первохристианских книг, почитавшихся в Византии еретическими, пастор обнаружил там греческий трактат по математике, написанный неким Замолеем, о котором Савентус при всей своей учености никогда не слыхивал.

Капитан пожал плечами — мол, я-то тем более.

— Ливонец стал изучать этот трактат и ахнул — книга оказалась ложной, вернее двойной: сверху греческий текст на пергаментных листах, а под ним другой, еще более древний, написанный на папирусе. В прежние времена так иногда делали — прятали одну книгу внутри другой... Воск застыл. Дайте-ка выну.

— А что там было, на этом секретном папирусе? — спросил фон Дорн, стирая с десен восковой налет.

Адам Вальзер воздел палец и изрек:

— Все золото вселенной. — Посмотрел на отвисшую челюсть мушкетера, засмеялся. — Я не шучу. В этой арамейской рукописи подробнейшим обра-

зом излагался рецепт изготовления Красной Тинктуры.

— Рецепт чего?

— Красной Тинктуры, или Магистериума — магического порошка, который иногда еще называют Философским Камнем.

— Того самого Философского Камня, который пытаются добыть алхимики? Камня, при помощи которого любой металл можно превращать в золото?

А может быть, аптекарь сумасшедший, подумал капитан. Ну, конечно. И ведет себя странно, и говорит чудно. Но голос здравого смысла почти сразу умолк, заглушенный бешеным стуком сердца. Все золото вселенной!

— Ну, положим, не любой, — покачал головой Вальзер, — а лишь тот, что ближе всего к золоту по субстантивной массе. Например, ртуть. Видите ли, мой славный друг, внутри каждой частицы материи дремлют мощные силы, которые лишь ждут мига, чтобы проснуться. От того, в каком положении застыли эти силы, и зависит, что это за вещество — железо, медь или, скажем, олово. Вещество, именуемое Философским Камнем, пробуждает эту потаенную силу, многократно умножает ее, так что силы материи приходят в движение и застывают, уже сцепившись иным образом. Вследствие этого процесса один элемент способен превращаться в другой. Разумеется, чем элементы родственней друг другу, тем меньше Философского Камня потребно для трансмутации.

— И в этом самом Замолее содержался рецепт добывания золота?

— Да, с подробнейшим описанием всех стадий этого процесса и даже с образцом золотых песчинок. Савентус видел их собственными глазами и испытал кислотой.

Корнелиус схватился рукой за воротник — стало душно, жарко.

— Значит, все точно? И Философский Камень — не выдумка шарлатанов?

— В своих записях пастор клянется Господом Иисусом, что золото настоящее и что рецепт достоверен. Савентусу случалось заниматься алхимией, так что он знал толк в подобных вещах.

— Погодите, герр Вальзер, я ничего не понимаю... — Капитан схватился за виски. — А почему константинопольские императоры не воспользовались рецептом? С Философским Камнем они могли бы не только восстановить Великую римскую империю, но и завоевать весь мир!

Аптекарь растерянно захлопал глазами.

— В самом деле, почему? — пробормотал он. — А, я знаю. Базилевсы почитали алхимию бесовством, дьявольской наукой. Восточная империя просуществовала тысячу лет, и за этот срок почти не изменилась. Она была похожа на муху, застывшую в янтаре. Византийцы не верили в науку, разум и прогресс, вот почему их обогнали западные и восточные варвары. В Константинополе не развивали знания, а лишь копили их без всякой пользы. Спасибо хоть, не уничтожали, а хранили — как тот запретный сундук с книгами. В этом греческие императоры были очень похожи на русских царей.

— Что же, и царь Иван тоже побоялся бесовщины?

— Не думаю. Когда Савентус сообщил ему о своей находке, царь велел выдрать пергаментные страницы лжетрактата, а папирус заковать в серебряный оклад, сплошь выложенный «огненными лалами страны Вуф» — так сказано в записках. Не знаю, что это за страна такая, но лалами в России называют рубины.

— Обложка сплошь из рубинов? — дрогнув голосом, переспросил фон Дорн. Такое сокровище представить было легче, чем какой-то неведомый Философский Камень.

— Да. Но увидев, каким алчным огнем загоре-

лись глаза царя, пастор испугался — понял, что обладателя такой тайны Иван живым не выпустит. И, пользуясь тем, что держали его вольно, Савентус бежал из Москвы — сначала в Литву, оттуда в Польшу, а осел в Гейдельберге. Там он вскоре и умер, завещав свои записки факультету. На титульном листе рукописи осталась помета ученого секретаря: «Бред и нелепица, ибо господин доктор Савентус, как ведомо всем, был скорбен рассудком. Да и его рассказы об обычаях московитов невероятны». Такой вот приговор. Неудивительно, что до меня в течение ста лет в рукопись никто не заглядывал.

— А что, если и вправду все бред и нелепица? — встревожился капитан. — Вы же не видели этого Савентуса, а ученый секретарь его хорошо знал. Выходит, всем в Гейдельберге было ведомо, что ваш пастор сумасшедший.

— Очень возможно, что от перенесенных злоключений Савентус и в самом деле отчасти повредился в рассудке, — признал Вальзер. — Но его свидетельство отнюдь не бредни. Для гейдельбергских профессоров прошлого столетия Московия была сказочной страной, я же теперь знаю точно, что пастор писал про обычаи московитов правду. Нет никаких сомнений в том, что Савентус действительно жил в Кремле и встречался с грозным царем Иваном. А если пастор столь точен во второстепенных подробностях, зачем бы ему выдумывать небылицы о Философском Камне?

Аптекарь взглянул на капитана поверх очков и взмахнул маленьким напильничком, которым обтачивал кусок белой кости — должно быть, того самого магического бивня единорога.

— Так может быть, именно в этом и проявилось сумасшествие пастора? В фантазиях про Либерею?

— Нет, не может. Прочитав записки, я стал собирать сведения о византийской императорской библиотеке и обнаружил, что и тут Савентус ничего не выдумывает. Либерея действительно попала в

Москву. А позднее, когда по дороге в Россию я сделал остановку в Дерпте, я видел список Либереи, составленный неким пастором Веттерманом — еще одним ливонцем, которому царь Иван показывал свои книжные сокровища. «Математика» Замолея значится и в Веттермановом перечне.

— Это меняет дело, — медленно проговорил Корнелиус. — Значит, сомнений нет?

— Ни малейших. — Рука Вальзера мерно водила поверх верстачка, извлекая тонкие, скрежещущие звуки. — Я полагаю, что после бегства Савентуса русский царь не смог отыскать в Москве человека достаточно ученого и проницательного, чтобы не только прочесть, но и расшифровать арамейские письма. Савентус пишет, что древний автор применил некую тайнопись, понять которую способен только опытный мастер алхимии. Известно, что в поздние годы царствования Иван любил беседовать с книжниками, и для некоторых из них это очень скверно кончалось. А потом тиран сошел с ума. Вел затворническую жизнь, прорыл под своими дворцами в Кремле и Александровой слободе множество подземных ходов, все прятал сокровища от подлинных и вымышленных врагов. В одном из таких тайников спрятал он и Либерею — никто не ведал, где именно. Царь скончался в одночасье, за игрой в шахматы. Свои тайны наследнику открыть не успел.

— Так где же искать эти сундуки?

— Здесь, в Москве, — уверенно заявил Вальзер, рассматривая выточенный двузубец. — Восьмой год я живу поисками Либереи. Завербовался в Россию, а потом изучил язык и принял православную веру, чтобы беспрепятственно читать столбцовые книги в царских архивах. У меня имеются знакомцы чуть не во всех приказах. Одних я лечил, других угощал, третьим делал подарки. И вот теперь я близок к разгадке, очень близок. Скоро книга Замолея будет моей!

— В самом деле?! — вскричал Корнелиус. Аптекарь вновь склонился над верстачком.

— Да. Недавно в старой писцовой книге приказа Государевых мастерских палат я наткнулся на запись от 7072 года о том, что водовзводных дел мастеру Семену Рыжову велено изготовить свинцовые доски, дабы покрыть ими, а после запаять полы, стены и свод некоего подвала, «а какого, сказано в документе, то ведомо лишь великому государю». Представляете?!

Фон Дорн подумал, пожал плечами.

— Мало ли что это могло быть?

— Нет, мой славный друг, запаянные свинцовые стены и своды нужны для бережения от влаги — чтоб не отсырели книги. И время совпадает: Савентус бежал из Москвы как раз осенью 1564 года — по московскому летоисчислению 7072-го! Это и был тайник для Либерей, я уверен.

— А где он находится, этот тайник, вы знаете?

Вальзер подошел к капитану.

— Кажется, знаю. Осталось кое-что уточнить. Еще чуть-чуть, и разгадка будет у меня в руках... Пожалуйста, откройте рот.

Но рот Корнелиус открыл не сразу. Посмотрел в прищуренные глаза аптекаря и задал такой вопрос:

— Если чуть-чуть, то зачем я вам нужен? Почему вы решили посвятить меня в вашу тайну? Вы не боитесь, что я захочу завладеть всем золотом вселенной один, без вас?

— Боюсь, — кротко вздохнул Адам Вальзер. — Если откровенно, то очень боюсь. Но на свете так много страшного, что приходится выбирать — чего ты боишься больше, а чего меньше. Да и потом, к чему вам книга Замолея без меня? Вы не сможете ее прочесть, и сложнейших химических метаморфоз без меня вам не произвести. Мы с вами нужны друг другу, господин фон Дорн, а взаимная потребность — крепчайший из всех строительных растворов, на которых только может быть возведено здание любви и дружбы. Я не могу более обходиться без надежного защитника и помощника. Особенно те-

перь, когда Таисий увидел меня в доме у боярина Матфеева.

Корнелиус, уже разинувший было рот во всю ширину, снова сомкнул губы.

— Почему?

— Грек умен, он наверняка догадался, зачем я проник в дом господина канцлера. Я упросил своего начальника по Аптекарскому приказу вице-министра Голосова раздобыть для меня приглашение к боярину. Матфеев самый могущественный человек во всей Московии и к тому же слывет любителем книжных редкостей. Я понял, что в одиночку Либерею не добуду, другое дело — с таким высоким покровителем. На этот шаг я решился после мучительных сомнений, но иного выхода, как мне казалось, не существует — ведь я еще не имел счастья встретиться с вами. Я рассуждал так: всем известно, что герр Артамон Сергеевич — человек просвещенный и честный. Он, конечно, заберет библиотеку себе, но, по крайней мере, щедро наградит меня. Скажем, если я попрошу из всей Либереи один-единственный трактат по математике, вряд ли добрый боярин откажет мне в такой малости... Вот зачем я явился на этот новогодний прием: присмотреться к Матфееву, составить о нем собственное суждение, а там, уловив момент, испросить у его превосходительства приватной аудиенции для некоего наиважнейшего дела. Мог ли я предвидеть, что встречу там этого проклятого Таисия? Митрополит отлично знает, что я не из числа лизоблюдов, что обивают пороги вельмож ради корыстолюбия или суетного тщеславия. Он, несомненно, догадался, что в лице канцлера я надеюсь обрести покровителя. Потому-то подлый грек и велел своему хашишину меня похитить, допросить, а затем, конечно же, и убить.

Корнелиус нетерпеливо затряс рукой, давая понять, что у него есть множество вопросов.

— Тихо, герр капитан, сейчас самый тонкий момент — я закрепляю ваши новые зубы... Но все к

лучшему. Теперь мне не нужен Матфеев. Вполне достаточно и капитана фон Дорна. Мы заранее договоримся с вами, как поделить Либерею. Вы ведь не станете забирать себе книгу Замолея? Зачем она вам? Если хотите, я отдам вам ее оклад из лалов. Там, в сундуках, много и других книг в драгоценных обложках — все они тоже ваши. С такой добычей вы станете одним из богатейших людей Европы. Мне же отдайте только папирус, ладно?

Аптекарь чуть надавил, вставляя костяную дентуру на место, и посмотрел на Корнелиуса со страхом и мольбой.

— Ладно, — великодушно ответил капитан, поцокал языком, приноравливаясь к искусственным зубам, и повторил уже уверенней: — Ладно, пускай папирус будет ваш, а лалы страны Вуф и все прочие книжки с драгоценными обложками — мои.

Все золото вселенной — это, конечно, очень много, но еще неизвестно, сумеет ли Вальзер добыть по древнему рецепту свою тинктуру, а вот рубины — штука верная, их всегда можно продать за хорошие деньги.

— Да велика ли книга? — вдруг забеспокоился фон Дорн. Что если она размером с миниатюрный молитвенник, который он видел у Сашеньки Матфеевой — такой ладонью накроешь?

— Велика, очень велика, — успокоил аптекарь. — Савентус пишет, что она размером *in quarto*. И лалы покрывают ее поверхность сплошь, с обеих сторон. Еще пастор упоминает о Юстиниановом кодексе в окладе из крупного жемчуга, о Гефестионовой «Географии» с обложкой из смарагдов и об античном списке «Энеиды» в шкатулке пергамской работы с инкрустацией из желтых и черных опалов. Друг мой, вы не останетесь внакладе! Дайте только честное слово дворянина, что Замолея отдадите мне!

— Без обложки, — уточнил капитан и, положив руку на эфес шпаги, поклялся: — Клянусь честью рода фон Дорнов, что выполняю условия нашего уговора. А теперь дайте-ка мне зеркало.

Он широко улыбнулся своему отражению и остался вполне доволен: новые зубы оказались ничуть не хуже старых. А если еще и вспомнить о волшебных свойствах единорога, то выходило, что князю Галицкому, возможно, рановато торжествовать победу.

— Да, — вспомнил фон Дорн. — А что за счеты у вас с митрополитом? И как он мог разгадать причину вашего появления в Артамоновском переулке? Что за сверхъестественная проницательность?

— Ничего сверхъестественного. Таисий прибыл в Россию с той же целью, что и я — искать Либерею. Официальным поводом было посредничество в споре между царем и прежним патриархом Никоном. Но Никона давно нет, а Таисий уж который год все медлит с отъездом в свою митрополию. Говорит, прирос душой к Москве и великому государю. Я-то знаю, к чему он прирос. Таисий такой же одержимый, как и я. Он был католиком, изучал в Италии богословие, ему сулили блестящую церковную карьеру, а грек вдруг взял и уехал на Восток, принял православие, втерся в доверие к Константинопольскому патриарху. На самом деле Таисий втайне остался латинянином и служит Святейшему престолу, но есть у него и другая, своекорыстная цель. В годы учения он откуда-то прознал о приданом византийской принцессы и возжелал отыскать бесценные книжные сокровища. Сначала отправился в Константинополь, там убедился, что Либерея должна быть в Москве, и переместился в Россию. Первым делом, едва приехав, попросил царя Алексея Михайловича предоставить ему доступ к царскому книгохранилищу. Русский монарх очень удивился такой просьбе, ибо вся библиотека великого государя состояла из трех десятков новопечатных требников да наставлений по соколиной охоте. Тогда грек понял, что Либерея сокрыта в некоем тайном месте, и с тех пор ищет. Он упрям, от своего не отступится. А о том, как грек узнал, что я тоже разыскиваю пропав-

шую библиотеку, я расскажу вам как-нибудь в другой раз. Сейчас это несущественно.

— Митрополит знает о Замолее? — нахмурился капитан.

— Нет, даже не догадывается.

— Зачем тогда он тратит столько лет на поиск каких-то там книг? Таисий ведь не нам с вами чета, он и без того богат. Я видел его палаты на Моховой улице — это настоящий дворец.

— Ах, господин фон Дорн, вы некнижный человек, — сожалеюще вздохнул Вальзер. — Если б вы знали, какое наслаждение для истинного ценителя держать в руках древнее драгоценное сочинение, существующее в одном-единственном экземпляре.... Для людей вроде меня и Таисия это сильнее любого вина. Ну и о деньгах тоже забывать не следует. Савентус насчитал в царских сундуках восемь сотен фолиантов, каждый из них сегодня стоит целую кучу золота. Тут речь идет о миллионах, а грек алчен.

Здесь фон Дорн пристально взглянул на собеседника, пораженный внезапной мыслью. Пускай митрополит Антиохийский алчен и ради золота готов на что угодно, но аптекарь на корыстолюбца никак не похож. Зачем ему «все золото вселенной»? Что герр Вальзер будет с ним делать? Вряд ли этому философу, этому певцу человеческого разума, нужны дворцы, роскошные выезды, парчовые камзолы и дорогие куртизанки. Тут было над чем подумать. Но заговорил Корнелиус о другом:

— Эх, если бы знать, какой мерзавец этот Таисий, я не велел бы трупы чернецов в Убогий дом везти! Поди сыщи их там теперь, среди многих прочих, кого прикончили за ночь по Москве. Ярыжки наверняка раздели монахов догола, не опознаешь. Была бы отличная улика против Таисия — ведь его слуги пытались вас похитить.

— Милый господин фон Дорн, — пожал плечами аптекарь. — В Германии это, возможно, и было бы уликой, но только не в России. Здесь нет ни пра-

вильного следствия, ни правосудия. И уж тем более не сыскать управы на тех, кто в милости у его царского величества. Ничего, я теперь буду вдвойне осторожен, а с вами мне и вовсе ничего не страшно, правда?

Вальзер доверчиво заглянул капитану в глаза. От сознания ответственности за этого беззащитного чудака Корнелиус приосанился. Покойный отец говорил: «Худшее из злодеяний — не воровство и даже не убийство, а предательство. Никогда не предавай человека, который тебе доверился. Обманывать можно лишь тех, кто тебе не верит; изменять позволено лишь тем, кто на тебя не надеется». Герр Вальзер не пожалеет о том, что вверил свою судьбу Корнелиусу фон Дорну.

— Для вашего сбережения могу предложить следующее, — деловито сказал капитан. — Если не пожалеете двух алтынов в день, подле вас все время будут находиться двое солдат моей прежней роты, сменяя друг друга. Я с ними уговорюсь. Только не покупайте им вина и расплачивайтесь не вперед, а в конце дня. Я же буду рядом с вами в свободные от служебных часы. С чего начнем поиски Либерей?

Немного подумав, аптекарь ответил:

— Я продолжу искать в старых писцовых книгах. Должны были остаться еще какие-то следы тайных подземных работ. А вы, мой друг, поищите свинцовое хранилище прямо под царской резиденцией, Каменным Теремом. Вам нужно проникнуть в подвалы того крыла, что выходит к церкви Спаса на Бору. Именно там находился деревянный дворец царя Ивана, нынешние палаты выстроены на старом подклете. Мне туда проникнуть невозможно, а вы часто бываете там в карауле. Сможете ли вы попасть в подземный этаж, не подвергая себя слишком большой опасности?

— Смогу, — уверенно заявил Корнелиус. — Мои мушкетеры несут караул вокруг всего дворца, а я хожу, как мне вздумается — проверяю, как они не-

сут службу. В ближайшую среду снова наш черед. Со стороны Грановитой палаты есть дверца в подвал, заваленная дровами — похоже, что ею давно не пользуются. Но что мне там делать? Подвалы по большей части забиты всяким ненужным хламом, там нет ничего ценного.

— Пройдите по всем подземным помещениям. Простучите полы ножами вашей шпаги — не будет ли где гулкого звука, не отзовется ли свинцовый свод тайника звонким эхом. Справитесь?

— Разумеется.

Корнелиус представил сладостный миг: вот он бьет железом о каменную плиту и слышит, как откликается благословенная пустота.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Предположим, я найду Либерею и стану выносить оттуда по одной-две книги за раз. Где мы будем прятать добычу? Ведь это царское достояние. Знаете, что бывает за хищение государева имущества?

— Знаю, — кивнул аптекарь. — Я нарочно справлялся в уголовном уложении. Сначала нам отрубят правую руку, прижгут смолой, дабы мы раньше времени не истекли кровью, а потом повесят за ребро на железный крюк, где мы с вами будем висеть, пока не издохнем. Не беспокойтесь, я все продумал. У меня заготовлен тайник не хуже, чем у царя Ивана. Пойдемте, покажу.

Он прошел в дальний угол, наклонился над одной из плит пола и с некоторым усилием приподнял ее, подцепив ножом. Плита была тонкая и не тяжелая — слабосильный Вальзер в одиночку смог отставить ее в сторону.

— Видите, тут еще одна плита, с кольцом. Вытяните ее.

Под второй плитой открылась черная дыра. Вальзер взял канделябр с тремя свечами и осветил приставную лесенку, ведущую вниз.

— Давайте вы первый, я следом.

Придерживая шпагу, Корнелиус полез в люк.

Яма оказалась не слишком глубокой, не далее чем через десять футов каблуки капитана достигли земляного пола. Сверху, кряхтя, спускался аптекарь.

— Здесь у меня приготовлена секретная лаборатория, — пояснил он, высоко подняв канделябр. — Некоторые опыты безопаснее производить подальше от свидетелей. Например, добывать Философский Камень.

Высветился стол с какими-то склянками и трубками, грубый деревянный стул.

— Смотрите сюда.

Вальзер остановился ровно посередине небольшого склепа, присел на корточки и чуть разгреб землю. Обнажилась деревянная, окованная металлом крышка большого сундука. Аптекарь взялся обеими руками за ручку, откинул. Внутри было пусто.

— Это так называемый «алтын-толобас», сундук, пропитанный особым составом, который не пропускает влагу. Во времена, когда Московией владели татары, в таких толобасах ханские наместники-баскаки перевозили собранную дань: золото, серебро, соболей. Манускрипты могут храниться здесь хоть тысячу лет, ничего с ними не случится. И никто их не найдет. Главное — не попадитесь, когда будете выносить книги из Кремля.

* * *

Проникнуть в дворцовые подвалы оказалось еще проще, чем предполагал Корнелиус. Когда мушкетеры заступили на караул (рано утром, еще до света), капитан переложил часть заснеженной поленницы, оставив за ней узкий лаз к ржавой железной дверце. Замок вскрыл кинжалом, петли смазал ружейным маслом. Потом, обойдя посты, вернулся на то же место и проскользнул внутрь.

Там тоже хранились дрова — видно, не один год, ибо поверху поленья были затянуты паутиной. «Очень по-русски, — думал фон Дорн, пробираясь

со свечой вдоль стенки, — заготовить впрок больше необходимого, а потом бросить — пускай гниет».

В дальнем конце обнаружилась еще одна дверца, в точности похожая на первую, только с замком возиться не пришлось — проржавел настолько, что от первого же поворота клинка открылся сам. В следующем подвале в нос шибануло тухлятиной — здесь хранились копченые окорока, заплесневелые и изгрызанные крысами. Поскорей миновал зловонное подземелье, перебрался в соседнее, пустое. Оттуда вели две двери: одна налево, в узкую галерею, другая направо, в целую анфиладу низких сводчатых погребов. Корнелиус заглянул в обе, но дальше двигаться не стал, ибо для первого раза было довольно.

На часы в Кремль рота выходила через три дня на четвертый, посему продолжить поиски удалось лишь 9 января. В этот день Корнелиус двинулся по анфиладе, тщательно простукивая каждый аршин пола. До истечения караульного срока наведывался в подвалы четырежды. Прошел два зала и одну малую комнату. Впустую — полы отзывались глухо.

Продолжил поиск 13-го — достиг конца анфилады, то есть северной оконечности подвала. Опять ничего, если не считать погреба, где в бочках хранилось вино. Корнелиус хотел отлить немного в флягу. Попробовал — венгерское, прокисшее. Ох, сколько добра пропало зря!

В промежутках между караулами состоял при Артамоне Сергеевиче, да еще бегал к Вальзеру в слободу. На сон времени почти не оставалось, но спать почему-то и не хотелось. Если Корнелиус ненадолго проваливался в забытие — где-нибудь в углу, на лавке, а то и в санях — снились сияющие огнями лалы страны Вуф и сама страна Вуф: залитая ярким солнцем, с затейными башенками и благоуханными садами. Сашеньку капитан видел только мельком. Проверил на ней свои единорожьи зубы — улыбнул-

ся чуть не до ушей. Кажется, подействовало. Боярышня посмотрела на скалящегося мушкетера удивленно и вроде бы с тревогой. Ничего, когда Либерея переместится в алтын-толобас, еще посмотрим, какой жених завидней — князь ли Галицкий, или кто другой.

17 января фон Дорн двинулся из третьего погребка влево, в галерею. Теперь простукивал не только пол, но и стены. И что же? В первую же ходку стена справа отозвалась гулко. Корнелиус схватился за сердце. Неужели? Приложил ухо, постучал рукояткой кинжала уже как следует, в полную силу. Сомнений нет — пусто!

Вышел обойти караулы, у пленницы прихватил лом. Вернулся к заветному месту. Прочитав молитву и поплевав на руки, ударил железной палкой в стену. С одного замаха пробил сквозную дыру, откуда пахло гнилью. Припал к отверстию глазом — темно, не разглядеть. Ничего, замахал ломом с таким пылом, что через минуту у ног валялась целая гора гипсовых крошек.

Капитан согнулся в три погибели, протиснулся в образовавшийся лаз с огарком свечи. Сундуки! В три яруса, чуть не до потолка!

Корнелиус сдержался, не кинулся к сокровищу сразу. Сначала, как подобает доброму католику, возблагодарил Святую Деву: «Будь благословенна, Матерь Божья, покровительница взыскующих», — и уж потом, трясаясь от возбуждения, стал подцеплять разбухшую от сырости, неподатливую крышку.

Пальцы нащупали что-то волглое, похожее на спутанные женские волосы. Фон Дорн поднес свечу и застонал от невыносимого разочарования. Внутри лежали связки меха, сгнившего от долгого и небрежного хранения. В других сундуках было то же — облезлые, никуда не годные соболиные шкурки. Кто-то спрятал их здесь лет двадцать, а то и тридцать тому назад, да вынуть забыл. Похоже было, что весь цар-

ский дворец стоит на куче без толку загубленных припасов, никому не нужного гнилья.

Больше ничего примечательного в этот день обнаружено не было.

Зато в следующий кремлевский караул, 21 января, Корнелиус сделал удивительное открытие. Галерея вывела его к маленькой двери, взломать которую удалось не сразу — грохот разнесся на все подземелье. По ту сторону ход продолжился, но из прямого сделался зигзагообразным, причем колена этого диковинного, неизвестно для какой цели проложенного лабиринта змеились без какого-либо внятного порядка и смысла. В конце каждого отрезка, на потолке была черная квадратная дыра. Поначалу капитан не придавал значения этим отверстиям, решив, что они проложены для освежения воздуха, но после третьего или четвертого поворота сверху донеслись приглушенные, но вполне отчетливые голоса.

— Я те харю набок сверну, сучий сын, — утробно рыкнула дыра. — Сейчас вот крикну «слово и дело», будешь знать, как государевы свечи воровать. Много наворовал-то?

— Батюшка Ефрем Силыч, — жалобно откликнулся невидимый вор. — Всего две свечечки-то и взял, псалтирь священную почитать. Не выдавай, Христом-Богом молю!

— Ладно. Завтра полтину принесешь, тогда доносить не стану. И гляди у меня, чтоб в последний раз. Хорош царев стольник.

Подивившись прихотям эфира, способного передавать звуки по воздуховодам, Корнелиус двинулся дальше. В следующем зигзаге потолок тоже оказался говорящим.

— «А ежели оный воевода мздоимство не прекратит, заковать его в железа и доставить в Москву, в Разбойный приказ...» Поспеваешь? Пиши далее: «Еще великий государь сказал и бояре приговорили...»

Кто-то диктовал писцу официальную бумагу, а здесь, под дворцом, было слышно каждое слово.

Не переставая простукивать шпагой пол, Корнелиус ускорил шаг. Некоторые закутки потайного хода молчали, другие переговаривались, смеялись, молились. Слышно было каждое слово, даже сказанное шепотом.

Вот смысл лабиринта и разъяснился: проложен он был вовсе не произвольно, как Бог на душу положит, а с расчетом — чтоб каждую комнату царского дворца снизу можно было прослушивать. Кто придумал эту хитрую конструкцию, Корнелиусу было неизвестно, однако так же, как с окороками, венгерским вином и соболями, предусмотрительность не пошла впрок. Судя по толстому слою пыли, скопившемуся на каменном полу, здесь давным-давно никто не лазил, теремных обитателей не подслушивал.

За час блуждания по подземелью фон Дорн наслушался всякого, а в месте, где проход вдруг разделился надвое, сверху раздался голос, от которого мушкетер остановился как вкопанный — даже стучать по плитам перестал.

— Вон, снова стукнуло железным, — боязливо произнес сипловатый, жирный тенорок. — Слыхал, дурень?

— Как не слышать, царь-батюшка, ума палатушка, — рассыпал скороговоркой фальцет — таким во дворце говорил только любимый царский шут, горбатый Валтасар. — Это бабка-яга, железна кочерга. Прыг да скок с приступки на шесток. Ух-ух-ух, сейчас наскочит, бока зашекочет!

Сам великий государь! Его покои, стало быть, тоже оснащены тайным подслухом. Ну и ну!

— Какая бабка-яга, что ты врешь! Мне верные люди сказывали, уже вторую неделю в тереме то отсюда, то отсюда железом постукивает: бряк да бряк. Так-то страшно! Знаю я кто это, знаю! Это за мной Железный Человек пришел, в сырую землю звать. К батюшке перед смертью тоже так вот приходил.

— Господь с тобой, государь, — ответил шут уже без дурашливости. — Ты бы меньше мамок да шептунов слушал. Какой еще Железный Человек?

— Да уж знаю, какой. — Алексей Михайлович ответил шепотом (только все равно было слышно каждое слово). — Тот самый. Это Воренок вырос и нас, Романовых, извести хочет, за свое погубленное малолетство посчитаться. Кто видел его, нечистого, говорят: лицом блее белого, а грудь вся железная. Страсть-то какая, Господи!

Тут Корнелиус, повернувшись, задел ножами за камень, и царь взвизгнул:

— Вот, опять лязгнуло! Господи Боже, неужто мне в могилу пора? Пожить бы еще, а, Господи?

Из опасного закута капитан ретировался на цыпочках, решил, что дальше двинется в следующий раз.

Назавтра, когда был в слободе, спросил Адама Вальзера, что за Воренок такой и почему царь его боится.

— Это трехлетний сын тушинского царя Лжедмитрия и польской красавицы Марины Мнишек, — объяснил ученый аптекарь. — Чтобы мальчик, когда вырастет, не претендовал на престол, Романовы его повесили. Палач донес малютку до виселицы завернутым в шубу, продел головкой в петлю и задушил. Многие говорили, что после такого злодеяния не будет новой династии счастья, мало кто из Романовых своей смертью умрет, а закончат они тем же, чем начали — с их малолетними чадами злодеи поступят так, как они обошлись с Воренком. Разумеется, суеверие и чушь, но советую вам воспользоваться этой легендой. Когда в следующий раз будете бродить по подземелью, нацепите маску из белой ткани. А грудь у вас благодаря кирасе и так железная. Если кто вас и увидит, решит, что вы Железный Человек.

25 января попасть в подвалы не довелось, потому что государь отправился на богомолье в Новоспасский монастырь и молился там всю ночь. По

этому случаю матфеевские мушкетеры сторожили не в Кремле, а жгли костры вокруг монастырских стен (ночь выдалась морозной) и после, когда царский поезд двигался обратно, стояли цепочкой вдоль Каменной слободы.

За день до этого у Корнелиуса был короткий и не очень понятный разговор с Александрой Артамоновой. Он столкнулся с боярышней, когда выходил от боярина (ездили на Кукуй, к генералу Бауману на именины). Сашенька стояла в приемной горнице, будто дожидалась кого-то. Не Корнелиуса же?

Увидев фон Дорна, вдруг спросила:

— Ты что, Корней, никак прячешься от меня? Или обидела чем? В Сокольники давно не ездили.

От ее прямого, совсем не девичьего взгляда в упор капитан растерялся и не нашелся, что ответить. Проямлил что-то про службу, про многие нужные дела.

— Ну, смотри, упрашивать не стану, — отрезала Сашенька и, развернувшись, вышла.

Корнелиус так и не понял, чем ее прогневил. При разговоре еще был Иван Артамонович — ничего не сказал, только головой покачал.

29 января фон Дорн двинулся от места, где ход раздваивался, дальше. Время было позднее, ночное, и царского голоса, слава Богу, было не слышать. На всякий случай, для сбережения, капитан последовал совету аптекаря, прикрыл лицо белой тряпкой с дырками для глаз, хотя кого тут, под дворцом он мог повстречать? Разве какого воришку из челяди, кто шастает по заброшенным погребам, высматривая, чем поживиться.

По ночному времени в комнатах молчали, лишь из некоторых подслухов доносилось похрапывание. «Тук-тук, тук-тук», — стучали ножны по плитам, да все глухо.

После одного из поворотов сверху вдруг послышалось низкое, с придыханием:

— Любушка мой, ненаглядный, да я для тебя что хочешь... Иди, иди сюда, ночь еще долгая.

Любовная сцена! Такое в скучном царском тереме Корнелиус слышал впервые и наострил уши. Видно, тайные аманты, больше вроде бы некому. Кроме царя с царицей, других супругов во дворце нет.

— Погоди, царевна, — ответил мужской голос, знакомый. — Будет миловаться. Еще дело не решили.

Галицкий! Кто еще говорит так переливчато, будто драгоценные камешки в бархатном кармане перекатывает. Царевна? Это которая же?

— Матфеева не остановить, он вовсе царя подомнет, — продолжил голос. — Я у него много времени провожу, насквозь его, лиса старого, вижу. Он думает, я к дочке его худосочной свататься буду, меня уж почти за зятя держит, не таится. Хочет он царя улестить, чтоб не Федора и не Ивана, а Петра наследником сделал. Мол, сыновья от Мирославской хворы и неспособны, а нарышкинский волчонок крепок и шустр. На Маслену, как катанье в Коломенском будет, хочет Артамошка с государем про это говорить. Ты своего отца знаешь — Матфеев из него веревки вьет. Не сумеем помешать, сама, Сонюшка, знаешь, что будет.

Сонюшка? Так Галицкий в опочивальне у царевны Софьи! Ах, ловкач, ах, интриган! Канцлер у него, значит, «Артамошка», а Сашенька «худосочная»? Ну, князь, будет тебе за это!

От возмущения (да и радости, что уж скрывать), фон Дорн задел железным налокотником о стену, от чего произошел лязг и грохот.

— Что это? — вскинулась Софья. — Будто железо громыхает. Неужто и вправду Железный Человек, про которого девки болтают? Слыхал, Васенька?

— Как не слышать. — Голос Василия Васильевича сделался резок. — Нет никакого Железного Человека. Это кто-то нас с тобой подслушивает. Гремело вон оттуда, где решетка под потолком. Зачем она там?

— Не знаю, Васенька. Во всех комнатах такие. Чтоб воздух не застаивался.

— Сейчас поглядим.

Раздался скрежет, словно по полу волокли скамью или стул, потом оглушительный лязг, и голос князя вдруг стал громче, как если бы Галицкий кричал Корнелиусу прямо в ухо.

— Эге, да тут целый лаз. Труба каменная, вкось и вниз идет. Ну-ка, царевна, кликни жильцов. Пусть разведают, что за чудеса.

В дыре заскрипело, посыпались крошки извести — видно, князь шарил рукой или скреб кинжалом.

— Эй, кто там! Стражу сюда! — донесся издали властный голос царевны.

— Погоди, не отворяй, — шепнул Василий Васильевич. — Я через ту дверь уйду.. Сапоги дай и пояс. Вон, под лавкой. Прощай, Сонюшка.

Корнелиус медлил, ждал, что будет дальше. Жильцов, то есть дворян из внутренней кремлевской охраны, он не испугался — что они ему сделают со второго-то этажа, где царевнины покои?

Загремели каблуки, в опочивальню к Софье вбежали человек пять, если не больше.

— Что даром хлеб едите? — грозно крикнула им царевна. — Государеву дочь извести хотят, через трубу тайную подслушивают. Вот ты, рыжий, полезай туда, поймай мне вора!

Скрип дерева, опасливый бас:

— Царевна, узко тут, темно. И вниз обрывается. А ну как расшибусь?

Софья сказала:

— Выбирай, что тебе больше по нраву. Так то ли расшибешься, то ль нет. А не полезешь, скажу бабюшке, чтоб тебя, холопа негодного, повесили за нерадение. Ну?

— Лезу, царевна, лезу. — Шорох и лязг. — Эх, не выдавай, Владычица Небесная!

В каменной трубе зашумело, завывало, и фон Дорн понял, что с потолка ему на голову сейчас свалится кремлевский жилец. Вот тебе и второй этаж!

Едва метнулся за угол, как в подземелье загрохотало, и тут же раздался ликующий вопль:

— Живой! Братцы, живой!

Это известие капитана совсем не обрадовало, тем более что вслед за радостным воплем последовал другой, грозный:

— А ну давай за мной! Не расшибетесь, тут покато!

Забыв об осторожности, мушкетер со всех ног кинулся в обратном направлении. Пока бежал, следуя всем зигзагам и поворотам, из проснувшихся подслухов долетали причитания и крики. Женский, визгливый:

— Тати во дворце! Убивают!!!

Детский, любопытственный:

— Пожар, да? Пожар? Мы все сгорим?

Басисто-начальственный:

— Мушкетерам встать вдоль стен, за окнами смотреть, за подвальными дверьми!

Ай, беда! Теперь из погребов не выберешься — собственные солдаты и схватят.

Сзади гремели сапогами жильцы, совсем близко. Поймают — на дыбе подвешат, чтоб выведать, для кого шпионил. Хуже всего то, что ясно, для кого — матфеевский подручный. То-то враги Артамона Сергеевича, Милославские с Галицким обрадуются!

Бежать в деревянной чулан было нельзя — там у дверцы наверняка уже стоят. Делать нечего — повернул от развилки в другую сторону, в узкий проход, куда прежде не забирался. Терять все равно было нечего.

Сапоги жильцов простучали дальше — и то спасибо. Фон Дорн на цыпочках, придерживая шпагу, двигался в кромешной тьме. Свеча от бега погасла, а снова зажигать было боязно.

Зацепился ногой за камень, с лязгом упал на какие-то ступеньки. Услышали сзади иль нет?

— Ребята! Вон там зашумело! Давай туда!

Услышали!

Корнелиус быстро-быстро, перебирая руками и

ногами, стал карабкаться вверх по темной лестнице. Ход стал еще уже, стены скрежетали по плечам с обеих сторон.

Головой в железной каске капитан стукнулся о камень. Неужто тупик? Нет, просто следующий пролет, надо развернуться.

Миновал еще четырнадцать ступеней — железная дверка. Заперта, а вышибать нет времени.

Снова пролет, снова дверка. То же самое — не открыть.

Выше, выше. Быстрее!

Вот ступеньки и закончились. Карабкаться дальше было некуда. Жильцы до лестницы еще не добрались, но скоро доберутся.

Все, конец.

Он заметался на тесной площадке, беспомощно зашарил руками по стенам. Пальцы задели малый, торчащий из стены штырь. Что-то скрежетнуло, крикнуло, и стена вдруг уехала вбок, а из открывшегося проема заструился мягкий лучистый свет.

Не задумываясь о смысле и природе явленного чуда, Корнелиус ринулся вперед. Проскочил комнату со стульчаком (никак, нужник?), потом помещение побольше, с бархатным балдахином над огромной кроватью, вылетел в молельню.

Множество икон, на золоченых столбиках горят свечи, а перед узорчатым, инкрустированным самоцветами распятием стоит на коленях бородатый мужик в белой рубахе, жметя лбом в пол.

Услыхал железный грохот, подавился обрывком молитвы. На капитана обернулось застывшее от ужаса лицо — пучеглазое, щекастое.

— Воренок, — просипел великий государь Алексей Михайлович. — За мной пришел!

Пухлой, в перстнях рукой царь ухватил себя за горло, зашлепал губами, а из толстых губ неся уже не сип — сдавленное хрипение.

Надо же случиться такой незадаче — испугал неожиданным появлением его царское величество!

Кто же мог подумать, что тайный ход выведет в государев апартамент?

Корнелиус кинулся к монарху, от ужаса позабыв русские слова.

— Majestat! Ich...¹

Алексей Михайлович икнул, глядя на завешенное белым лицо с двумя дырками, мягко завалился на бок.

Беда! Лекаря нужно.

Из молельни капитан выбежал в переднюю, срывая на ходу маску. В дверь торопливо застучали — Корнелиус шарахнулся за портьеру. Постучали еще, теперь настойчивей, и, не дождавшись ответа, вошли: трое в белых с серебром кафтанах — комнатные столыники, за ними еще дворяне, некоторые в одном исподнем.

— Государь! — загудели разом. — В терем злодей пролез! Пришли оберегать твое царское величество!

Оберегателей набилась полная передняя — многим хотелось перед государем отличиться. Когда капитан потихоньку вышел из-за портьеры, никто на него и не глянул.

В вестибюле (по-русски — он назывался *сени*) на Корнелиуса налетел окольный Берсенева, жилецкий начальник.

— А ты тут что? И без тебя радетелей полно! Иди к своим мушкетерам, капитан! Твое дело — снаружи дворец охранять! Гляди — чтоб мышь не проскользнула!

Второй раз фон Дорну повторять не пришлось. Он поклонился окольному и деловитой рысцей побежал вниз — проверять караулы.

* * *

Едва дотерпел до смены — когда копейщики пришли и встали в караул вместо мушкетеров. Будет что рассказать Артамону Сергеевичу! Конечно, не

¹ Ваше величество! Я... (нем.)

про то, как по оплошности ввалился в царские покои, об этом боярину знать незачем — а про коварство Галицкого. Вот каких женишков вы приваживаете, эксценц!

Но канцлера дома не оказалось — на рассвете прибежал дворцовый скороход звать Артамона Сергеевича по срочной надобности к государю. Что ж, рассказать о князе Василии Васильевиче можно было и арапу.

Свои хождения по теремным подвалам Корнелиус объяснил служебным рвением. Мол, решил проверить, не могут ли злые люди пробраться в терем через старые погреба, да по случайности и набрел на слуховую галерею.

Иван Артамонович слушал, смежив морщинистые коричневые веки, из-под которых нет-нет да и посверкивал в капитана острым, пронизательным взглядом. Не удивлялся, не возмущался, не гневался. Спокойно внимал всем ошеломительным известиям: и про амур князя с царевной Софьей, и про обидные васькины слова об Артамоне Сергеевиче, и про намерение любовников помешать матфеевским замыслам.

Начинал Корнелиус возбужденно, но мало-помалу сник, не встретив в дворецком ожидаемого отклика.

Дослушав до конца, Иван Артамонович сказал так:

— Про царевнин блуд с Васькой Галицким давно известно. Понадобится Ваську из Кремля взашей — Артамон Сергеевич скажет государю, а пока пускай тешатся, дело небольшое. Помешать боярину Сонька с Галицким не смогут, руки коротки. А что князь про Александру Артамоновну худое говорил, так это пустяки. Боярин за него, паскудника, свою дочь выдавать и не думал никогда. Про князя мы знаем, что он Милославским служит. Артамон Сергеевич его нарочно к себе допускает, чтоб Васька думал, будто в доверие вошел.

Получалось, что ничего нового Корнелиус арапу не сообщил. От этого капитану следовало бы расстроиться, но весть о том, что боярин Сашеньку за князя выдавать не думает, сполна искупила разочарование.

Взглянув на залившегося румянцем фон Дорна, Иван Артамонович побряхтел, повздыхал и вдруг повернул разговор в неожиданную сторону.

— Хочешь, Корней, я тебе притчу расскажу?

Мушкетер подумал, что ослышался, но дворецкий продолжил как ни в чем не бывало — будто только и делал, что рассказывал кому ни попадя сказки.

— Притча старинная, арапская. От бабушки слышал, когда мальцом был. Жил-был крокодил, ящер болотный. Сидел себе посреди топи, лягушек с жабами ел, горя не знал. А однажды ночью случилась с крокодилом беда. Поглядел он на воду, увидел, как в ней луна отражается, и потерял голову — захотелось ему, коротколапому, на луне жениться. Больно уж хороша, бела, круглолика. Только как до нее, в небе живущей, добраться? Думал зубастый, думал, да так ничего и не удумал. А ты, капитан, что крокодилу присоветовал бы?

Корнелиус слушал притчу ни жив ни мертв. Повесил голову, пробормотал:

— Не знаю...

— Тогда я тебе скажу. — Голос Ивана Артамоновича посуровел. — Или крокодилу на небо взлететь, или луне в болото свалиться. Иначе им никак не встретиться. Понял, к чему я это? Ну, иди, поспи после караула. А не заспишься, так подумай о моей притче. Нравишься ты мне. Не хочу, чтоб ты с ума съехал.

Но ни спать, ни думать о притче фон Дорну не довелось.

Сначала, едва вышел от арапа, примчался нарочный из Кремля — и сразу к Ивану Артамоновичу. Ясно было: что-то случилось.

Корнелиус затревожился, остался дожидаться в сенях.

Дождлся. Скоро оба вышли, и арап, и гонец. Застегивая парадный кафтан, Иван Артамонович — хмурый, напряженный — на ходу шепнул:

— Плохо. Царя ночью удар расшиб, кончается. Теперь всякого жди.

И ускакали.

Потом фон Дорн весь день метался по комнате, терзаясь вопросом — неужто великий государь того перепуга не снес? Как захрипел, так и не поднялся? Ай как нехорошо вышло. Ай как стыдно!

Ближе к вечеру явился Адам Вальзер. Лицо в красных пятнах, глаза горят. Ворвался без стука и сразу:

— Слышали? У его величества апоплексия. Вряд ли доживет до утра. Все бояре там, духовенство, и Таисий первый. Соборовать будут. Это значит, что нам с вами пора за Либереей.

— Куда, в Кремль? — удивился фон Дорн. — До того ли сейчас?

— Ах, при чем здесь Кремль! — досадливо воскликнул аптекарь. — Библиотека совсем в другом месте!

Корнелиус обмер.

— Вы что, нашли ее?!

— Да!

Глава одиннадцатая

Поговорим о странностях любви

Отмаршировав от сияющего огнями «Кабак» метров триста, Николас оказался в темном, безлюдном сквере и сел на деревянную скамью, чтобы составить план дальнейших действий.

План составляться отказывался. При имеющихся условиях задача решения не имела. Какие, к черту, действия?! Задрать голову и выть на луну — больше ничего не оставалось.

Сдаться властям нельзя. Уехать нельзя. Ночевать нигде. Помощи ждать нисоткуда. Голова гудит. И очень-очень холодно. Как в нелюбимой песне Криса де Бурга «Полночь в Москве».

Через некоторое время от тоскливого ужаса и холода опьянение прошло, но вместе с ним поникла и недавняя решимость «засаживать по самую рукоятку». Честно говоря, и второе мужественное решение — благородно уйти в ночь — теперь казалось идиотским (особенно жалко было блейзера, в котором было бы не так холодно).

Так что же, вернуться в тепло и свет? Принять от Владика помощь? И окончательно утратить самоуважение? И подставить друга под удар? Ни за что на свете!

«А как же Алтын? Ее ведь ты подставил под удар, — сказала Фандорину совесть. — Быть может, хозяева Шурика ее сейчас допрашивают и не верят, что она ничего о тебе не знает».

От жуткой мысли Николас вскочил со скамейки, готовый немедленно ехать, а если понадобится, и бежать в Бескудники. Сел. Он ведь даже адреса не знает, а дома в том спальном районе похожи друг на друга, как травинки на лужайке. Телефон! Он ведь выучил номер наизусть! Фандорин открыл кейс, включил свой «эриксон» и после недолгого колебания набрал тринадцать цифр: код России, города и московский номер.

После первого же гудка в трубке раздался голос журналистки:

— Алло... Алло... Кто это?

Николас молчал, испытывая невероятное облегчение. Отвечать ей, разумеется, было невозможно — вероятнее всего, телефон прослушивался. Но и разъединяться не хотелось — в холодной ночи от звонкого голоса Алтын стало немножко теплей.

— Алло, кто это? — повторила она. И вдруг прошипела. — Это ты, гад? Ты? Ну, попадешься ты мне! Отвечай, сволочь, не молчи!

Николас испуганно нажал на кнопку «end». Кажется, Алтын все-таки поняла смысл записки неправильно. Кем же она его считает!

И продрогший магистр совсем пал духом.

Что делать? Что делать?

К друзьям — Владу Соловьеву или Алтын Маматовой (которая, впрочем, вряд ли теперь числит подлого британца своим другом) — обращаться нельзя. К мистеру Пампкину тоже — он официальное лицо, и помогать человеку, подозреваемому в убийстве, не станет. А между тем без помощи Фандорину было не обойтись.

«Сколько можно причитать и жаловаться? — вдруг окрысился сам на себя Николас. Ну же, — сказал он мозгу, — работай, соображай. Кроме тебя все равно надеяться не на кого».

Мозг осознал свою ответственность. Прекратил истерику, приступил к работе. И тут оказалось, что

задача имеет решение, причем не такое уж сложное. Можно сказать, единственно возможное.

Если нельзя обратиться за помощью к хорошим людям, нужно обратиться к плохим. *Bad guys*¹ в этой истории представлены двумя враждующими партиями: одну можно условно назвать «партией Шурика», другую — «партией Большого Сосо». Какое из этих двух зол меньшее — очевидно. «Эскадрон» Большого Сосо оберегал заморского гостя вчера, так почему бы им не продолжить свое дело и сегодня? Совершенно непонятно, в какую игру при этом ввязывается затравленный магистр истории, но разве у него есть выбор? А этических угрызений здесь быть не может. Сосо Габуния в этом триллере отнюдь не посторонний и не невинная овечка, а один из основных игроков.

Итак, *что* делать, решено.

Остается придумать, *как*.

Адрес и телефон человека по имени Сосо Габуния неизвестен. Да и что такое «Сосо»? Вряд ли имя, скорее кличка. Хотя нет. Кажется, «Сосо» по-грузински — уменьшительное от «Иосиф». Старые друзья Иосифа Сталина звали его именно так.

Стало быть, Иосиф Габуния. Что еще? Председатель правления банка «Евродебет» — кажется, Алтын назвала компанию Большого Сосо именно так. Тогда просто: войти в любой телефон-автомат, полистать телефонную книгу, вот и вся недолга.

Полчаса спустя вконец замерзший магистр вернулся в сквер, сел на ту же самую скамейку и обхватил руками голову. Ни в одном из трех автоматов, обнаруженных на соседних улицах, телефонной книги не оказалось. Более того, Фандорин не обнаружил даже полочек, на которых вышеупомянутая книга могла бы разместиться. Что, если в России вообще не заведено снабжать кабины публичных телефонов справочником?

¹ Плохие люди (*англ.*).

Ну почему в этой стране все так сложно? Казалось бы, самое простое дело — узнать телефон. Николас сидел, лязгал зубами и уныло смотрел на «самсонайт», в который упирались его локти. Близок локоть, да не укусишь...

Хотя почему «не укусишь»? Фандорин вострепнулся. Зачем искать телефонную книгу, когда здесь, в кейсе, лежит компьютер с выходом в Интернет? Вот лишнее доказательство того, что пьянство подрывает интеллектуальные ресурсы мозга.

Он быстренько включил компьютер, подсоединил к нему телефон и в два счета отыскал в русскоязычной сети московские «Желтые страницы».

«Евродебетбанк»: адрес, телефон для справок, e-mail, отсылка на банковский сайт. Отлично.

Вот и сайт. Так. Уставной капитал, учредители, председатель правления — Иосиф Гурамович Габуния. И телефон секретариата имеется.

Николас набрал номер. Естественно, в двенадцатом часу ночи ответил только выморочный голос телефонной Панночки: «Здравствуйте. Вы звоните в приемную Иосифа Гурамовича Габунии. Ваши звонки принимает автомат. Назовите, пожалуйста, ваше имя и оставьте...»

Неудача (тем более, вполне естественная) не обескуражила Фандорина, вновь уверовавшего в могучую силу человеческого разума. Можно, конечно, было как-нибудь продержаться до утра, а потом отправиться напрямик в Средний Гнездниковский переулок, где располагался «Евродебет», но, во-первых, ночевка на пленэре могла закончиться воспалением легких, а во-вторых, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

Николас вернулся в Интернет и велел поисковой системе выудить все страницы, где встречается словосочетание «Иосиф + Габуния + евродебет». Улов оказался довольно богатым. Наскоро просмотрев перечень выловленных материалов, магистр выбрал два самых объемных.

Сначала прочитал в еженедельной газете «Секреты» за ноябрь прошлого года статью «Капитаны российского бизнеса», откуда узнал много интересного о биографии Иосифа Гурамовича.

Человек, судя по всему, был незаурядный: в советские времена так называемый «цеховик», тесно связанный с преступным сообществом Грузии; три тюремных срока; при этом обладатель двух дипломов и даже доктор экономических наук. Правда, автор статьи ернически отмечал: «дипломы и научная степень разряда Made in Georgia», но все же, все же. Палитра деловых интересов господина Габунии была не менее пестрой, чем у Николасова друга Владика, однако в современной России подобная всеохватность, видимо, считалась в порядке вещей.

Вся эта информация, безусловно, была полезной, да жаль только, не подсказывала, как разыскать Иосифа Гурамовича прямо сейчас, среди ночи. И Фандорин углубился в чтение статьи более легкомысленной — из иллюстрированного журнала «Анфас», который в прошлом месяце посвятил грузинскому магнату целый номер.

— Совсем с ума посходили! — донесся из темноты ворчливый старушечий голос.

Фандорин встрепенулся, поднял голову. Мимо, враждебно косясь на сидящего, ковыляла старая дама затрапезного вида, бог весть какими судьбами занесенная сюда в этот поздний час. В руке у нее была кошелка, в которой что-то позвякивало, и Николас вспомнил загадочные слова Владика о какой-то «бабуле, собирающей бутылочки». Очевидно, это она и была.

Бедную женщину можно понять. Ночь, темные кусты, человек в белой рубашке пялится в ящик, от которого исходит неземное свечение. Странное зрелище. Урбанистический ноктюрн.

Фандорин снова впился глазами в экран.

Иосиф Габуния — человек месяца. С обложки журнала пухлогубо улыбался добродушный толстяк в

сером смокинге, с крошечным той-терьером, утопавшим в мясистой, украшенной бриллиантовыми перстнями пятерне. Какая-то карикатура на нувориша!

Николас просмотрел подборку фотографий с подписями. Иосиф Гурамович в церкви — венчается с топ-моделью Сабриной Свинг (неописуемой красоты блондинка). Иосиф Гурамович (напряженный и несчастный) в теннисном наряде, с ракеткой — участвует в турнире «Большая шляпа». Иосиф Гурамович целует любимую собачку Жужу (у той-терьера вид перепуганный). Иосиф Гурамович открывает интернат для слепоглухонемых детей (крупно жалостное лицо благотворителя — мясистое, в складках, на глазах слезы).

Текст был соответствующий. Все ясно — заказная и, видно, щедро оплаченная статья. Фандорин прочитал ее два раза подряд, с особенным вниманием проштудировав абзацы, где описывался загородный дом банкира. Никаких зацепок. Николина Гора — черт ее знает, где это.

Вот разве что главка про клуб «Педигри»? Автор статьи утверждал, что Иосиф Гурамович любит коротать там вечера, играя в покер и бильярд с членами этого эксклюзивного собрания (слово «эксклюзивный», кажется, очень нравилось журналисту и встречалось в тексте бесчисленное количество раз), принимающего в свои ряды лишь отпрысков старинных фамилий. В числе ярчайших представителей столбовой аристократии и постоянных партнеров Иосифа Гурамовича были названы знаменитый скульптор, потомок грузинского княжеского рода; кинорежиссер, любящий поговорить о своих дворянских корнях, а также еще некоторые звезды локального масштаба, чьи имена Фандорину ничего не говорили.

Что ж, как говорил Малюта Скуратов, попытка не пытка.

Николас нашел по Интернету телефон клуба «Педигри». Набрал номер, попросил господина Габуню.

— Иосиф Гурамович к клубному телефону не подходит, — ответил сладкий лакейский голос. — Звоните ему, пожалуйста, на мобильный.

Есть! Большой Сосо в клубе! Как бы только проваться через прислугу?

— Передайте господину Габунни, что это Фандорин. По срочному делу.

— А номер мобильного вы не знаете? — уже менее паточно спросил ливрейный. — Иосиф Гурамович не любит, когда его от билльярда отрывают. Доиграет партию, передам. Он ваш телефон знает, господин... э-э-э... Федорин?

— Фан-до-рин, — по слогам произнес Николас и, немного поколебавшись, назвал номер своего содового.

Выключил компьютер, телефон повесил на ремень брюк и принялся скакать по скверу, размахивая руками. Это у них называется лето! Градусов тринадцать, не больше. Позавчерашняя ночь в гостиничном номере, который казался привередливому магистру таким убогим, сейчас вспоминалась элизизумом. Вчера же, на разложенном столе, ночевать было и вовсе чудесно. Жестковато, конечно, но зато тепло, и из темноты доносилось сонное дыхание Алтын. Она уснула сразу (это Николас все ворочался) и один раз неразборчиво пробормотала что-то жалобное, а наяву представить ее жалующейся было бы невозможно.

Глупо. В бумажнике полно денег, кредитные карточки, а такая простая вещь, как ночевка под крышей, представляется непозволительной роскошью. В гостиницу без паспорта не сунешься. Да если б и был паспорт — это ж все равно, что сразу отправляться на постой в домзак. То есть это во время гражданской войны называлось «домзак» (сэр Александер рассказывал), а теперь как-то по другому. Ах да, КПЗ.

Прижимая к груди чемоданчик, Николас стоял под деревом и уныло смотрел на сияющее огнями царство бога торговли Гермеса. К комплексу подъез-

жали лимузины, распахивались и закрывались двери гостиницы «Международная», а гражданин Соединенного королевства, обладатель ученой степени, потомок крестоносцев, топтался в темноте, словно какой-нибудь Гаврош у витрины булочной.

На углу улицы, что вела к чудесному чертогу, остановился длинный «даймлер-бенц» — как раз возле барышни в очень короткой юбке и очень длинных сапогах. Она наклонилась к окошку, о чем-то говорила с водителем и сердито махнула рукой — поезжай, мол, своей дорогой. Автомобиль поехал дальше и через полсотни ярдов затормозил возле другой барышни, как две капли воды похожей на первую.

Николас был решительным противником проституции, видя в этом постыдном промысле не только рассадник преступности и болезней, но еще и оскорбление человеческого, прежде всего женского, достоинства. Никогда в жизни ему не пришло бы в голову, что он может провести ночь у служительницы покупной любви, но при мысли о теплой комнате, мягкой кровати и уютном свете абажура сердце магистра тоскливо сжалось. Только чтобы согреться и поспать, больше ни для чего другого! Заплатить как за полный набор услуг, лечь под одеяло, обняться с «самсонайтом» и хоть на несколько часов расстаться с ужасной реальностью.

Да нет, дикость. И к тому же небезопасно.

Но еще через четверть часа эта мысль уже не казалась Фандорину такой дикой. Куда опаснее бродить ночью по этим диким степям Забайкалья. Не дай бог ограбят или, того хуже, милицейский патруль остановит — проверить документы.

В тот самый момент, когда Николас повернул назад, в сторону порочной улицы, у пояса зазвонил телефон.

— Николай Александрович? — проворковал мягкий баритон с едва уловимым акцентом — чуть-чуть певучести, не «к», а скорее «кх», но и только. — Очень хорошо, что вы захотели со мной встретиться. Мои люди просканировали сигнал вашего мобильного.

Вы находитесь где-то возле Центра Международной Торговли, да? Я уже выслал за вами машину. Будьте через десять минут у главного входа. Черный «ниссан-патфайндер».

И, не дожидаясь ответа, разъединился.

Умный человек, подумал Фандорин. Очень умный, очень четкий, очень спокойный. Совсем не такой, как на снимках из журнала. А значит, еще и очень хитрый. Стало быть, вдвойне опасный.

Полоумный английский Колобок. От бабушки ушел, от дедушки ушел, и вот к кому пришел.

Может, отключить предательский телефон и, пока не поздно, раствориться в ночи?

* * *

Машину вел тот самый грузин с подкрученными усами, который требовал от Шурика извинений в коридоре «Интуриста». Николас попробовал заговорить со старым знакомым, но тот хранил неприсутное молчание — видимо, получил соответствующие инструкции. Или, быть может, не получил инструкций вступать в разговор? Кто их знает, специалистов по тайным делам, что у них за обыкновения.

Клуб «Педигри» оказался славным допожарным особнячком, затерянным где-то в улочках Белого города. Николас слишком плохо ориентировался в Москве, да еще окутанной ночным мраком, чтобы определить локацию точнее. Но бульварное кольцо джип миновал, это точно.

За высокими железными воротами открылся уютный двор, ярко освещенный фонарями. Николас поднялся по белокаменным ступеням, прошел между двух косматых львов, и толкнул стеклянную дверь.

Там уже поджидал привратник; в пудреном парике, камзоле с позументами и белых чулках. Он поклонился, передал Фандорина другому служителю, одетому точно так же, только с золотым эполетом и аксельбантом, а тот, ни о чем не спрашивая, повел магистра вглубь здания.

Клуб был просто замечательный: со звонким фонтаном, темными картинами в бронзовых рамах, старинным оружием на стенах и антикварными шкафами, уставленными драгоценным фарфором. Николасу все это очень понравилось, хотя, если уж придирааться, шкафы были не посудными, а книжными, да и обивка на креслах сталкивала лбами двадцатый век с восемнадцатым. Но все равно сразу было видно, что клуб в высшей степени эксклюзивный и абы кого сюда не пустят.

Очевидно, именно этим объяснялись взгляды, которые ловил на себе Фандорин, следуя за пудреным лейб-гвардейцем. Компания из четверых солидных господ у ломберного столика, две холеные дамы у барной стойки и даже трое раскрасневшихся молодцов в оттянутых на сторону галстуках — все они с недоумением рассматривали долговязого субъекта в нечистой белой рубашке.

— К Иосифу Гурамовичу, к Иосифу Гурамовичу, — шепотом пояснял лоцман тем, кто выражал недоумение слишком уж демонстративно.

За первым залом обнаружился второй, сплошь занятый столиками, за некоторыми из которых выпивали и закусывали нарядно одетые гости обоего пола. Вон их сколько, оказывается, уцелело, отпрысков старинных фамилий, с почтительным удивлением думал Николас, вглядываясь в лица. Наверняка здесь были и представители родов, связанных с Фандоринными родством или свойством. Ведь триста лет жили бок о бок.

Оркестр — арфа, виолончель и рояль — наигрывал меланхоличную мелодию, а певица в длинном платье с почти таким же длинным декольте пела что-то про упоительные российские вечера, но не про подмосковные (ту песню Николас знал).

В дальнем конце зала, за колоннадой, стояло три билльярдных стола. Два были пустые, а у центрального сам с собой гонял шары чрезвычайно тучный господин в атласной жилетке. Магистр сразу узнал Иосифа Габуню. Узнал он и той-терьера Жужу,

мирно дремавшего прямо на зеленом сукне. Смысл солитэра, кажется, состоял в том, чтобы загнать в лузы все шары, не потревожив собачку. И надо сказать, виртуоз блестяще справлялся со своей задачей. Пыхтя и наваливаясь огромным животом на край стола, Большой Сосо долго целился, потом коротко, точно бил, и шары стукались друг о друга, выписывая идеальную траекторию, которая непременно заканчивалась сытым покачиванием сетки. Игрушечный песик, видимо, ко всему привычный, от стука шаров не просыпался и лишь время от времени прядал острыми черными ушками.

В зубах у банкира торчала длинная сигара, на мохнатых пальцах ослепительно блестели перстни, а на бортике посверкивал хрустальный бокал с коньяком. В сторонке, на малахитовом столике, стояла пузатая бутылка, уже наполовину пустая, ваза с фруктами и необъятная коробка шоколадных конфет.

— Шарик катаете, Николай Александрович? — спросил толстяк, покосившись на Фандорина, и движением густых бровей велел служителю удалиться.

— Нет, — коротко ответил Николас, разглядывая интригующего господина.

В жизни он выглядел точно так же, как на журнальных фотографиях — комичный пузырь, словно перекочевавший в московский клуб из голливудского фильма о развеселых двадцатых. Забил в лузу очередной шар, наградил себя шоколадной конфетой, с наслаждением выпустил струйку дыма.

— Вы из старинного рода? — не удержавшись, полюбопытствовал Фандорин, тщетно пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки породы в обрюзгшей физиономии и повадках банкира. — Кажется, у великого князя Михаила Николаевича был казначей князь Габунов. Вы, верно, из тех Габуновых?

— Нет, Николай Александрович, — с видимым сожалением покачал головой Большой Сосо. — Я, наверное, единственный на свете грузин совершен-

но не княжеского происхождения. Потомственный плебей. Но спасибо, что сказали об этом вашем князе. Может быть, я и сделаю его своим прадедушкой.

— Разве здесь не что-то вроде дворянского собрания? — понизил голос Фандорин. — Я читал, что это совершенно эксклюзивный клуб для тех, в чьих жилах течет голубая кровь.

— Зеленая, — поправил Габуня, натирая мелом кончик кия. — Плати пять тысяч в год, заручись рекомендацией одного из членов, и ты уже дворянин. Если без рекомендаций — тогда десять тысяч. Выто, Николай Александрович, здесь по полному праву. Мне собрали на вас досье, я знаю, что род Фандориных известен с двенадцатого века. Хотите, дам рекомендацию в клуб?

— Благодарю, не стоит, — сухо ответил Фандорин, еще не решив, как ему следует держаться с этим непонятным господином. По телефону разговаривал, как человек дела, а теперь изображает из себя клоуна, о серьезном говорить явно не желает.

— Спи, Жужечка, спи, масюпусенька. — Долгий прицел, быстрый удар — в лузу. — Умник, Сосо. Получай трюфелечек... Конфетку не хотите? Зря, мне на заказ делают, самые мои любимые, — продолжал нести чушь Иосиф Гурамович. — А в клуб правильно вступать не хотите. Что за название такое — «Педигри»? Те, кто английского не знает, думают, что тут собаководы или педерасты собираются. Некоторые даже на приглашение обижаются, или, как у нас выражаются отдельные аристократы, *берут в падлу*. Администрация хочет поменять название на «Голубую кровь». Но тоже получается двусмысленно.

Певица, допевшая длинную песню про упоительные вечера, объявила в микрофон:

— А теперь, по традиции, для нашего дорогого Иосифа Гурамовича прозвучит его любимая песня «Сулико».

И, сложив руки на груди, запела:

*Я могилу милой искал,
Но ее найти нелегко.*

По залу пронесся шелест негромких аплодисментов. Габуния отложил кий, поклонился и сделал вид, что дирижирует оркестром.

— Ненавижу эту тягомотину, — пробурчал банкир Фандорину и, сложив губы розочкой, послал певице воздушный поцелуй. — Шиш тебе, а не сто баксов, коза драная.

— Послушайте, — тихо спросил Николас. — Зачем вы из себя шута строите? Вы ведь совсем не такой.

Иосиф Гурамович дерзкому вопросу ничуть не удивился, а только покосился на магистра блестящим глазом.

— Во-первых, Николай Александрович, я отчасти и есть шут. — Он прошелся вокруг стола, выбирая позицию для удара. — А во-вторых, нельзя разочаровывать людей. Они от меня ждут определенного поведения, зачем же я буду разрушать имидж? Я, например, теннис терпеть не могу, а хожу играть. Ракеткой по мячику еле попадаю. Но, как говорится, выигрывает не тот, кто хорошо играет, а кто правильно выбирает партнеров. Что сходит с рук толстому, смешному Сосо, лупящему на барвихинском корте в сетку, не сошло бы с рук Иосифу Гурамовичу, который дерет всех в бильярд и покер. Это уже не для дела — для души. Я, Николай Александрович, никогда не проигрываю, даже если меня делают под сухую, как вчера на корте с... — Тут он назвал имя и отчество, от которых Николас вздрогнул — не шутит ли? Непохоже, чтоб шутил.

Неожиданно грузин повернулся к Фандорину всем своим тучным телом, посмотрел магистру в глаза и спросил:

— Николай Александрович, вы вообще-то кто?

Николас заморгал. Что за вопрос такой? Или хитрый банкир снова придушивается?

— Нет, я знаю, что вы британский подданный

русского происхождения, — продолжил Иосиф Гурамович, — что вы специалист по русской истории, что позавчера прилетели, остановились в «Интуристе» и собирались поработать в архиве. Я ведь говорил, мне собрали на вас досье. Но там нет ничего такого, из-за чего Седой стал бы напускать на вас самого Шурика. Значит, досье можно спустить в унитаз, самого главного про вас там нет. Кто вы? Судя по тому, что вы сами на меня вышли, вы не прочь мне об этом рассказать.

Неужели Большой Сосо ничего не знает? Не может быть. Прикидывается.

— Седой? Какой Седой? — осторожно спросил Фандорин.

Габуня удовлетворенно кивнул:

— Ага. Кто такой Шурик, вы не спрашиваете. Ну да, вы ведь вчера с ним близко познакомились. Удивительно, как это вы до сих пор живы.

— Не в последнюю очередь вашими молитвами, — в тон ему ответил Николас. — Почему ваши люди за мной следили?

— Мои люди следили не за вами, а за Шуриком. — Иосиф Гурамович положил кий, стал вытирать платком руки, перепачканные мелом. — Потому что он работает на Седого. Все знают, что Шурик мелочевкой не занимается. Если Седой заказал вас ему, значит, вы человек непростой. Что возвращает нас к заданному вопросу. Кто вы на самом деле, Николай Александрович? Зачем приехали в Москву? И почему Седой хочет вас остановить?

«Если Габуня притворяется, то он незаурядный актер», — подумал Фандорин. Отвечать вопросом на вопрос невежливо, и все же он спросил:

— Я не знаю никакого Седого. Кто это?

Большой Сосо скептически пожевал губами, терпеливо вздохнул:

— Мой враг.

— Какая-нибудь вендетта? — спросил Николас, вспомнив про кровную месть, клятву на обнаженном кинжале и прочую кавказскую экзотику.

— Почему вендетта? — удивился банкир. — Просто с некоторых пор мы с Седым стали мешать друг другу. Он вырос, я вырос, нам с ним вдвоем тесно, уже и в Сибири не помещаемся. Бизнес, Николай Александрович. Или он меня скушает, или, что вероятнее, я его. Третьего не дано. Вот мы с Седым и следим друг за другом, ждем, кто первый сделает ошибку... Видите, Николай Александрович, я с вами абсолютно откровенен, отвечаю на все вопросы. Рассчитываю на такую же открытость с вашей стороны. Прикиньте сами, долго ли вам удастся бегать от Шурика? А я вас могу защитить.

Николас поморщился. Что-то все сегодня хотели его защищать. С одной стороны, это было лестно, с другой — вызывало всевозможные вопросы. Алтын говорила про склоку из-за дележа компании «Вестси-бойл». Все в России помешались на нефти и газе. Можно подумать, в стране нечего делить, кроме топливного сырья. Но какое отношение стычка нефтяных магнатов имеет к скромному магистру истории?

Похоже, Сосо сам ничего не знает. Он увидел, что его соперник зачем-то хочет убить заезжего англичанина, и действовал по принципу: расстраивай планы врага, даже если не знаешь, в чем они состоят.

«Я обратился к вам, потому что я ежик в тумане и надеялся с вашей помощью этот туман хоть чуть-чуть развеять», — хотел бы честно признаться Фандорин, но было ясно: грузин ничего ему объяснить не может. Или не хочет.

Зазвонил телефон, лежавший на столике возле конфетной коробки. Габуня взял трубку. Слушал молча. Одна бровь приподнялась. Потом к ней присоединилась вторая. Взгляд банкира почему-то обратился на Николаса и стал острым, пронизывающим.

— Понял, Владимир Иванович, — сказал Сосо и положил трубку.

Взял конфету, стал ее медленно жевать, все так же глядя на Фандорина.

— Это был Владимир Иванович Сергеев, мой

советник по безопасности. В прошлом полковник контрразведки, человек с большими связями. Ему только что сообщили интересную новость. Шурик найден убитым. Три пули в животе, три в затылке... Я вижу, Николай Александрович, это известие вас не удивляет? Кроме того, Владимир Иванович сказал, что в связи с этим происшествием объявлен в розыск некий британский подданный...

Николас почувствовал, что бледнеет. Вдруг хитроумный Габуня решит, что будет выгоднее передать беглого англичанина милиции?

— Делаю вывод. — Иосиф Гурамович задумчиво повертел на пальце перстень. — Вы пришли ко мне не за защитой. Похоже, вы сами умеете себя защищать. Тогда зачем вы пришли? Хотите продать какую-нибудь информацию? Если она может быть использована против Седого, куплю и хорошо заплачу.

Фандорин покачал головой.

— Не хотите, — констатировал Сосо. — Тогда что? Может быть, вы пришли ко мне за помощью?

Магистр хотел снова покачать головой, но заколебался. Он ведь и в самом деле пришел сюда за помощью. Что он может один? В чужой стране, в чужом городе, разыскиваемый милицией и мафией?

Габуня налил коньяку в две рюмки.

— Понятно. Вам нужна помощь. Я вижу, вы человек серьезный, попусту слов не тратите. Уважаю таких — сам-то я болтун... Знаете что, Николай Александрович, не хотите говорить, что вы там не поделили с Седым, — не надо. Я вам все равно помогу.

— Не знаю я никакого Седого! — вырвалось у Николаса. — Честное слово!

Последнее восклицание получилось чересчур эмоциональным, пожалуй, даже детским, и, верно, сильно подпортило образ немногословного и сдержанного агента секретной службы ее величества («Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд»), который, кажется, нарисовал себе Иосиф Гурамович.

Бровь магната снова приподнялась. Полные рюмки Габуня отставил в сторону, взял кий и ударил по

шару номер 6. Шестой острым углом обогнул спящую Жужу и ушел в лузу, предварительно шелкнув по номеру седьмому, который завертелся вокруг собственной оси и тоже покатился прямым в сетку.

— Знаете, Николай Александрович, — сказал банкир после довольно продолжительной паузы, — может быть, я полный — во всех смыслах — идиот, но я вам, пожалуй, верю. Верю, что вы понятия не имеете, кто такой Седой и с какой стати он решил вас убить. Я не первый год на свете живу и знаю, что людские интересы иногда переплетаются самым причудливым образом. — Удар кием. — Ай, какой шар! Какой красавец! За него — марципуску... — Вознаградив себя за очередное попадание, Иосиф Гурамович продолжил: — Пускай вы не знаете Седого, зато он вас знает. Самого Шурика на вас зарядил — это вам не кусок хачапури. Вот как сильно господин Седой хочет вам помешать в вашем деле. А это значит, что Сосо — это, Николай Александрович, друзья меня так зовут — так же сильно хочет вам помочь в вашем деле, в чем бы оно ни заключалось. Кстати, в чем оно заключается, ваше дело? Вы зачем приехали в Москву? Только честно.

Николас ответил, загибая пальцы:

— Прочсть одну старую грамоту в архиве. Поискать следы моего предка Корнелиуса фон Дорна, жившего триста с лишним лет назад. Собрать материал для книги. Все, больше ничего...

Он сам чувствовал, что его слова прозвучали глупо и неубедительно, но Сосо выслушал внимательно, поразмыслил, покивал головой.

— Ну вот и ищите, ну вот и собирайте. Не знаю, чем ваш уважаемый предок так насолил Седому, но доведите дело до конца. А я окажу вам любую помощь. Любую, — со значением повторил Габуня. — Так что, профессор, работаем?

— Я не профессор, я всего лишь магистр истории, — пробормотал Николас, еще раз взвешивая все за и против.

Уехать из России все равно нельзя. Ну хорошо,

выберется он из страны по фальшивым документам, которые Сосо, вероятно, может изготовить не хуже, чем Владик. И что дальше? Въезд на территорию Соединенного королевства по фальшивому документу — это уголовное преступление. Не говоря уж о том, что российский МВД может обратиться с официальным запросом о Николасе А. Фандорине, подозреваемом в совершении убийства. Очень возможно, что уже завтра мистер Лоуренс Пампкин получит от властей соответствующий сигнал.

Нет, бегство не выход. Значит, в любом случае придется задержаться в Москве.

Причина всех злоключений содержится в письме Корнелиуса, больше не в чем. А что представляет собой письмо? Указание о местонахождении тайника, где хранится какая-то «Иванова Либерия».

Почему похищенный документ подбросили обратно?

Одно из двух. Или похитители поняли, что никакой ценности он не представляет. Или же, наоборот, письмо им стало не нужно, потому что, воспользовавшись содержащимися в нем разъяснениями, они уже нашли то, что искали.

Ах, нет, нет! Николас задержался, осененный догадкой. Сосо так и впился глазами в англичанина, ни с того ни с сего принявшегося махать руками.

Все проще и логичнее! Похитители прочли письмо, увидели, что оно отчасти зашифровано («яко от скалы Тео предка нашего к Князьему Двору», «в числе дочерей у предка нашего Гуго») и поняли, что кроме специалиста по истории рода фон Дорнов разгадать этот код никто не сможет. Они нарочно подбросили Николасу письмо, чтобы он занялся поисками, а сами, должно быть, вознамерились за ним приглядывать! И что же — идти у них на поводу, у этого мафиозо Седого с его наемными убийцами?

Однако стоило взглянуть на дело и с другой стороны. Если бандиты до такой степени уверены, что письмо имеет реальную ценность, то почему он, прямой потомок Корнелиуса, не хочет прислушать-

ся к зову предка? Шурика больше нет. Седой остался с носом. Почему бы не поискать «Иванову Либерей» самому?

Николас затрепетал, представив себе, каково это было бы — найти тайник, зарытый капитаном фон Дорном! Именно этот внерациональный, мистический трепет и перетянул чашу весов.

— Хорошо, — медленно проговорил Фандорин. — Я попробую. А от вас, господин Габуня, мне нужно следующее. Первое: чтобы меня не отвлекали от поисков...

— Прикрывали со спины? — понимающе кивнул Сосо. — Это я легко устрою. Приставлю к вам Владимира Ивановича. Он будет оберегать вас лучше, чем Коржаков президента. Что второе?

— Я нахожусь в милицеском розыске, а мне необходимо подобрать кое-какие книги, материалы, старые документы...

— Дайте Сергееву список — он все разыщет и достанет. Любые книги, любые документы. Хотя из секретных архивов ФСБ. Что еще?

— Хорошо бы одежду, — вздохнул Николас, брезгливо покосившись на свою замызганную рубашку и латаные брюки. — Это можно устроить?

— Проблема трудная, но разрешимая, — весело сказал банкир и взял в руки рюмки. — У нас с вами много общего, Николай Александрович. Мы оба люди с трудными проблемами. Давайте выпьем за то, чтобы все они разрешались так же легко.

— Нет-нет, мне будет плохо, — испугался Фандорин. — Я сегодня уже пил. Много.

Кажется, этот довод в России веским не считался. Иосиф Гурамович улыбнулся словам магистра, как удачной шутке, и втиснул ему в пальцы рюмку.

— Это двадцатилетний коньяк. От него никому еще плохо не становилось. Только хорошо. Что вы, как Монте-Кристо в гостях у графа де Морсера, — ничего не пьете, не кушаете? Разве мы с вами враги? Мы заключили взаимовыгодную сделку, ее нужно спрыснуть. Ваша выгода очевидна. Я тоже сделал

полезную инвестицию, от которой ожидаю хороших дивидендов.

Фандорин с сомнением посмотрел на золотисто-коричневую жидкость. Разве что одну рюмочку, чтобы не простудиться после сиденья в сквере?

— Выпьем за наши трудные проблемы, дорогой Николай Александрович, — чокнулся с ним банкир, — потому что без трудных проблем на свете было бы очень скучно.

— Я отлично прожил бы и без вашего Седого, — сварливо буркнул Николас, но все же выпил.

Оказывается, Габуня сказал истинную правду — от одной-единственной рюмки волшебного напитка магистру сразу стало хорошо. Так хорошо, что означать это могло только одно: от дополнительного вклада все прежние алкогольные инвестиции, на время замороженные холодом и нервным потрясением, оттаяли и стали давать дивиденды. Кажется, это называется «на старые дрожжи».

— При чем здесь Седой? — удивился Сосо. — Седой — это не проблема, а тоненькая заноза в моей толстой заднице. Я эту занозу обязательно вытащу — надеюсь, с вашей помощью. Нет, уважаемый Николай Александрович — дайте-ка вашу рюмочку — мои проблемы куда как мудреней. — Выпили, закусили шоколадом, и банкир продолжил. — Трудных проблем у меня три. Первая: я вешу 124 кэгэ, надо худеть, а я очень люблю кушать. Вторая: мне не везет в любви, у меня очень странные отношения с этим великим чувством. И третья: я хожу в церковь, я построил три храма и кормлю четыре богадельни, а в Бога не верю — совсем, сколько ни стараюсь. И книги религиозные читаю, и молюсь — а все, как говорится, мимо кассы. Вот что я называю трудными проблемами. Решать их надо, а как — ума не приложу.

Выпили по второй, и теперь Николасу стало еще лучше. Кажется, он угодил в тривиальную ситуацию, многократно описанную и экранизированную: иностранец как жертва агрессивного русского хлебосольства. Наверное, это и называется

«запой», подумал магистр — когда начинаешь новый раунд выпивки, еще не протрезвев после предыдущего. Больше всего тревожило то, что не хотелось останавливаться.

Николас снова подставил рюмку, поглядел на Иосифа Гурамовича и внезапно ощутил прилив искренней симпатии к этому выдавшему виды, хитрющему, а в то же время такому по-детски открытому толстяку.

Растроганное пощипывание в груди означало, что сейчас Николаса понесет давать добрые советы. Двадцатилетний коньяк ослабил все сдерживающие механизмы. Магистр продержался еще с полминуты — пока Сосо выставлял на зеленом столе шары треугольником, — а потом капитулировал.

— С верой проще всего, — сказал он.

— Да? — удивился Габуня, застыв с уже нацеленным кием.

— Не надо стараться, не надо заставлять себя верить в Бога. Пустое это дело.

— Вы думаете? Так что, денег на богадельни больше не давать?

Звонкий удар. Треугольник рассыпался на желтые кругляшки, ни один из которых — истинное чудо — не коснулся дремлющей Жужи.

— Почему же не давать — давайте, дело хорошее, — разрешил Николас. — Только не ждите, что на вас за эти деяния благодать снизойдет. Давайте, если деньги есть, а о вере не думайте. Если в вас потребность есть, вера, когда надо, сама придет, а за уши вы ее из своей души все равно не вытянете. Выпьем?

Выпили.

— Теперь поговорим о ваших странностях любви, — предложил Фандорин, заедая коньяк миниатюрным эклерчиком. Настроение у магистра было победительное, все на свете проблемы казались ему сейчас легкими и разрешимыми. — Здесь-то что не так? У вас же молодая жена-красавица, я читал в журнале.

— Она меня не любит, — горько сказал Сосо, его толстые щеки скорбно обвисли. — Восьмой об девятую и в среднюю... И всю жизнь так было. Рок. Первый раз в двадцать лет женился. Невеста — ангел, папа — секретарь райкома. Так любил ее, так любил! «Миллион алых роз» песня была, помните?

Николас помотал головой — не помнил. Окружающее пространство начинало вести себя так же безответственно, как в «Кабачке». Даже еще хуже.

— Пугачева пела. Но это она уже потом пела, в восьмидесятые. А я своей Нино еще в шестьдесят шестом, безо всякой Пугачевой, весь урожай цветочного колхоза «Сорок лет Октября» купил и улицу перед домом розами выложил! Вот как любил... А она нос драла, обзывала, унижала. С мужчинами кокетничала. Изменяла... — Голос Габунии дрогнул от горьких воспоминаний. — Не выдержал, убил ее.

Фандорин поперхнулся коньяком.

— Тридцать лет прошло, — успокоил его Сосо. — Я был молодой, горячий. Еще даже университет не закончил. Тогда законы были строгие, шесть месяцев в тюрьме сидел! — Он гордо поднял палец, но тут же снова поник. — Второй раз женился — опять по сумасшедшей любви. Она певица была, в тбилисской опере. Голос — серафимы в раю так не поют! По всей стране на гастроли ездила. Я за ней — как собачонка, вот как Жужа эта таскался! Вокруг нее увиваются всякие хлюсты, букеты шлют, записочки, а я терплю. Семнадцать лет терпел! Она в восемьдесят девятом на машине разбилась, царствие небесное. Сколько позора было...

— Почему позора? — нахмурился сопереживающий Николас.

— Так она в машине Хурцилавы ехала. Актер у нас такой был, известный ходок. Когда автогеном крышу срезали, вынули их — он за рулем без штанов сидит, и моя Лика рядом... Ай что было! — махнул рукой Иосиф Гурамович. — Из Тбилиси в Москву переехал. Думал, хватит — больше никаких жен, никакой любви. А увидел Сабрину — и все, пропал, старый дурак.

Ничего для нее не жалею: кутюры там всякие, цапки, игуану из Америки заказал — ящерица такая мерзкая, Сабриночка захотела. И что? На прошлой неделе с массажиста ее снял. Позавчера шофера уволил. Три с половиной месяца после свадьбы прошло! Сто дней! И, главное, хоть бы прощения попросила — какой там! Только смотрит вот так своими глазищами. — Сосо задрал голову и наморщил нос, изображая презрительный взгляд. — Нет, Николай Александрович, не понимаю я про любовь чего-то самого главного... Третьего об одиннадцатого и в угол.

Подумав, Фандорин изрек:

— По-моему, Иосиф Гурамович, вы про любовь все отлично понимаете, и всякий раз находите такую женщину, которая делает вас счастливым.

От неожиданности рука мастера дрогнула. Шар пошел вкось — прямо в лоб бедной Жуже. Той-терьер с возмущенным визгом запрыгал по зеленому сукну, затыкал, но Сосо даже не взглянул на свою любимицу — снизу вверх, через плечо, смотрел на Николаса.

— Шутите, да? — обиженно сказал банкир. — Английская ирония, да?

— Вовсе нет, — стал объяснять Фандорин. — Просто для вас счастье в любви — это ощущать себя нелюбимым и несчастным, мучиться ревностью. Ведь что такое любовь? — Магистр вдохновенно взмахнул пустой рюмкой. — Любовь — это ощущение, что ты можешь получить от другого человека нечто для тебя жизненно необходимое. То, чего никто другой тебе дать не сможет. Нередко это ощущение обманчиво, но сейчас речь про иное. Вот часто говорят: «Какая несчастная пара! Жена его, бедняжку, так мучает, так мучает, а он, долготерпец, все равно ее обожает, все прощает, и ведь живут вместе столько лет, не расходятся». А на самом деле долготерпцу и нужна такая, которая будет его мучить. Попадись вам, Иосиф Гурамович, другая женщина, которая на вас молилась бы, вы на нее, поди, и смотреть бы не стали — выгнали взащей... Так что с любовью и семейным счастьем все у вас в полном порядке.

Магистр сам плеснул себе коньяку.

— Какая была третья проблема?

— Жирный очень, — с некоторой растерянностью напомнил Сосо. — Стыдно сказать — шнурки сам завязать не могу. На диетах всяких сидел, в лечебницах водорослями питался — ничего не помогает. Мучаю себя два месяца, сброшу двадцать кило, а жизнь не в радость, только про шашлык думаю, про омары, про баранью ногу под ореховым соусом. Потом плюну — и за месяц обратно набираю, те же 124 кэжэ.

— А 125 килограммов у вас бывало? — строго спросил Николас.

— Никогда. 124 — и точка. Ни вверх, ни вниз.

— Ну так и не надо вам худеть. — Фандорин сейчас был настроен великодушно. — 124 килограмма — ваш оптимальный вес, тот объем, на который вас запрограммировала природа. Если б вы и дальше толстели — тогда другое дело. А так ешьте, пейте себе на здоровье. О, кстати! — Он поднял бокал. — Как говорят у нас за рубежом те, кто не знает русского языка: Na zdorovye!

— Нравитесь вы мне, Николай Александрович, — прочувствованно сказал Сосо, выпив «на здоровье». — Мудрый вы человек. Разрешите вас обнять.

— Сейчас, — выставил ладонь магистр. — Сначала стихотворение прочту, философское. Только что родилось.

Приложение:

Хромающий лимерик, прочитанный Н. Фандориным в клубе «Педигри» ночью 15 июня:

*Злодеев нет вовсе на свете.
Мы все простодушны, как дети.
Задиры и врушки,
Мы все делим игрушки,
А нам пока стелют кровати.*

Глава двенадцатая

Подземная Москва. Что-то есть! Острее, чем у волка. В Константино-Еленинской башне. Последняя воля христолюбивого государя.

— **П**оймите, — уже в который раз повторял Вальзер, виновато глядя на капитана поверх очков. — Я должен был вас испытать. Да, все это время я знал, где спрятана Либерея, но проникнуть туда все равно было невозможно, а я хотел присмотреться к вам получше. За этот месяц я убедился, что вы человек честный и неболтливый. Я сделал правильный выбор.

— Послушайте, герр Вальзер, я уже сказал, что не сержусь на вас, хотя выходит, я зря обстучал полы во всех дворцовых подвалах. — Терпение Корнелиуса было на исходе. — Довольно оправданий! Рассказывайте скорей, где находится тайник. Как вы его нашли? Когда?

Они быстро шагали по темнеющей предвечерней улице, что вела к скородомским воротам.

— Сначала я расскажу вам, как определил место. Тут ведь главное — работа мысли, сопоставление и правильное истолкование сведений. Остальное — ерунда: немного ловкости и напряжение мышц. Основную работу исполнил разум. Я говорил вам про запись от 1564 года в письмохранилище Государевых мастерских палат о водовзводных дел мастере Семёне Рыжове, помните? Но я утаил от вас, что в столбцах о строительстве царева Опричного двора, возводившегося в то же самое время, тоже упоминается

Рыжов, а с ним и некие неназванные «подземных дел мастера». Из исторических хроник известно, что из царского терема на Опричный двор, куда Иван перебрался в 1565 году, вел подземный ход, прокопанный под кремлевской стеной и рекой Неглинкой. Понимаете, к чему я веду?

— Вы хотите сказать, что под этим, как его, Опричным двором мастер Рыжов соорудил еще один водонепроницаемый тайник?

Фон Дорн наморщил лоб, пытаясь угадать, к чему клонит аптекарь.

— Если б это был *еще один* тайник, то в росписи был бы дополнительный заказ на свинцовые доски или какие-то другие материалы, а ничего подобного для Опричного дворца не понадобилось. Нет, речь идет о том же самом хранилище, я сразу это понял! Свинцовые доски привезли в Кремль, а работы производились в Опричном дворце, под землей, понимаете?

— То есть... — Корнелиус остановился, хлопнул себя рукой по ляжке. — То есть, из-под дворца прорыли ход к Опричному двору и перенесли свинец под землей? Но зачем? Для секретности, да?

— Конечно, для чего ж еще! — Вальзер возбужденно засмеялся, щурясь от снежной пороши, задувавшей спутникам в лицо. — Известно, что Боровицкий холм, на котором стоит великокняжеский замок, с давних пор весь изрыт подземными лазами. Мне рассказывали сведущие люди, что прямо посередине холма в древности проходил овраг, впоследствии засыпанный землей. Засыпать-то его засыпали, но галереи остались. А уж в более поздние века кто только под Кремлем не копал! Тот лаз, что вы нашли в подвале Каменного Терема, недавнего происхождения. Может, Алексеев воспитатель и сопроводитель боярин Морозов велел проложить — он, говорят, был охоч до чужих тайн. А с Опричным двором царя Ивана вышло вот как. Во время нападения крымских татар на Москву сей деревянный дворец

выгорел до головешек. Разумней было бы отстроить его на ином месте, чтоб не разбирать обгорелые бревна. Однако царь велел возвести новые хоромы на том же пепелище. Почему, спросите вы?

— Из-за подземного свинцового тайника! — воскликнул капитан. — Он-то ведь в пожаре сгореть не мог!

— Правильно, мой славный друг. Я тоже так подумал. А потом, когда царь снова перенес резиденцию в Кремль, он не стал переводить Либерею в другое место — не за чем было. От государева терема до тайника подземным ходом добираться было не больше пяти минут, хватало и одной малой свечки.

— Где же располагался Опричный двор?

Лицо Вальзера сморщилось в улыбке.

— На Моховой улице — по-нынешнему как раз посередине между Земским приказом и Нарышкинскими палатами...

У фон Дорна отвисла челюсть — в рот сразу сыпануло мелкой снежной трухой.

— Так... Так это ж усадьба митрополита Антиохийского!

Аптекарь засмеялся.

— То-то и оно. А теперь я расскажу вам, мой храбрый капитан, почему меня не жалует высокопреосвященный Таисий. Вычислив, где должен находиться свинцовый тайник, я нанялся к митрополиту домашним библиотекарем. В ту пору я еще не знал об истинной цели приезда Таисия в Россию. А когда обнаружил среди его бумаг целую тетрадь, сплошь заполненную сведениями о Либерее, стал вдвойне осторожен... К счастью, грек пустился по ложному следу. Он уверен, что царь Иван вывез книжные сокровища в Александрову Слободу, и год за годом ищет тайник там — перекопал все развалины, а местами зарылся под землю чуть не на тридцать локтей. — Вальзер зашелся в приступе благодушного смеха — злорадничать этот добряк, кажется, не умел вовсе. — Разве не смешно? Сидит прямо над

сокровищем, а сам роет землю за тридцать лье от этого места. Библиотеку митрополит собрал хорошую, тоже большущих денег стоит, но до Либереи ей, конечно, далеко. Моя работа состояла в том, чтобы переписать все тома на малые листки с кратким описанием, а после разложить эти карточки по темам и дисциплинам. Придумано очень даже неглупо — Таисий назвал эту методику «картотека». Когда книг очень много, бывает нелегко найти нужную, а тут берешь ящик с листочками, и сразу все видно. К примеру, вам нужно найти некоторые сведения по космографии...

— Герр Вальзер, — вернул увлекшегося книжника к главному капитан. — Про картотеку вы мне как-нибудь после расскажете. Давайте про Либерею.

— Да-да, простите, — виновато закивал аптекарь. — У Таисия я проработал несколько месяцев. Дело с картотекой двигалось медленно, потому что, как вы понимаете, занимался я в основном совсем другим. Свою драгоценную библиотеку митрополит, проявив разумную предусмотрительность, разместил не в верхней, бревенчатой части дворца, а в каменном подвале, глубоко уходящем под землю. Там удобное место для рытья — естественная ложбинка. Я подумал, что и сто лет назад, во время строительства Опричного терема, мастера должны были рассуждать так же. Если тайник действительно здесь, то искать нужно прямо под митрополитовой библиотекой. Днем я был занят службой в Аптечном приказе и своей врачебной практикой, на Моховую приходил вечером, а работал по ночам. Так было лучше для моих целей — и слуги, и Таисий спали. Я разобрал небольшой участок пола — расковырял дубовые плашки, чтобы их было легко вынимать и ставить на место. Паркет оказался положен на доски. Я выпилил в них квадратное отверстие и сцепил обрезки клеем собственного изготовления. Получилось подобие люка. Под досками была зола и горелая земля — следы татарского пепелища. Тут началась самая трудоемкая часть работы. Я

копал яму, вынося землю в маленьких мешочках. Дело шло медленно. Месяц за месяцем я почти не спал, ел что придется, на бегу — и ничего: не заболел, не ослабел. Наоборот, развил мышечную силу и укрепил здоровье. Вот вам лишнее доказательство того, что телом руководит разум. Возможности человеческого организма поистине безграничны! Надо только уметь правильно использовать арсенал, предоставленный нам благодетельной физиологией! Если б люди сами не связывали себе руки пустыми суевериями, не унижали бы собственный разум, они были бы подобны античным богам. «Что за чудо природы человек! Как благороден рассудком, как безграничен в способностях!» — сказал великий Шекспир.

— Кто? — переспросил Корнелиус. — Впрочем, неважно. Ради Христа, герр Вальзер, не отвлекайтесь на пустяки. Объясните лучше, как вам удалось в течение нескольких месяцев вести свои раскопки незамеченным?

— О, я отлично все продумал, — с гордостью заявил аптекарь. — Я разработал превосходную систему. Позвольте вашу шпагу. Вот, смотрите. — Он сел на корточки и стал рисовать ножами по снегу. — В подвал, где библиотека, можно попасть только по лестнице, которая ведет из спальни Таисия. На ночь грек от меня запирался, и до самого утра выйти я не мог, что меня отлично устраивало. Мне ставили кувшин меда, еду, нужное ведро, выдавали соломенный тюфяк. Именно тюфяк и подал мне идею. Я принес из дому еще несколько таких же, потихоньку набил их шерстью и стал класть под выемку в полу — чтобы паркет не производил резонанса. Под одной из верхних ступенек лестницы я пристроил пружину, соединенную с колокольчиком, который находился подле меня, в яме. Если б Таисию вдруг взбрело в голову ночью спуститься в библиотеку, я сразу же получил бы предупредительный аларм. Лестница там довольно высокая и крутая, а у грека подагра, поэтому мне хватило бы времени выбраться из своей ямы и положить

на место вынутые плашки. Один раз митрополит и в самом деле спустился в подвал далеко за полночь, ему понадобился некий манускрипт. Услышав звон колокольчика, я ужасно испугался и от волнения никак не мог вставить один из дубовых квадратов в паз — пришлось положить сверху развернутую книгу. Таисий только сказал мне: «Что же вы, доктор Вальзер, читаете на четвереньках? За столом вам было бы удобнее». Я промямлил что-то неразборчивое — очень уж трясся. Ничего, обошлось. За семь месяцев еженощного труда я углубился в землю на семь футов. Утрамбовал ступеньки, чтоб удобней спускаться и подниматься. Иногда, конечно, мучился сомнениями — не ошибся ли я в своих выводах? А второго декабря минувшего 1675 года (я навсегда запомню этот день, главный день всей моей жизни!) тесак, которым я рыхлил землю, ударился о камень. Стал расчищать — каменная кладка! Аккуратные кубы известняка, скрепленные строительным раствором. Приложил ухо, стучу — яственный металлический отзвук.

— Да что вы! — Корнелиус схватил аптекаря за плечо.

— Вы делаете мне больно, герр капитан... Да, глухой звон! Это было, как волшебный сон. Не буду утомлять вас подробностями того, как я вынимал и выносил камни, как выпиливал дыру в свинцовой оболочке. Пришлось трудненько, потому что пользоваться долотом я не мог — поднялся бы грохот на весь дом. 16 декабря работа завершилась. Я осторожно вынул тяжелый квадрат свинца и спустил в отверстие фонарь на веревке...

— Ну? — Сердце у фон Дорна сжалось в тугую кулачок — ни вдохнуть, ни выдохнуть. — Что там оказалось?

— Она! Либерея! — зашептал Вальзер, хотя на темной улице кроме них двоих не было ни души. — Спуститься вниз мне не удалось, но я видел сундуки, много старинных сундуков! Две или три дюжины!

— А вдруг там не книги? — перешел на шепот и Корнелиус. — Вдруг там золото?

— Какое еще золото? — испугался Вальзер. — Что вы такое несете! Там не может быть золото, это Иванова Либерея!

Аптекарь так разволновался, что пришлось его успокаивать — ну, разумеется, в сундуках могут быть только книги. А думалось: хоть бы и не Либерея, черт с нею! Старинные сундуки! Уж верно в них хранится что-нибудь очень ценное. Но здесь на память Корнелиусу пришел дворцовый тайник с гнилыми соболями, и возбуждение несколько поутихло. Второго такого разочарования мне не пережить, сказал себе фон Дорн.

— А почему вам не удалось спуститься?

Вальзер вздохнул.

— Той ночью у меня не было с собой веревочной лестницы, и я отложил спуск на завтра. А наутро меня с позором изгнали из митрополитовых палат... Увы, друг мой, я виноват сам. Когда меня выпустили из подвала, я был словно не в себе — непочтительно поздоровался с высокопреосвященным и чуть ли не фыркнул ему в лицо. Смешно показалось: спит прямо на Либерею, а самому невдомек. Таисий чванлив, дерзости от низших не терпит. Вселел челяди вытолкать меня вшаей и более не пускать. Заодно уж и жалованья не выплатил... Но жалованье — ерунда. Хуже другое. Когда монахи меня через двор пинками гнали, я выронил свою памятную книжку, сам не заметил как. А в той книжке, среди разных мыслей философского рода, еще скопирован список Либереи, обнаруженный мною в Дерптском университете.

— Какая неосторожность! — воскликнул фон Дорн.

— Мог ли я предположить, что листок попадет в руки Таисия, единственного человека во всей Московии, способного понять смысл этого перечня...

— Откуда вы знаете, что митрополит прочел ваши записи?

Вальзер уныло ответил:

— Да уж знаю... На следующий же день вечером, когда шел из Аптекарского приказа, меня схватили за руки двое чернецов, поволокли по улице. Я кричал, отбивался — никто не помог. Один — он еще меня в ухо кулаком ударил, очень больно — сказал: «Владыка тебя видеть желает». Зачем бы Таисию меня, жалкого червя, видеть, если не из-за Либереи? Нет, прочел злокозненный грек мой список, обязательно прочел. И, верно, вообразил, что я прислан кем-то за ним шпионить. Кем-то, кто ведает про митрополитов интерес к Либерее... Тогда мне повезло. Близ Троицкого моста, что на Неглинной, увидел я моего начальника дьяка Голосова со стрельцами — он вез царю снадобья из Немецкой аптеки. Я закричал, забился. Монахи и убежали. После того случая я нанял двух крепких слуг и никуда без них не выходил. Ломал голову, как же мне до тайника добраться. Решил, что во всей Москве только у канцлера Матфеева хватит влияния одолеть митрополита. Ну, а про дальнейшее вы знаете — это уж при вас было... Весь месяц январь я ждал, не уедет ли куда Таисий — на богомолье в Троицу или хоть в Александрову Слободу, канавы копать. Тогда мы с вами попробовали бы в его палаты проникнуть и до Либереи добраться. А мерзкий грек все сидит сиднем, каждую ночь дома ночует. К старости Таисий стал на холод чувствителен. Видно, теперь уж до тепла с места не стронется. И вдруг такая удача с царевой апоплексией! Нынче митрополита всю ночь не будет, нельзя ему от смертного одра отлучаться. Сегодня нам выпал редчайший, возможно, неповторимый шанс!

* * *

К ночной экспедиции подготовились основательно — у Адама Вальзера все было продумано заранее.

Оделись в черное, облегающее. Сверху, для тепла,

натянули ватные татарские куцавейки. Шпагу фон Дорн не взял — длинна, неудобна. Вместо нее вооружился тесаком, кистенем на ременной петле, сзади, за воротом, приладил стилет в особых потайных ножах. Это один португалец во время Фландрской кампании научил: незаменимая вещь, когда нужно нанести молниеносный, неожиданный удар — вытягиваешь из-за спины и можешь метнуть или полоснуть врага по физиономии, это уж как удобней. Пистолеты брать не стал, шуметь все равно было нельзя. Вместо веревочной лестницы захватил веревку с узлами и крюком на конце — по такой можно не только спускаться вниз, но и подняться на стену либо в окно.

Вальзеру досталось нести масляный фонарь и запас свечей. Еще у него был с собой пустой рогожный мешок.

— Для книг, — пояснил аптекарь. — Много, конечно, не унесем — больно тяжелы, через ограду не перекинем. Мешка будет в самый раз. Замолея берем непременно, остальное по вашему выбору. Рогожная ткань нам подходит лучше всего. Устанем нести, можно на снег поставить, книги не промокнут.

До Моховой добрались без приключений — у капитана был ночной ярлык, по которому уличные сторожа без разговоров отпирали запертые на ночь решетки.

Стена вокруг митрополитского подворья была каменная, высотой футов десять. Корнелиус выбрал угол потемней, закинул крюк и враз оказался наверху. Вальзер карабкался долго, с пыхтением, а напоследок пришлось тащить его за воротник. Фонарь пока потушили.

Усевшись наверху, осмотрели двор. Тихо. Огни в палатах потушены. Из-за конюшни набежали два огромных брехливых кобеля, загавкали, молотя когтистыми лапами по стене.

Вальзер предусмотрел и это. Вынул из мешка (выходит, не совсем пустого) два куска мяса, бросил

псам. Они нажились, проглотили миготом, а через полминуты оба зашатались, повалились набок.

— Мертвы? — спросил фон Дорн.

Аптекарь ужаснулся:

— Что вы! Зачем без крайней необходимости лишать кого-то драгоценного дара жизни? Это сонное снадобье, я изготовил его для княгини Трубецкой, она бессонницей мучается. Если уж на ее сиятельство, в которой десять пудов веса, действует, то на митрополитских собак тем более.

Спрыгнули в сугроб, быстро пробежали двором к терему.

— Вон туда, — показал Вальзер. — Там черный ход, чтоб келейникам на двор, в отхожее место бегать. У грека-то теплый чуланчик близ спальни, с водосливом.

Капитан удивился:

— А водослив зачем?

— После объясню, — шепнул аптекарь. — Ну же, вперед!

За углом и в самом деле была низенькая дверь, вовсе незапертая.

Проскользнули в темные, душные сени, оттуда по двум ступенькам в узкую галерею.

— Тсс! — едва слышно прошелестел Вальзер. — Вон там Юсупова келья. Не дай бог разбудим. А нам дальше, в Таисиевы покои.

Корнелиус опасливо покосился на обиталище страшного человека, прокрался мимо на цыпочках.

— Теперь налево, — подтолкнул сзади аптекарь. — Там, в Крестовой палате, перед спальней владыки, всегда келейник сидит.

Капитан чуть высунулся из-за угла. Увидел просторную комнату с расписными стенами, одна — сплошь из икон. У малого стола со свечой сидел дитина в рясе, грыз ноготь. Зевнет, перекрестит рот и снова грызет.

— Если можно, — в самое ухо выдохнул Вальзер, — обойдитесь без смертоубийства.

«Сколько лишних трудностей из-за этого человека», — подумал фон Дорн. Но все же натянул на железное яблоко рукавицу.

Не спеша, вразвалку пошел через залу.

Монах захлопал глазами, прищурился со света в полумрак:

— Якимка, ты?

Последние пять шагов Корнелиус преодолел прыжками и с разлету ударил привставшего часового — не в висок, как следовало бы, а в крепкий, задубевший от земных поклонов лоб. Пускай живет, благодарит мягкосердечие герра Вальзера. Хотя надежней было бы проломить чернецу голову.

Детина упал ничком, даже не охнул.

— Скорей! — поторопил аптекарь.

— Погодите.

Капитан связал оглушенному руки и ноги его же вервием, сунул в рот кляп из скуфьи. Можно было двигаться дальше.

Через митрополитову спальню пробежали рысцой, толкнули высокую дверь, за ней открылась длинная лестница вниз.

Снова зажгли фонарь.

— Вот и библиотека, — объявил Вальзер, когда спустились в небольшое квадратное помещение, все в полках с книгами. — До трех тысяч фолиантов, ни у кого в Московии столько нет.

Теперь он говорил громко, в голос, уже не боялся, что услышат.

Посреди комнаты опустился на колени, поддел ножиком дубовую пластину, потом другую, третью, четвертую, вынул дощатый квадрат, за ним — плотно набитый тюфяк, и фон Дорн увидел темную яму с грубыми ступенями из утоптанной земли.

Нетерпеливо отодвинул Вальзера, полез в яму первым. Аптекарь сопел сзади.

В черную дырку с белыми металлическими краями спустили веревку, закрепили крюк.

— Ну, с Богом, — перекрестился Корнелиус.

Взял фонарь в зубы за медное кольцо, стал перебирать руками.

Вот и пол.

Сундуки, большущие! Три, еще шесть, в углу четыре, и потом у дальней стены. Всего двадцать восемь. Толкнул один — тяжеленный, не сдвинешь.

— Подержите веревку! — крикнул сверху Вальзер. — Я тоже хочу!

Не дождался, полез сам, потешно суча короткими ногами.

Капитан подергал замок на ближайшем сундуке (ох, крепок) и нежничать не стал — сбил кистенем, с одного хорошего удара. Под крышкой переливчато отсвечивала малиновым бархатная тряпица. Отдернул. Там, шириной во весь сундук лежал томище в толстом кожаном переплете. Фон Дорн приподнял его, увидел еще книги, много.

Поневоле вздохнул. Все-таки надеялся, что в тайнике окажется не Либерея, а что-нибудь понадежней — золотые монеты, или яхонты, или смарагды, или зернь.

— Я вам говорил, я говорил! — всхлипывал Вальзер, любовно глядя рыжую телячью кожу.

Он схватил кистень, забегал среди сундуков, будто исполняя какой-то диковинный танец. Собьет замок, откинет крышку и давай бормотать чудные слова — должно быть, названия книг.

— О, Гефестион! О, Коммодиан! А это кто? Неужто Либаний? Невероятно! Но... но где же Замолей?

Корнелиус тоже времени даром не терял. Оставшись без кистеня, вскрывал сундуки тесаком. Книги в кожаных переплетах бросал на пол, в драгоценных откладывал. Некоторые были просто заглядение: с жемчугом, яшмой, изумрудами. Самые богатые оклады совал в мешок, и скоро стало некуда. Пришлось кое-какие попроще вынимать обратно, заменять более ценными. Сокровищ было столько — не счесть!

По матово посверкивающему свинцовому своду металась тени, блики от самоцветов. Безумное бормотание Вальзера сливалось в неразборчивый сип.

Мешок получился тяжеленек, а еще на стену лезть да потом через всю Москву волочь.

— Скорей! — поторопил фон Дорн, оглядываясь на разбросанные книги — не забыл ли чего ценного. — Найдут связанного келейника, поднимут шум.

— Не найдут, — уверенно ответил аптекарь. — Если б митрополит ночевал в опочивальне, тогда монаха сменили бы в три часа ночи, а так не станут.

— И все же поторопитесь.

Ответом были скрип отпираемой крышки, сосредоточенное сопение.

Лениво раскрыв первую попавшуюся книгу, Корнелиус увидел греческие письма. Закрыл. Понравился небольшой манускрипт с разноцветными картинками и затейными буквицами. Заколебался — может, прихватить? Нет, больно оклад прост — медный, с серебряной насечкой.

— Есть!!! — истошно взвыл Вальзер. — Есть! Вот она! Вот! И камни огненные!

Заскакал меж сундуков, прижимая к груди книгу — обложка была выложена красноватыми, с чудесным отблеском кругляшками. Так вот они какие, огненные лалы страны Вуф. Их сотни. То-то, поди, деньжищ стоят!

Накатило ревнивое чувство — оклад по уговору принадлежал Корнелиусу. Что ж так чужое-то тискать?

— Дайте, положу в мешок и идем, пора.

— Ничего, не беспокойтесь, — пробормотал аптекарь, еще крепче сжимая Замолея. — Я сам понесу, сам.

И по сумасшедшему блеску в глазах было видно — умрет, но не отдаст.

— Как будем уходить? — спросил капитан, вздохнув. — Как пришли или через кремлевский ход?

Ход, надо думать, начинался за полукруглой, тоже облицованной свинцом дверью в дальней стене.

Вальзер только хлопал глазами, советоваться с ним сейчас было бессмысленно — не в себе человек.

— Подземным ходом опасно, — рассудил сам с собой фон Дорн. — Может, за сто лет галерея где-нибудь осыпалась. Да еще неизвестно, где вылезешь... Нет уж, лучше обратно через дом. Уходим, герр Вальзер.

Аптекарь сунул капитану какие-то хрусткие листки, вовсе без переплета:

— Прихватите еще вот это. Если не ошибаюсь, это собственноручные записи великого Аристотеля — притом, книга, о которой я никогда не слышивал. Если так, то этому папирусу поистине нет цены!

Корнелиус скептически посмотрел на убогий манускрипт, пожал плечами, сунул в мешок. Тратить время на препирательства не хотелось.

Вверх по веревке лезть было куда труднее, чем вниз. То есть сам фон Дорн выбрался из тайника довольно быстро и мешок тоже вытянул без особенных затруднений, но вот Вальзера пришлось обвязать вокруг пояса и тащить, словно куль.

Наконец, выбрались. Поставили на место свинцовую заплату, поверх нее — камни, потом еще набросали земли — вряд ли доведется вернуться сюда в скором времени. Яма так и осталась ямой, но выпиленные доски, ватный тюфяк и дубовый паркет уложили самым аккуратным образом. Теперь обнаружить подземелье, не зная о его существовании, было бы невозможно.

Поднялись по лестнице, прошли через опочивальню в Крестовую залу.

Монах очнулся — ворочался и мычал, извиваясь на полу. Пришлось хорошенько стукнуть его кулаком по затылку, чтоб полежал еще.

Мимо двери Юсупа снова прошли на цыпочках: Вальзер прижимал к груди заветный том, фон Дорн держал обеими руками свою ношу, еще более драгоценную. Миновали опасное место благополучно — без стука, без скрипа. Повернув за угол, откуда до

черной двери было уже рукой подать, облегченно выдохнули.

Зря.

Дверь вдруг тихонько взвизгнула петлями, и из облака морозного пара на низкие ступеньки шагнула высокая, плечистая фигура. Длинная всклокоченная борода, костистый нос, мятое со сна лицо. Юсуп! На плечи, поверх серой власяницы, наброшен дерюжный половик — видно, для тепла. Оказывается, и аскеты по ночам на двор ходят.

Черные глаза хашишина сверкнули молниями. Длинные руки растопырились, закрывая проход.

Вальзер тоненько ойкнул, вжался в стену и закрылся огненно-переливчатой книгой, как щитом. Рассчитывать на помощь аптекаря не приходилось.

Только б Юсуп не закричал, не позвал остальных — вот о чем думал сейчас Корнелиус. Уронив мешок на пол, он кинулся вперед с кистенем и ударил, метя в голову — да не в лоб, как давеча, а в висок. Монах шатнулся в сторону, увернулся от свистящего удара и перехватил капитанову руку, с хрустом заломил ее за спину. Кистень брякнулся на дощатый пол.

Левой рукой Корнелиус кое-как вытянул из ножен тесак, ткнул клинком вслепую позади себя, упал в мягкое.

Юсуп с силой толкнул мушкетера. Отлетев на несколько шагов, капитан стремительно развернулся и сделал выпад — увы, в пустоту. Ловкий чернец опять успел отскочить. Пятясь от широкого, выставленного вперед лезвия, сдернул с плеч дерюгу и кинул в капитана. Тот шарахнулся назад, ударился спиной о стену. Хашишин времени не терял: качнулся книзу, подобрал кистень и с размаху рассек воздух. Корнелиус отступал от сверкающей мельницы, выбирая момент для атаки. Странно, но на помощь монах не звал, только улыбался, скалил свои вурдалачьи заточенные зубы.

Жаль, в руке была не шпага, а короткий клинок, не то фон Дорн показал бы чернобородому парочку

фехтовальных приемов. Но имелся один трюк, пригодный и для тесака — так называемый *couple*. Капитан сделал обманный выпад, перекинул оружие из одной руки в другую и нанес рубящий удар сбоку.

Гибкий хашишин закрылся железной палкой — и клинок со звоном переломился. Опешив, фон Дорн уставился на торчащие из рукояти полдюйма стали. А Юсуп отшвырнул кистень, вытянул вперед мосластые руки и просто схватил Корнелиуса за шиворот, будто нашкодившего котенка. Приподнял, да и бросил об пол — у капитана дух перехватило. Он сунул было руку назад, за ворот, где в узких кожаных ножнах таился стилет, последняя надежда, но монах беркутом рухнул сверху. Уселся мушкетеру на грудь, крепко вцепился в запястья и растянул крестом.

Нагибаясь, рыкнул:

— Гор-рло перегрызу.

Не грозил — извещал.

Корнелиус в ужасе забился, глядя на приближающуюся ощеренную пасть с острыми, волчьими зубами. Вервольф! Самый настоящий, каким няня в детстве пугала!

Краем глаза заметил движение. Это аптекарь наконец шагнул от стены, обеими руками поднял тяжелого Замолея в серебряном окладе с камнями и что было силы ударил оборотня сбоку по голове.

Несколько камешков выскочили из гнезд, запрыгали по доскам.

Юсупа качнуло в сторону — на щеке и скуле чернеца от соприкосновения с огненными лалами проступили вмятинки.

Зарывав, хашишин обернулся к Вальзеру, ухватил его за край куцавейки.

Воспользовавшись тем, что одна рука свободна, Корнелиус выхватил-таки стилет и всадил монаху снизу вверх в основание подбородка — до самого упора, а потом выдернул и вторую руку, пихнул Юсупа в грудь.

Тот опрокинулся навзничь. Хлопая маслянисто-черными глазами, стал хвататься за бороду — стиле-

та под ней было не видно, только булькало что-то да посвистывало. Похоже, удар пришелся туда, куда надо.

Фон Дорн вскочил на ноги и подобрал кистень, готовый, если понадобится, расколоть чудищу череп. Не понадобилось. Юсуп еще побился немного, похрипел и затих. Борода, пропитываясь алым, становилась похожа цветом на незабвенный колор «Лаура».

— Благодарю вас, герр доктор, — с чувством произнес Корнелиус. — Вы спасли мне жизнь.

Вальзер, хоть весь и тряся, церемонно ответил:

— Рад хоть в чем-то оказаться полезным, герр капитан.

На этом обмен любезностями завершился, потому что в доме захлопали двери, раздались мужские голоса — видно, схватка с Юсупом была слишком шумной.

— Дайте! — Корнелиус вырвал у аптекаря Замолея, запихнул в мешок. — Скорей во двор!

Бежали по скрипучему снегу: Вальзер впереди, налегке, с одной только веревкой в руках; согнутый в три погибели капитан поспевал следом. Чертов мешок тянул пуда на два, а то и на три.

Крюк на стену неловкий аптекарь закинул только с третьего раза. В окнах зажглись огни, и видно было, как внутри мечутся тени.

— Лезьте! — приказал фон Дорн, подпихивая Вальзера в зад. — Примете мешок. Потом я.

Аптекарь кое-как вскарабкался. Когда тянул мешок, чуть не сверзся обратно.

Стукнула дверь.

— Братие, вон он, душегуб! Вон, на стене!

Стиснув зубы, Корнелиус лез по веревке. Сзади приближался топот. Хорошо хоть, Вальзер исчез на той стороне, кажется, так и не замеченный монахами.

Капитан вцепился руками в край стены, подтянулся.

Но тут мушкетера снизу схватили за ноги, рванули, и он сорвался, а сверху уже навалились распаренные, сопящие — да не один или двое, а по меньшей мере полдюжины.

* * *

Корнелиусу фон Дорну было очень скверно.

Он дрожал от холода в узком и тесном каменном мешке, куда его головой вперед запихнули тюремщики Константино-Еленинской башни.

Башня была знаменитая, ее страшилась вся Москва, потому что здесь, за толстыми кирпичными стенами, располагался Разбойный Приказ, а под ним темница и дознанный застенок, из-за которого башню в народе называли не ее природным красивым именем, а попросту — Пытошной.

По ночному времени схваченного на митрополитовом подворье разбойника дознавать не стали, а сунули до утра в «щель», выемку длиной в три аршина, высотой и шириной в один — ни привстать, ни присесть, да и ни перевернуться толком. Больше суток в такой мало кто выдерживал, а иные, которые сильно тесноты боятся, и ума лишались. Служители приказа, люди опытные и бывалые, знали: кто в «щели» ночь пролежит, утром на дознании как шелковый будет. И палачу возни меньше, и дьяку облегчение, и писцу казенную бумагу на пустые враки не переводить.

Первые минут пять оцепеневший от ужаса капитан бился во тьме, стучаясь затылком о твердое, а локтями утыкаясь в камень. Дверцу — не дверцу даже, заслонку — за ним захлопнули, оставили малое окошко, чтоб не задохся.

Потом фон Дорн стиснул зубы и велел себе успокоиться. Брат Андреас, до того как уехать в Гейдельбергский университет, а после в монастырь, часто говорил с Корнелиусом, тогда еще подростком, о природе страха. В ту пору Андреас почитал худшим врагом человеческим не десять смертных грехов и не Дьявола, а страх. «Страх — это и есть Дья-

вол, все наши несчастья от него», — повторял старший брат. И еще: «Никто не напугает тебя так, как ты сам. А ведь бояться-то нечего. Что уж, кажется, может быть страшнее смерти? Только и смерть вовсе не страшная. Она не только конец, но и начало. Это как в книге: нужно прочитать до конца одну главу, а на следующей странице начнется другая. И чем лучше твоя книга, тем вторая глава будет увлекательней».

Как же еще-то он говорил?

«Если тебе плохо, помни, что плохое когда-нибудь закончится, и не падай духом. Не бывает так, чтобы человеку совсем уж делалось невмоготу — тогда милосердный Господь сжалятся и заберет душу к себе. А пока не забрал, крепись».

И Корнелиус стал крепиться.

Ну и что ж, что каменный мешок и не приподняться, сказал он себе. А если б я в постель улегся, спать, к чему мне подниматься? Почивай себе до утра.

Он попробовал представить, что над головой у него не каменная кладка, а бескрайний простор и высокое ночное небо. Если же он не встает, то не от невозможности — просто не желает. Ему и так славно. То волокли по улице, пинали и били, а теперь хорошо, спокойно, и лежать не так уж жестко, солома подстелена.

Утром, когда на дознание поволокут, вздернут на дыбу и начнут кнутом кожу со спины сдирать, эта «щель» раем вспомнится...

Нет, вот об этом думать не следовало — при мысли о застенке худший враг рода человеческого набросился на Корнелиуса люто, скрутил и так закогтил сердце, что хоть вой.

Только бы утро подольше не наступало!

Повезло Адаму Вальзеру, вышел сухим из воды. Поди, еще затемно, как только ночные дозоры с дорог уйдут, кинется вон из Москвы. Захватит своего ненаглядного Замолея, прочие книги бросит. Ну, может, еще Аристотеля драного прихватит, тяжесть невелика.

Язык он знает хорошо. Нацепит кафтанишко, валенки, шапчонку кошачьего меха — сойдет за русского. Глядишь, и до границы добежит. Бог слабым покровительствует. А там, в Европе, все аптекаревы мечты осуществляются. Переплавит он ртуть, сколько достанет, в золотые слитки и заживет себе вольным богачом.

Так стало горько от этой несправедливости, что дрогнул капитан фон Дорн, заплакал. Что на пытке-то говорить? Называться, кто таков, или уж лучше терпеть, помалкивать? На канцлерову защиту все одно надежды нет — за убийство в митрополитовом доме боярин Матфеев своего адъютанта сам палачу отдаст... Крикнуть «слово и дело»? Рассказать про тайник, про Либерею? Так все равно выйдет, что Корней Фондорин вор. Украл цареву имущество, и знал, чье крадет. За это — Вальзер говорил — руку рубят и после на железный крюк подвешивают. Надо будет сначала узнать, как москвиты карают за убийство монаха, и тогда уж выбирать, кричать «слово и дело» или помалкивать.

На этой мысли Корнелиус и успокоился. Главное ведь — принять решение, а на остальное воля Божья.

Поворочался немного (солома мало спасала), потрясся от каменного холода и сам не заметил, как уснул.

Назавтра заслонка загрохотала лишь далеко за полдень. Одеревеневшего фон Дорна за ноги вытащили из «щели» и поволокли под мышки из одного подвала в другой, только не холодный, а жаркий, потому что в углу расспросной каморы пылал огонь и приземистый мужик с засученными рукавами, в кожаном переднике, шевелил там, на углях, какими-то железками.

Корнелиус сначала посмотрел на раскаленные клещи, на свисавшую с потолка веревку (это и была дыба), и только потом повернулся к столу, за которым сидели двое: козлобородый дьяк с бледным тонкогубым лицом и молоденький писец, раззя-

вившийся на арестанта с любопытством — видно, пытошная служба ему была внове.

Страху нет, сказал себе фон Дорн, и стиснул зубы, чтоб не стучали. Есть боль, но боль — лишь простой зуд потревоженных нервов. Станут пытать — будем орать, больше все равно делать нечего.

— Что, вор, разулыбался? — криво усмехнулся дьяк. — Прознал про государеву милость? Я вот вам, длиннобрехам, брехали-то поотрываю, — сказал он уже не Корнелиусу, а приведшим его тюремщикам.

Те забожились было, что ни о чем таком вору не сказывали, но тонкогубый махнул рукой — заткнитесь.

— По воле всемогущего Бога великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, оставя земное царствие, отыде в вечное блаженство небесного царствия, а перед тем, как Господу душу отдать (тут дьяк трижды перекрестился), великий государь повелел должникам недоимки простить, колодников и кандалников на волю выпустить и даже убивцев помиловать...

Корнелиус восторженно вскрикнул. Значит, царь умер! А перед смертью, должно быть, пришел в сознание и, согласно русскому обычаю, объявил долговую и уголовную амнистию — чтоб недоимщики и узники за грехи новопреставленного Алексея перед Всевышним поискренней ходатайствовали. Не так уж и дурны, выходит, московитские установления!

— ...Только зря ты, тать, возрадовался. До того, как дух испустить, его царское величество особо наказал единственно не делать попущения тем лиходеям, кто людей Божьих до смерти умертвил, ибо се грех уже не перед царем земным, а перед Владыкой Небесным. И ныне велено вас, извергов, кто попа или чернеца сгубил, казнить не милостиво, как прежде — колесованием, а беспощадно, сажением на кол, прежде того мучительно на дыбе изломав. Берите-ка его, голуби. Слыхали государеву последнюю волю? — Дьяк наставительно поднял палец. — Сказано «мучительно», значит, мучительно.

Глава тринадцатая

Но ее найти нелегко

Работать с начальником департамента безопасности «Евродебетбанка» Владимиром Ивановичем Сергеевым было одно удовольствие.

Этот респектабельный, подтянутый господин в неизменном твиде, с щеточкой коротко подстриженных усов очень походил на английского джентльмена из той породы, что канула в Лету вместе с распадом британской империи. Сходство усугублялось тем, что при первой встрече Владимир Иванович легко перешел с Фандориным на английский, на котором изъяснялся почти без акцента, разве что несколько злоупотреблял американизмами. Потом, правда, беседовали на русском, но время от времени экс-полковник вставлял какой-нибудь иноязычный оборот позаковыристей.

Разместили Николаса в доме неподалеку от Киевского вокзала, где жило много иностранцев и где не вполне туземный вид магистра меньше бросался в глаза. В двух небольших комнатах (кабинет и спальня) имелось все необходимое для работы и отдыха. Еду постояльцу привозили из ресторана, а когда Фандорину нужно было выйти в город, он находился под постоянным прикрытием неприметных молодых людей в строгих костюмах: двое вышагивали чуть сзади, а вдоль обочины не спеша катил дежурный автомобиль — непременно какой-нибудь огромный вездеход с затененными стеклами.

Владимир Иванович заезжал каждое утро, ровно в девять, и еще непременно звонил вечером — спрашивал, нет ли новых поручений. С теми, которые получал, справлялся быстро и четко. Лишних вопросов не задавал, в суть поисков, которыми занимался Николас, не вникал. Если все офицеры Комитета госбезопасности были столь же эффективны, думал иногда Фандорин, просто удивительно, что советская империя так легко развалилась. Очевидно, полковник Сергеев все же принадлежал к числу лучших.

Один раз Николас побывал в офисе банка, в Среднем Гнездниковском переулке, выпил кофе (без коньяку) в превосходном кабинете Иосифа Гурамовича. Банкир пытался выведать, движется ли «дело», но Фандорин отвечал уклончиво, а от приглашения на ужин отказался, сославшись на крайнюю загруженность работой. «Понимаю, понимаю, — опечаленно вздохнул Габуня. — Даете понять, что у нас чисто деловые отношения. Ладно, больше тревожить не буду. Работайте».

Рабочий день историка начинался так. В половине восьмого подъем. Зарядка, контрастный душ, стакан грейпфрутового сока. С алкогольными напитками после позорной ночи в клубе «Педигри» было раз и навсегда покончено. При одном воспоминании о том безобразии и последовавшем за ним тягостном похмелье Николас болезненно морщился. В баре стояла целая батарея бутылок, в том числе и приснопамятный двадцатилетний коньяк, но ко всей этой отраве магистр не притрагивался.

В восемь двадцать — пробежка по Украинскому бульвару (в сопровождении неизменного черного джипа). В девять — визит Сергеева. Полковник привозил очередную порцию книг, спрашивал о предполагаемом распорядке дня, в течение десяти минут вел светский разговор о политике (по убеждениям он был патриот и непреклонный государственник) и удалялся, после чего Николасу доставляли завтрак.

Потом — работа. В первые дни она заключалась в чтении исторических книг. Свой интерес к легендарной библиотеке Иоанна Четвертого магистр старался законспирировать, так что публикации на эту тему составляли лишь малую часть запрашиваемых им монографий, документов и мемуаров.

Возможности Владимира Ивановича, кажется, и в самом деле были неограниченными. По вечерам на квартиру доставляли каталожные ящики из главных московских библиотек, а потом, уже ночью, увозили обратно. Никогда еще Фандорин не занимался исследовательской работой в таких завидных условиях.

На третий день, штудирруя труд профессора Белокурова «О библиотеке московских государей в XVI столетии», Николас сделал невероятное, фантастическое открытие.

В знаменитом списке царской Либерей, обнаруженном сто семьдесят лет назад дерптским профессором Дабеловым, среди прочих латинских и греческих манускриптов, значилась книга некоего древнего автора, неизвестного современной науке: *Zamoleis sine Mathemat.* — «Математика» Замолея.

Наткнувшись на это имя, Фандорин вскочил, опрокинув стул, и пришел в такое волнение, что пришлось выпить два стакана минеральной воды (зубы выстукивали нервную дробь о край стакана).

Неужели в письме Корнелиуса речь идет именно об этой книге?! Но если так (а как еще? как?), то, выходит, фон Дорн и в самом деле знал, где находится *та самая* Иванова Либерей! Значит, она действительно существовала!

Фандорин изучил все имеющиеся сведения о таинственной библиотеке и ее многократных поисках, заканчивавшихся неизменным фиаско.

Итак, что, собственно, известно о Либерее?

В 1472 году вместе с приданным племянницы последнего византийского императора в Москву на многих повозках были доставлены ящики с книгами, которыми долгое время никто не интересовался.

Сорок лет спустя Василий Иоаннович «отверзе царские сокровища древних великих князей прародителей своих и обрете в некоторых палатах бесчисленное множество греческих книг, словенским же людям отнюдь неразумны». С Афона был специально выписан ученый монах Максим Грек, который перевел часть книг на русский язык, после чего библиотека почему-то была сокрыта за семью запорами, а бедного переводчика на Родину так и не отпустили.

В 1565 году пленный ливонский пастор Веттерман (скорее всего, он-то впоследствии и составил Дерптский каталог) был вызван к царю Ивану и отведен в некое тайное подземелье, где государь показал ему обширное собрание старинных манускриптов и просил заняться их переводом. Устрашившись количества книг, которые придется переводить, пастор сослался на невежество и был с миром отпущен Иоанном, который в ту пору еще не стал Грозным — зловещая перемена свершилась с царем вскоре после этого.

При Алексее Михайловиче некий заезжий митрополит, прослышавший о книжных сокровищах, просил царя о доступе к Либерею, но в то время местонахождение книгохранилища уже было неизвестно.

Поскольку последним из царей, кто наверняка владел библиотекой, был Иоанн IV, она впоследствии и получила прозвание «библиотеки Ивана Грозного».

Первая попытка отыскать тайное царское подземелье была предпринята еще при Петре Великом, когда пресненский звонарь Конон Осипов подал доношение в Канцелярию фискальных дел, где докладывал о неких двух подземных палатах «под Кремлем-городом», сплошь заставленных сундуками. «А те палаты за великою укрепою, у тех палат двери железные, попереч чепи в кольцах проемные, замки вислые, превеликие, печати на проволоке свинцовые, и у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворок». Про сей тайник, расположенный

где-то близ Тайницкой башни, Осипов якобы слышал много лет назад от дьяка Большой Казны Макарьева, который обнаружил тот подвал, когда исследовал кремлевские подземелья по наказу царевны Софьи.

В конце прошлого века начались фундаментальные поиски Либереи.

В 1891 году страсбургский исследователь Эдуард Тремер, получив высочайшее соизволение, разыскивал тайник близ церкви Святого Лазаря и в восточной части бывших царских теремов, белокаменные подвалы которых благополучно пережили самые лютые из московских пожаров.

Потом Боровицкий холм копали директор Оружейной палаты князь Щербатов и профессор Забелин — не слишком усердно, потому что в существование (и тем более сохранность) Либереи не верили.

В тридцатые пропавшую библиотеку упорно разыскивал археолог Игнатий Стеллецкий, для которого эти поиски были делом всей жизни. Но Кремль в ту пору стал режимной зоной, и особенно разгуляться энтузиасту не дали.

Потом было еще два всплеска: в начале шестидесятых и совсем недавно, два-три года назад, когда при мэрии даже была создана специальная комиссия. Судя по газетным статьям (для конспирации Фандорин потребовал доставить подшивки сразу за несколько лет), во второй половине двадцатого столетия возникли новые гипотезы: что Иван Грозный мог спрятать бесценную коллекцию не в Кремле, а в Александровой Слободе или одном из своих любимых монастырей.

Что из всего этого следовало?

С научной точки зрения — почти ничего. Прямых доказательств существования Либереи не было, только косвенные (оригинал Дерптского списка, например, безвозвратно исчез). Серьезные исследователи предполагали, что библиотека сначала действительно существовала, а потом была раздарена по

частям. Или сгорела при пожаре. Или сгнила в сыром подzemье.

И только теперь, на исходе тысячелетия, появилось верное доказательство, и располагал им единственный человек — Николас А. Фандорин, безвестный магистр истории. Он твердо знал и мог доказать, что через сто лет после Ивана Грозного, в конце семнадцатого века, Либерея еще существовала и была спрятана где-то в тайном подвале дома, стоявшего в какой-то Черной Слободе, за какими-то Каменными воротами.

Уже одно это было исторической сенсацией первой величины. Да и не только исторической — обнародование открытия наверняка вызвало бы очередную волну ажиотажа. Если попытаться представить, в какую сумму оценивалось бы сегодня Иваново собрание книг, то, вероятно, пришлось бы вести счет на миллиарды. Немедленно возникли бы новые комиссии, опять начались бы поиски, раскопки. А вместо этого (публичные доклады, пресс-конференции, телевидение, докторская степень, членство в Королевском обществе!) приходилось отсиживаться на нелегальном положении и гадать, кто до тебя доберется раньше — милиция или бандиты.

На шестой день (да-да, уже на шестой, потому что работал Николас споро) вся сколько-нибудь причастная к теме литература, включая описание городского быта москвитян и мемуары обитателей Иноземной слободы, была изучена и частично законспектирована. Наступил период осмысления и анализа.

Первый вывод не заставил себя ждать. Он, можно сказать, лежал на поверхности.

С чего это Николас А. Фандорин взял, что он один осознает научную ценность письма Корнелиуса? Те, кто хочет найти Либерею, поняли смысл слова «Замолей» ничуть не хуже, чем он. А если учесть, что Николас, профессиональный историк (да к

тому же, благодаря капитану фон Дорну, прочитавший немало книг по истории допетровской Руси), ни о каком Замолее раньше не слыхивал, то получалось совсем интересно: бандитов явно консультировал высококвалифицированный специалист.

Кто еще читает архивные журналы и «Королевский исторический журнал»? Только серьезный историк. Он сопоставил две публикации о половинках невнятного документа и послал в Лондон таинственную бандероль.

И мысли Фандорина естественным образом повернули в сторону архивного Моцарта, замечательного эрудита Максима Эдуардовича Болотникова. Кто обрабатывал находку из Кромешников? Болотников. Мог ли он не заинтересоваться упоминанием о «Замолее» и «Ивановой Либерее» из правой половины письма? Не мог. Тогда почему Максим Эдуардович так мало внимания — *противоестественно, демонстративно* мало — уделит британскому исследователю и второй половине документа? Ай да светило архивистики! Теннис ему, видите ли, важнее! Уж не тем ли объяснялось это показное безразличие, что Болотников твердо знал: скоро письмо будет у него в руках? И еще. Если у Шурика имелся сообщник из числа опытных сотрудников, становится понятно, как киллер попал на территорию архивного городка и как выбрался оттуда незамеченным.

На следующее утро полковник Сергеев получил срочное задание: собрать все возможные сведения о главном специалисте отдела обработки Центрального архива старинных документов — образ жизни, контакты, подробности биографии.

Сутки спустя расторопный Владимир Иванович явился с исчерпывающим докладом.

— Не знаю, господин Фандорин, почему вы решили заинтересоваться этим архивистом, но субъект, безусловно, непростой, с фокусом, — сразу же перешел к делу Сергеев. В руках он держал электронную

записную книжку, но почти в нее не заглядывал — память у полковника была отличная. — В чем фокус, пока неясно, но see for yourself¹. Зарплата у Болотникова на ваши деньги — четырнадцать фунтов в месяц. К тому же выплачивают ее нерегулярно, задолжали за два месяца. При этом живет Болотников в квартире, купленной совсем недавно за восемьдесят три тысячи — опять же на ваши стерлинги. Одевается в дорогих бутиках, отдает предпочтение костюмам «Хуго Босс» и рубашкам «Ив Сен-Лоран». Ездит на новой недавно купленной спортивной «мазде». Холост, поддерживает отношения с одной замужней женщиной и двумя девицами. Их имена...

— Не нужно, — поморщился Николас. — Это не имеет значения. Есть ли у Болотникова знакомства среди криминальных кругов? С Седым он связан?

Сергеев чуть дернул усом, очевидно, потрясенный осведомленностью англичанина о московской преступной среде. Ответил сдержанно:

— Пока ничего в этом направлении не обнаружено. Непохоже, что он связан с кем-нибудь из серьезных людей вроде названного вами лица. Не тот типаж. Но можно пощупать. Будем продолжать наблюдение?

Жалко было терять время. Пожалуй, и так все ясно.

— Не нужно, — сказал Фандорин. — Можете устроить мне встречу с Болотниковым?

Полковник слегка пожал плечами:

— Нет проблем. Куда доставить?

Магистр хотел было попросить, чтобы служба безопасности обошлась без насилия, похищения и прочих дикостей, но не решился — англизированный начальник департамента, пожалуй, мог и обидеться.

— Не сюда. Где-нибудь... — Николас неопределенно помахал рукой.

— Понятно. Сделаем. В пять нормально будет?

¹ Судите сами (англ.).

Кажется, Николас все-таки переоценил степень европейскости бывшего гэбиста.

Доставленный к месту встречи главный специалист выглядел бледным и явно напуганным. Он сидел меж двух крепких, безукоризненно одетых молодых людей, на заднем сиденье гигантского джипа, припаркованного напротив Парка культуры. Когда Фандорина привезли на стоянку, джип уже дожидался там.

— Можете поговорить с ним прямо в машине, face to face¹, — сказал Владимир Иванович. — Ребята постоят снаружи.

— Вы?! — разинул рот Максим Эдуардович, когда Фандорин сел на переднее сиденье и повернулся к нему. — Так вы не иностранец? Вы из ФСБ? За что меня задержали? В чем меня подозревают? Мне чуть не вывихнули руку! Это какое-то недо...

— Недоразумение? — подхватил Николас, не испытывая ни малейшего раскаяния по поводу возвращенной руки коварного архивиста. — А то, что меня в вашем богоугодном заведении сбросили с крыши, это тоже недоразумение?

Болотников несколько раз моргнул.

— Да, я слышал про это. Но... но при чем здесь я? Меня в это время и в архиве-то не было. Вы же помните, я уехал играть в теннис.

— И так торопились, что даже не заинтересовались левой половиной документа... — Магистр сделал паузу. — При том, что в правой поминаются Иванова Либерея и Замолей. Конечно, откуда специалисту по русской медиевистике знать, что означают эти странные слова?

Ирония подействовала. Архивист сделался еще бледнее, облизнул губы, сглотнул.

— Так что скажете, *коллега*? — спросил Фандорин, уничижительно выделив последнее слово. Сейчас он этому Моцарту с удовольствием не то что

¹ Лицом к лицу (англ.).

руку — голову бы свернул. Жаль, воспитание не позволяло.

— Я... Клянусь, я не знаю, кто и зачем пытался вас убить, — тихо произнес Максим Эдуардович. — Я сам был в шоке, когда узнал. И испугался. То есть, у меня есть одно предположение, но...

Он оглянулся на молодых людей, неподвижно стоявших с двух сторон от автомобиля.

— Послушайте, кто вы? Ведь эти люди не из ФСБ?

Фандорин вспомнил уместную фразу из одного старого советского фильма, который когда-то видел на ретроспективном кинопоказе в Челси.

— Вопросы здесь задаю я.

Сработало! Архивист втянул голову в плечи, два раза кивнул.

— Хорошо-хорошо. Я все вам объясню, с самого начала... Разумсется, вы правы: когда три года назад я получил кремешниковский фрагмент, я страшно заинтересовался этой находкой. Упоминание о «Математике» Замолея, книге из Дабеловского списка, которая ни в каких иных источниках не упоминается, в сочетании со словами «Так найдешь Иванову Либерейку» меня потрясло. Я неделю не мог ни есть, ни спать! Вы сами историк, вы меня поймете... Но дело еще в том, что я усмотрел в этом событии перст судьбы, некое мистическое совпадение! ...Сейчас объясню. Извините, я волнуясь, поэтому получается сбивчиво. Дело в том, что как раз в то время у нас тут начался очередной бум «либерейной лихорадки», как я ее называю. Журналисты снова откопали эту старую историю, опять нашлись энтузиасты, собрали какие-то частные средства, даже создали городскую комиссию. И я консультировал эту комиссию в качестве эксперта. Каково совпадение, а? Нет, то есть ничего сверхъестественного в том, что пригласили именно меня, нет — скажу без ложной скромности, что я ведущий специалист по архивным документам и книжному делу этого периода.

И то, что интригующая половина грамотки попала именно ко мне, в отдел обработки, тоже естественно. Но меня поразило совпадение по времени! Понимаете, как раз незадолго до этого, устав от дилетантского усердия искателей Либереи, я сделал на комиссии разгромный доклад, в котором убедительно доказал, что никакой Библиотеки Ивана Грозного нет и не было. И вдруг — на тебе! Ко мне в руки попадает весомейшее доказательство того, что Либерея существовала и была спрятана где-то в Москве. Разве не чудо? Разве, прошу прощения, не промысел Божий?

Все это звучало вполне правдоподобно, однако сразу же возник вопрос.

— Почему вы не сообщили о своей находке в комиссию?

Болотников замялся.

— Этому сборищу полоумных энтузиастов и невежественных хапуг? Нет, с ними я не желал иметь никаких дел. Я... Да что лукавить! Я усмотрел в этой находке Шанс. Тот самый, великий, о котором мечтает всякий историк. Сделать открытие, которое останется в веках. — Взгляд архивиста загорелся азартным блеском. — Доказать, что библиотека Ивана Грозного существовала! Убедительно, неоспоримо! Опровергнуть и Белокурова, и Забелина, и всех прочих классиков! Но для этого требовалось время, много времени и много работы. Нужно было выстроить доказательную версию. И она у меня возникла!

Максим Эдуардович возбужденно подался вперед. Он был уже не бледен и съезжен, а совсем наоборот — раскраснелся, жестикулировал, на мальчиков за окном коситься перестал.

— Артамон Матфеев, решил я. Это же яснее ясного. Книжник, ближайший наперсник Алексея Михайловича, посвященный во все дворцовые тайны. Кому, как не ему, было знать, где хранится книжная сокровищница. В 1676 году, предчувствуя неминуемую опалу и ссылку, перепрятал Либерею в некое

место, известное ему одному. А в 1682 году, когда после смерти Федора Алексеевича боярин был возвращен в столицу, он не успел добраться до своего тайника, потому что 15 мая, через три дня после прибытия, был разорван мятежными стрельцами. Все сходилось! Поиски доказательств этой версии стали главным делом моей жизни. Если угодно, обсессией. Какой, к черту, Стэнфорд! Да я не уехал бы из Москвы за все сокровища Форт-Нокса! — Болотников коротко рассмеялся. — Я нашел три неизвестных ранее автографа боярина, получил за это малую золотую медаль Историко-архивного общества, но меня не интересовали «малые медали» — я должен был сравнить почерк. Увы, почерк был непохож! Я был на грани отчаяния. Стало ясно, что письмо написано кем-то из приближенных Матфеева, находившихся вместе с боярином в Кромешниках накануне снятия опалы. Но «кто-то из приближенных» — это не доказательство, для весомости мне нужно было имя. К сожалению, достоверных сведений о том, кто находился в этот период при Артамо-не Сергеевиче, мне найти не удалось, сколько я ни искал. Я уже собирался сдаваться — опубликовать то немногое, что сумел выяснить. Это все равно была бы сенсация, хоть и не такого масштаба, о котором я мечтал. И вдруг ваша статья в английском журнале!

Глаза архивиста горели огнем священного первооткрывательского сумасшествия — слишком хорошо знакомого и самому Николасу. Магистр поневоле заразился возбуждением Болотникова. Тайны Времени — сильный наркотик. Тот, кто приобщился к нему, становится немножко безумцем.

— Имя автора письма было установлено! Мушкетерский капитан фон Дорн, про которого известно, что он состоял при особе Артамона Сергеевича и, вероятно, был посвящен в его секреты. Мало этого: наличие второй половины документа давало шанс, на который я и не смел надеяться. — Максим Эдуардович округлил глаза и перешел на шепот: —

Найти Либерю! Что там Матфеев, что там мои доказательства! *Найти саму библиотеку* — в каком бы виде она ни была. Пусть полусгнившая, пусть безнадежно испорченная плесенью — все равно! А может быть, она и цела, хотя бы частично. Ведь Матфеев разбирался в книжном деле и, покидая Москву бог весть на сколько лет — может, и навсегда, — не стал бы прятать драгоценные манускрипты в сыром месте. Вы... вы представляете себе, что это была бы за находка? — задохнулся Максим Эдуардович.

Николас сказал себе: нельзя поддаваться этой золотоискательской лихорадке. Речь сейчас идет не об исторических открытиях, а о вещах куда более грубых и неаппетитных — коварстве, подлости, убийстве.

— Понятно, — холодно произнес магистр. — Вы выманили меня в Москву и обратились за помощью к Седому.

— К кому? — переспросил Болотников, сбитый с восторженного тона. — К Седому?

«Скорее всего, с архивистом имеет дело не сам магнат, а кто-нибудь из его подручных», — подумал Фандорин. Что не меняет сути дела.

— Какое у вас жалованье? — холодно осведомился он.

— Что? — еще больше растерялся архивист. — Вы имеете в виду зарплату? Кажется, триста девяносто тысяч. Или двести девяносто? Точно не помню... А почему вы спрашиваете?

— И на эти деньги вы одеваетесь в дорогих магазинах, купили новый апартамент и спортивный автомобиль?

Болотников переменялся в лице. Ага! В цель!

— Так это вы выдали меня Вершинину! Ну конечно, кто же еще! То-то он так хитро на меня смотрел. Вызывает к себе, говорит: «Эврика, Максим Эдуардович! Я знаю, откуда мы возьмем средства. Не такой уж я недотепа, каким вы все меня считаете. Будем брать заказы у зарубежных исследователей, за

хорошие денежки, и в валюте! Вот так». И чуть ли не подмигивает. А за день до этого у него были вы. Наябедничали? Откуда вы узнали, что я подрабатываю частными заказами?

— Так вы берете заказы? — озадаченно спросил Фандорин.

— Давно. Иначе на что бы я жил? На двести девяносто тысяч? Заказы, конечно, отнимали время и отвлекали меня от поисков, но я не аскет и не схимник. История историей, но жить тоже нужно. Я превосходный специалист, мои услуги стоят дорого.

Николас нахмурился. Это неожиданное известие подсекало под корень всю стройную версию о связи архивиста с бандитами.

Нет! Не всю!

— Вы лжете! — вскипел магистр, вспомнив про другую важную улику. — Если б вы до такой степени были увлечены поисками Либереи, вы не уехали бы на свой теннис! Нет, вы твердо знали, что меня убьют и текст в самом скором времени будет у вас! Вы убийца! Нет, еще подлее — вы хладнокровный сообщник убийцы!

В глазах у Фандорина потемнело от ярости — он вспомнил про «птичку жалко», про свой полет с крыши — и, перегнувшись через спинку, схватил Болотникова за лацканы. Цивилизованный человек, убежденный сторонник политической корректности, и вдруг такой срыв. Вот оно — вредоносное воздействие дикого московского воздуха.

В следующую же секунду Николас опомнился и разжал пальцы, но в салон с обеих сторон уже ворвались охранники; очевидно, умевшие пронизывать взглядом и тонированное стекло. Один запрокинул Болотникову голову, другой схватил его за руки.

— Пустите! — прохрипел полузадушенный архивист. — Мне не нужно было ваше письмо! У меня фотографическая память! Я специально учился! Мне достаточно посмотреть на страницу в течение двадцати секунд, и я ее запоминаю. Хотите, прочту

письмо по памяти? «Память сия для сынка Микиты егда в розумении будет а меня Господь приберет а пути на Москву не укажет а ежели умом не дойдешь как...»

Фандорин махнул молодым людям — мол, все в порядке, помощь не нужна, и стальная хватка была немедленно ослаблена. Хлопнули дверцы, коллеги опять остались вдвоем.

— Так вы никому про меня не рассказывали? — тихо спросил Николас, снова перестав что-либо понимать. — Честное слово?

— Кому?! — воскликнул Болотников, держась за горло. — А главное, зачем? По-моему, вы все-таки не осознаете до конца, что это такое: *найти Либерею*. Это открытие, равного которому не было в исторической науке! Это всемирная слава, не-во-о-бра-зи-мые деньги, вечная благодарность потомков! Зачем я стал бы делиться с кем-то всем этим? Да прежде чем отправить бандероль вам, я навел о вас справки, прочитал все ваши опубликованные работы и пришел к выводу, что как ученый вы для меня опасности не представляете. Вы занимались мелкими фактографическими изысканиями, я не обнаружил в ваших статьях ни размаха, ни концептуального масштаба.

У Николаса опустили уголки губ. И этот туда же! Но Болотников не заметил, что разбередил в душе «малокалиберного» магистра незаживающую рану.

— Вы никогда не занимались Либереей. Вероятнее всего, вы и знаете-то о ней только понаслышке. Вас интересует лишь история вашего драгоценного рода — и слава богу. Теперь я вижу, что недооценил вас. Вы все отлично поняли и сумели заручиться серьезными союзниками. Я не спрашиваю вас, кто эти люди, скажите только — они имеют отношение к каким-нибудь научно-историческим институциям? — испуганно спросил архивист.

Фандорин не смог сдержать улыбку.

— Нет, эти господа совсем по другой части.

— Слава богу! — возликовал Максим Эдуардович. — Значит, про Либерею из специалистов знаем только мы с вами? Тогда еще не все потеряно! Послушайте, Фандорин, вы в России человек чужой, вы иностранец, вы, в конце концов, по сравнению со мной дилетант. — Николас снова поморщился, но возражать не стал. — Не отдавайте меня на растерзание вашим головорезам! Давайте искать Либерею вместе, а? Я отлично знаю топографию Москвы XVII века, знаю документы, у меня обширнейшие связи в музейных, архитектурных, даже диггерских кругах. Мы с вами обойдемся безо всяких комиссий! Если уж мы не найдем Либерею, то, значит, никто ее не найдет. Не жадничайте — почестей и денег хватит на двоих. Мы не допустим, — он снова перешел на шепот и оглянулся на охранников, — чтобы алчные деляги растащили библиотеку по томам и втихую пустили бы их на международные аукционы. Иванова Либерея ценна именно как единое собрание. Вы не думайте, все эти дни я не сидел сложа руки, я довольно далеко продвинулся. Вам без меня будет трудно. Умоляю, не отлучайте меня от поисков! Я просто умру!

Трудно выдержать взгляд человека, который смотрит на тебя с таким страхом и с такой надеждой. Фандорин отвел глаза, вздохнул:

— Хорошо, Максим Эдуардович. Тем более что я и не смог бы воспрепятствовать вашим изысканиям. Давайте поработаем вместе. Я и в самом деле вряд ли обойдусь без вашего опыта и знаний. Только учтите, что вы ввязываетесь в очень опасное дело. Кроме нас с вами о Либерее знает еще и некто третий.

— А! Я так и знал! — простонал архивист. — Кто-то из историков? Блюмкин? Голованов?

— Нет. Один мафиозный предприниматель по кличке Седой.

Болотников сразу успокоился:

— Ну, это пускай. Должно быть, услышал звон про Библиотеку Ивана Грозного, когда комиссия

работала, и решил «заколотить крутые бабки». Вокруг меня одно время шились некие подозрительные личности, сулили «немерено баксов», если возьмусь выполнить какой-то заказ. Я подумал, речь идет о краже архивных документов, и отшил их. Возможно, это и были эмиссары вашего Сивого.

— Седого, — поправил магистр. — Ясно. Они что-то пронюхали про ваш интерес к Либерею и установили за вами слежку.

— Черт с ними! — беспечно пожал плечами Максим Эдуардович. Просто поразительно, как быстро этот человек переходил от отчаяния к самоуверенности. — Я вижу, за нас с вами есть кому заступиться. Давайте-ка лучше, дорогой сэр, займемся делом. С какого пункта вы думаете начать?

— С того, на котором остановились вы. Что дали ваши предварительные изыскания?

* * *

Болотников, оказывается, и в самом деле времени даром не терял. За неделю, в течение которой он располагал полным текстом письма, архивист разработал последовательный план действий — на удивление, простой и логичный.

— Во-первых, точное местонахождение тайника зашифровано. Во-вторых, никакого дома в сколько-то там окон, конечно, давно не существует. Подземное хранилище находится под несколькими метрами культурного слоя. Но Либерея все еще там, в этом нет никакого сомнения — если бы она была найдена, то книги из Дабеловского списка обязательно всплыли бы в библиотеках или частных собраниях — слишком уж они ценны. Самая немудрящая из этих реликвий сегодня стоила бы десятки — нет, сотни тысяч долларов. А если учесть, что и у византийских кесарей, и у московских царей было принято переплетать старые манускрипты в драгоценные оклады, сплошь усыпанные лалами, яхонта-

ми и зерною... — Максим Эдуардович выразительно потер большой и указательный пальцы. — Ну, в общем, вы себе представляете. Нет-нет, Фандорин, Либерея по-прежнему лежит под землей, в этом своем алтын-толобасе.

Партнеры находились на Киевской, у Николааса. Они и не заметили, что окна в соседних домах сначала зажглись, потом погасли. Время проделало одну из своих излюбленных штук: вдруг взяло и остановилось. Вроде бы только что разложили на столе материалы, захваченные из квартиры Болотникова, только что распечатали с разным увеличением несколько экземпляров грамотки, а уж и рассвет не за горами.

— Да, а что такое «алтын-толобас»? — спросил магистр у доктора.

— Понятия не имею. Должно быть, какой-нибудь тип каменного подклета для хранения особо ценных предметов. Ведь «алтын» по-тюркски значит «золото».

— Знаю-знаю, — кивнул Фандорин.

— А что такое «толобас», неизвестно. Я облазил все словари — не нашел. Во времена татарского протектората на Руси ходило множество заимствованных слов, которые потом постепенно вымывались из обихода. Некоторые исчезли бесследно, в том числе и из тюркских языков. Неважно, смысл ведь в целом понятен. Понятна и наша задача. Я бы сформулировал ее так...

Архивист сосредоточенно уставился в окно и удивленно заморгал глазами — кажется, только теперь заметил, что на улице давно ночь — но тут же забыл о чудесах природы и снова повернулся к собеседнику.

— Мы с вами должны определить хотя бы примерно, с точностью до ста метров, какой участок описан в письме капитана фон Дорна. Только и всего.

— Только и всего? — иронически переспросил Николас, которому эта задача вовсе не казалась та-

кой уж пустяковой. — Да и что нам даст «точность до ста метров»? Это же целый гектар.

— Ну и что? Если у нас будут убедительные доказательства, можно подключить к работе любые силы, любые инстанции! Они у нас в очередь выстроятся! Где возможно, раскопаем, где нельзя копать — пробурием, возьмем пробы грунта. Это ж не у президента под задницей, в Кремлевском холме рыться, а за Садовым кольцом! Совсем другое дело.

— Почему вы уверены, что именно за Садовым кольцом?

Максим Эдуардович страдальчески закатил глаза, что с его стороны было не слишком вежливо, и объяснил невеже-иностранцу:

— Садовое кольцо повторяет контуры Скорохода — так по-другому называли Земляной город, пределами которого ограничивалась Москва семнадцатого столетия.

— Про Земляной город я знаю, — пробормотал устыженный Николас, — я просто не знал, что он еще и Скородом. Странное название...

— Это из-за того, что за пределами городских стен дома строили кое-как, наскоро — все равно крымчаки или какие-нибудь ногаи спалят. Вот, смотрите...

Оба историка склонились над подробной картой древней Москвы, скомпонованной многоумным Максимом Эдуардовичем из голландского плана 1663 года, схемы шведского дипломата Пальмерстона 1675 года и поуличных чертежей Приказа тайных дел.

— Видите линию земляного вала и башни на нем? Есть башни глухие и есть башни с воротами. Последовательность поиска, Фандорин, должна быть такая. Сначала мы определяем, о каких воротах говорится в письме...

Николас удивился:

— Извините, но разве это не очевидно? Ведь в письме сказано: Каменные ворота, и даже есть название идущей от них улицы — Черная слобода.

— О воротах мы еще поговорим, — сухо сказал Болотников, преодолевая раздражение. — Что же до улицы, то здесь мне придется вас разочаровать. Вы мне показывали ваш перевод письма на современный язык, и я сразу обратил внимание на одну существенную ошибку: вы произвольно, по собственному усмотрению расставили там заглавные буквы, которых в оригинале, разумеется, нет, потому что они в ту пору еще не вошли в употребление. Поэтому, в частности, определение улицы превратилось у вас в ее название. Не было никакой Черной слободы, автор письма просто имел в виду одну из черных слобод, которых вокруг Скородома в ту пору насчитывалось, по меньшей мере, десятка полтора. Мы сегодня точно не знаем, сколько именно их было, потому что не все переписные книги того периода сохранились. Черная слобода — это поселение, в котором жили тягловые людишки, податное сословие: ремесленники, пахари, мелкие торговцы.

Это известие привело Николаса в замешательство. Он видел на карте московского метрополитена станцию Новослободская и втайне лелеял надежду, что заветная Чернослободская, возможно, даже находится где-то неподалеку. Тут магистру в голову пришла новая, еще более огорчительная догадка.

— Позвольте, — упавшим голосом произнес он, — но ведь в этом случае и ворота могли быть не Каменные, а просто каменными. Сколько, вы говорили, было ворот в Скородоме?

— В разные времена по-разному. В 70-е годы семнадцатого века двенадцать основных, да еще могли быть сделаны проезды в некоторых глухих башнях.

— И все ворота были каменные, — обреченно кивнул Фандорин.

Болотников посмотрел на него со странной улыбкой, выдержал паузу и торжествующе объявил:

— А вот и нет! Каменных ворот было только двое — Калужские и Серпуховские, построенные в конце царствования Михаила Федоровича. Остальные надвратные башни были бревенчатыми. Нам

нужно определиться, какие из этих двух ворот наши, восстановить контур черной слободы, отмерить по ее главной улице от заставы 230 саженой, то есть 490 метров, и мы узнаем, где примерно стоял нужный нам дом. Потом я поработаю в Московском городском архиве, изучу историю этого земельного владения: какие постройки там стояли и когда, что с ними приключилось. Вдруг удастся найти сведения о застройке семнадцатого века — о некоем доме на «знатном» (то есть, вероятно, каменном, раз ему не страшен пожар) подклете. Даже если нужных сведений не обнаружится, все равно зона поиска будет ясна.

— Но ведь это просто! — обрадовался было Фандорин, однако тут же насторожился. — Погодите, но получается, что вы вполне можете довести поиски до конца и без меня. Найдете участок, обратитесь к городским властям и получите от них полную поддержку.

Архивист скорчил гримасу, угрюмо посмотрел на любовно нарисованную карту прежней Москвы.

— Просто, да не просто. Придется ого-го сколько повозиться. Значит, так. — Он загнул большой палец. — С воротами все-таки стопроцентной уверенности нет. Да, Серпуховские и Калужские были построены из камня, но никаких сведений о том, что за ними находились черные слободы, я не нашел. А что, если какие-то другие ворота были сложены частично из камня, а частично из дерева и ваш предок имел в виду именно их? И потом, меня смущает этот странный генеалогический шифр... Ну что за чушь с «оконницы в числе дочерей у предка нашего Гуго Сильного»? Бред! Сколько бы дочерей ни было у вашего чертова Гуго, вряд ли это может быть отличительной особенностью дома.

— Еще как может, — возразил Фандорин. — У Гуго фон Дорна было тринадцать дочерей.

Болотников так и осел в кресло.

— Тринадцать? — внезапно охрипшим голосом повторил он. — Но... Но это очень важно! — Вско-

чил, подбежал к окну, вернулся обратно. — Это неслыханно! Никогда не встречал ничего подобного! Чертова дюжина — это пахнет ересью. Очень возможно, что мы найдем прямое упоминание о таком диковинном доме! Вот что, Фандорин, давайте поделим поле деятельности. Я сосредоточусь на архивных поисках некоего чернослободского дома, стоявшего на каменном фундаменте и имевшего по фасаду тринадцать окон. Вы же займетесь воротами. Кроме двух уже названных застав я отобрал еще две: Покровскую и Сретенскую. Неизвестно, стояли ли они на каменном основании, но зато все прочие приметы совпадают. За Покровскими воротами Земляного города располагалась Басманная слобода, которую можно было назвать и черной — часть ее населения составлял тяглый люд. Это первое. Второе: в непосредственной близости от этих ворот находилась Немецкая слобода, где почти наверняка проживал мушкетерский капитан. И третье: оттуда шла дорога на Преображенское — вот вам и княжий (или, точнее, великокняжий) двор.

Магистр хотел возразить, но Максим Эдуардович нетерпеливо замахал на него: не перебивайте.

— Что касается Сретенских ворот, то за ними начиналась Панкратьевская черная слобода, через которую проходила дорога к деревне Князь-Яковлевское, загородному владению князей Черкасских. Вот, видите? — показал Болотников по карте.

— Нет, Сретенские и Покровские ворота не подходят, — решительно заявил Николас, проследив за пальцем архивиста. — Под Княжьим Двором капитан наверняка имел в виду мызу Фюрстенхоф, расположенную неподалеку от родового замка фон Дорнов.

Болотников весь задрожал — так потрясло его это известие.

— Так, может быть... — он запнулся от волнения. — Так, может быть, вы понимаете и смысл всего

этого фрагмента: «яко от скалы Тео предка нашего к Князьему Двору?» Что это за направление?

«Юго-восточное», — чуть было не ответил Фандорин, но передумал. Если открыть этот, последний секрет, то напарник шустрому Максиму Эдуардовичу станет не нужен. Учитывая непомерное честолюбие и некоторую этическую гуттаперчевость московского светила, проявившуюся в истории с бандеролью, лучше проявить сдержанность. Двое северных ворот — Покровские и Сретенские, — безусловно, исключались, так как никаких загородных улиц, ведущих в юго-восточном направлении, от них начинаться не могло.

— Точно не знаю, — сказал он вслух.

— Вы мне не доверяете, — пожаловался Болотников. — Что-то вы все-таки знаете, но не говорите. Это нечестно и к тому же затруднит поиски.

— Полагаю, вы мне тоже говорите не все, — довольно резко ответил Николас. — Вы занимайтесь своими архивами, а я сосредоточусь на воротах.

Максим Эдуардович пристально посмотрел на него, вздохнул.

— Ну, как хотите. Но вы абсолютно уверены, что Покровская и Сретенская заставы нам не нужны?

— Абсолютно.

— Так это просто отлично! Значит, у нас с вами остаются только двое ворот — Серпуховские и Калужские! Вот вам на карте контуры улиц и дорог, что вели от предвратных площадей во времена Корнелиуса фон Дорна: три — от Калужских ворот, две — от Серпуховских. Между прочим, современные трассы — Ленинский проспект, Донская улица и Шаболовка в первом случае и две Серпуховские улицы, Большая и Малая, во втором случае — их прямые наследницы, проходят в точности по прежним, историческим руслам. Вам хватит дня на Калужский сектор и дня на Серпуховской: отмерите пять раз по четыреста девяносто (ладно, по пятьсот) метров, потом поднимем архитектурно-топографические дан-

ные по этим земельным участкам, и определим главного подозреваемого. Как говорят у вас на Родине — a piece of cake ¹!

* * *

Ничего себе piece of cake. На пятый день вышагивания по одним и тем же опостылевшим тротуарам Фандорин почувствовал, что начинает впадать в отчаяние.

А ведь поначалу задача представлялась ему еще более легкой, чем Максиму Эдуардовичу. Памятуя о юго-восточном векторе, он отсек магистрали, ведущие прямо на юг или на юго-запад, и в результате осталась всего одна улица, достойная шагомерного исследования — Большая Серпуховская.

От Калужской площади, правда, тоже начиналась одна улица, текущая к юго-востоку — Мытная, но она была проложена через сто лет после Корнеиуса, а стало быть, внимания не заслуживала.

Другое дело — Большая Серпуховская. По ней еще шестьсот лет назад проходил шлях на Серпухов, а как раз в последней четверти XVII века здесь образовалась вполне обжитая и населенная улица. В 500 метрах от места, где некогда стояла каменная надвратная башня, магистр обнаружил по левой стороне скучное стеклобетонное здание стиля семидесятых годов двадцатого века. Институт хирургии имени Вишневого; на правой стороне стоял пятиэтажный жилой дом с вынесенными наружу синими лифтовыми шахтами.

Институт хирургии располагался на месте купеческой богадельни, выстроенной на пепелище усадьбы, которая когда-то принадлежала стремянному конюху Букину. Фандорин обрадовался: вот он, царский след! Но Болотников порылся в документах и установил, что треклятый Букин выстроился там лишь в 1698 году, а что было на сем месте прежде того (и было ли что-то вообще) — неведомо.

¹ Пара пустяков (*англ.*).

Жилому дому достался участок, сто лет назад принадлежавший товариществу дешевых квартир Московского общества приказчиков. Что находилось там раньше, выяснить никак не удавалось. Максим Эдуардович все глубже зарывался в груды пыльных бумаг (при одной мысли об этом у Фандорина начинался аллергический насморк), а магистр теперь утюжил одну за другой все исторические улицы, что вели от былых ворот Скородома на юго-восток. Надо же было чем-то себя занять.

После завтрака выезжал на Садовое. Смотрел по плану, где находились ворота, и начинал отсчитывать 500 метров. Осматривался, записывал номера домов, чтобы вечером доложить Болотникову. Вдоль тротуара за Николасом медленно катил черный джип, в нем сидели и зевали два охранника. Пару раз появлялся Сергеев. ПройдетсЯ немного рядом с шевелящим губами англичанином, покачает головой и уезжает рапортовать начальству — только непонятно, о чем.

Габуния держал слово и магистру больше не докучал, но ужасно мучила привязавшаяся песенка про Сулико, столь нелюбимая Иосифом Гурамовичем. Как зазвучит в ушах с самого утра в такт шагам: «Я-мо-ги-лу-ми-лой-ис-кал...», так и не отлипает, просто наваждение какое-то.

Один раз, после долгих колебаний, Николас позвонил Алтын — вечером. Говорить, разумеется, ничего не стал, просто послушал ее голос.

— Алло, алло. Кто это? — недовольно зазвучало в трубке, а потом вдруг резко так, пронзительно: — Ника, где ты? С тобой все в по...

Начал все-таки с Покровских ворот — не столько для практической пользы, сколько для того, чтобы приблизиться к Корнелиусу. Здесь когда-то находилась Иноземская слобода, Кукуй. По этой самой дороге капитан Фондорин ездил верхом, направляясь к месту службы — в караул, на учения или в арсенал.

«Помоги мне, Корнелиус, — шептал магистр, идя по Новобасманной улице. — Отзовись, протяни

руку из темноты, мне так трудно. Мне бы только коснуться кончиков твоих пальцев, а дальше я сам. Почему ты разрезал грамотку пополам, половинку спрятал в Кромешниках, а половинку привез с собой?» — спрашивал Николас далекого предка. Предок долго молчал, потом заговорил: сначала тихо, едва слышно, потом громче.

«Я не знал, что меня ждет в Москве, — объяснял он, поглаживая завитой ус. Лица было не видно, только эти молодецкие усы да еще поблескивала золотая серьга в правом ухе. — И не знал, надежен ли тайник в Кромешниках. Я спрятал там самое дорогое, что у меня было, а письмо про Либерею целиком оставить все-таки не решился. Слишком велика сокрытая в нем тайна. Если б в Москве меня ждала плаха, то левая половина осталась бы среди моих бумаг. А про то, где искать правую, я шепнул бы верному человеку перед казнью — пусть передаст сыну, когда тот подрастет. Кто же знал, что мне суждено погибнуть не по-христиански, после молитвы и отпущения грехов, а непокаянно, со шпагой в руке, от стрелецких бердышей?»

Предок говорил на старом швабском диалекте, который Николас выучил специально для того, чтобы читать старинные документы по истории рода. Но говорил он лишь то, о чем магистр мог бы догадаться и сам, главной же своей тайны не выдавал.

К вечеру пятого дня магистр добрался до Таганской площади, где некогда стояли Яузские ворота. От них на юго-восток тянулись целые четыре древние улицы: Таганская (ранее — Семеновская), Марксистская (ранее — Пустая), Воронцовская и Большие Каменщики.

Первой по порядку была Таганская. Николас уныло («сре-ди-роз-цве-ту-ших-в саду») посматривал по сторонам, отсчитывая шаги — их должно было получиться шестьсот тридцать, что более или менее точно соответствовало 500 метрам.

На четырехста сорок втором шагу магистр рассеянно взглянул на противоположную сторону улицы, где стоял разоренный одноэтажный особняк, за-

тянутый зеленой строительной сеткой — наверное, будут реставрировать. Да нет, пожалуй, сносить. Дом как дом, ничего особенного. По виду — конец прошлого века, а может и постарше, но тогда сильно перестроенный и, значит, архитектурно-исторической ценности не представляющий.

Внезапно до слуха Фандорина долетел некий тихий звук, будто кто-то позвал Николаса из дальнего-дальнего далека, без особой надежды, что будет услышан. Он взглянул на особняк повнимательней: выбитые стекла, проваленная крыша, сквозь облупившуюся штукатурку торчат черные бревна. Пожал плечами, двинулся дальше — оставалось еще сто девяносто шагов.

Прошел положенное расстояние, записал номера домов справа и слева. Подумал — не вернуться ли до площади на машине, но не стал.

Проходя мимо обреченного особняка, прислушался, не прозвучит ли зов снова. Нет, только обычные звуки города: шелест шин, урчание разгоняющегося троллейбуса, обрывки музыки из парка. И все же было в этом доме что-то странное, не сразу открывающееся глазу. Николай обвел взглядом мертвые, слепые окна, пытаясь понять, в чем дело.

Охранники выскочили из джипа и, озираясь по сторонам, бросились к долговязому англичанину, который вдруг зашатался, стал хватать руками воздух.

— Ранили? Куда? — крикнул один, поддерживая Николаса под локоть, а второй выхватил из-под пиджака пистолет и зашарил взглядом по соседним крышам.

— Тринадцать, — пролепетал магистр, улыбаясь суровому молодому человеку идиотской улыбкой. — Тринадцать окон!

* * *

— Моя первая ошибка: название ворот все-таки было не определением, а именем собственным. В середине семнадцатого века возле Новоспасского

монастыря — вот здесь — образовалась слобода, где жили казенные каменщики. Видите, Фандорин, тут даже и улицы так названы — Большие Каменщики и Малые Каменщики. Очевидно, из-за этого Яузские, они же Таганские ворота какое-то время именовались Каменными, а потом это прозвание не прижилось и было забыто.

Историки находились на квартире у Николаса. Снова сидели у стола, заваленного картами, схемами и ксерокопиями старинных документов, однако между партнерами произошло психологическое перераспределение ролей, не слишком бросающееся в глаза, но в то же время очевидное обоим. Главным теперь стал магистр, а доктор оказался в роли докладчика, да к тому же еще и вынужденного оправдываться.

— Вторая моя ошибка тем более непростительна. Я произвольно решил, что сажени, о которых говорится в грамотке, — это стандартная мера длины, известная со старинных времен и получившая повсеместное распространение с восемнадцатого века: так называемая косая сажень, размер которой в 1835 году был официально приравнен к 48 вершкам, то есть к 213 сантиметрам.

Болотников встал, широко расставил ноги, поднял и развел руки. Получилось некое подобие буквы Х.

— Вот косая сажень: расстояние от кончика левой ноги до кончика правой руки. Поэтому я и решил, что 230 сажений — это 490 метров. А между тем — и мне стыдно, что я упустил это из виду — в семнадцатом веке чаще применяли так называемую прямую сажень: расстояние между пальцами рук, вытянутых горизонтально, вот так. — Максим Эдуардович встал в позу рыбака, хвастающегося рекордной добычей. — Это 34 вершка, то есть 152 сантиметра. Обнаруженный вами дом находится в 350 метрах от прежних Яузских ворот, то есть именно в 230 прямых саженьях!

Каждое новое подтверждение своей правоты вы-

зывало у Николаса сладостное потепление в груди и блаженную улыбку, с которой триумфатор безуспешно пытался бороться — губы сами расползались самым недостойным образом, что, должно быть, усугубляло раны, нанесенные самолюбию докладчика. Впрочем, нет. Следовало отдать Максиму Эдуардовичу должное: он и сам до такой степени был возбужден и окрылен поразительной находкой, что, кажется, начисто забыл о гоноре и амбициях.

— Далее, — улыбнулся он в ответ на улыбку Николаса. — Современная Таганская улица триста лет назад была главной улицей черной Семеновской слободы — вот вам и наша «черная слобода». Все сходится, Фандорин, все указанные в письме приметы. А теперь самое главное — про дом. Я поднял документы по истории застройки на этом участке и обнаружил кое-что интересное. Вот, смотрите.

Коллеги склонились над копией скучного, официального документа с прямоугольным штампом.

— Дом № 15, предназначенный на снос как ветхий и не представляющий культурной и исторической ценности, был выстроен в 1823 году купцом Мушниковым. В 1846-м, 1865-м и 1895-м перестраивался. В 1852-м и 1890-м горел. Одним словом, обычная история обычного московского дома, зацепиться вроде бы не за что. Но... — Болотников положил поверх ксерокопии тетрадь со своими записями. — Смотрите-ка, какие факты мне удалось откопать. Во-первых, фамилия владельца. Известно, кто именно из Мушниковых построил дом, но, вообще-то, Мушниковы — довольно известная в прошлом веке семья хлыстов, которые, должно быть, устраивали в интересующем нас доме молитвенные собрания и бдения. Число тринадцать у одного из хлыстовских течений имело особый, сакральный смысл, чем, очевидно, объясняется и диковинное количество окон.

— Это все замечательно, — забеспокоился Николас. — Но при чем здесь фон Дорн? Он ведь жил на полтора века раньше!

— Погодите, погодите. — Архивист подмигнул с видом Деда Мороза, который сейчас достанет из мешка свой лучший подарок. — Про дом Мушникова написано, что он «бревенчатого строения поверх белокаменного фундамента, единственно уцелевшего от бывшей на том месте ранее деревянной же дубовой постройки — колдуновского дома, что сгорел при пожаре 1812 года». Почти вся эта часть города при нашествии французов выгорела и отстраивалась постепенно, на протяжении полутора десятилетий.

— Колдуновский дом — это по фамилии прежнего владельца? — осторожно, словно боясь спугнуть добычу, спросил Николас. — Или...

Болотников улыбнулся:

— Похоже, что «или». В одном из полицейских донесений Таганской части, датированном 1739 годом, мне попалось упоминание — единичное, мимоходом — о каком-то «колдуновском доме, он же валзеров». А в росписи окладных жалований Иноземского приказа за 1672 год и потом еще в деле о заготовке лекарственных трав Аптекарского приказа от 1674 года я дважды обнаружил имя «апотечных дел мастера немчина Адамки Валзера». Вам отлично известно, что москвичам той эпохи аптекарь, да еще из басурман, должен был представляться колдуном.

— Немец! — вскричал Фандорин. — И Корнелиус был немец!

— Так-то оно так, но на этом факты, которыми мы располагаем, исчерпываются и начинаются предположения. Каким образом вышло, что на фасадной стороне послепожарного дома оказалось столько же окон, сколько было в доме аптекаря? Случайное совпадение?

Магистр затряс головой:

— Конечно, нет! Мушников наверняка купил участок с развалинами Колдуновского дома именно потому, что хлысту такое неординарное количество окон должно было показаться доброй приметой. Возможно, дом выгорел не дотла и контур фасада

еще просматривался. Или же просто сохранилось воспоминание о допожарной постройке с чертовой дюжиной окон. Ведь после нашествия Наполеона миновало каких-нибудь десять лет.

— Вот и я так думаю. — Максим Эдуардович отодвинул бумаги в сторону, повернулся к Фандорину и сказал, чеканя слова: — А самое для нас существенное то, что Мушников отстроился *на том же самом фундаменте*. Вот вам «подклеть знатна» — и при Великом пожаре не сгорела. Надеюсь, вы понимаете, Фандорин, что это значит? — И договорил громким шепотом. — Нам не нужны ни спонсоры, ни чиновники. Мы *можем добыть Либерею сами!*

* * *

На подготовку пришлось потратить целых три дня, хотя кладоискателей одолевало мучительное нетерпение. Николасу удавалось уснуть только перед рассветом — на два-три часа, не больше, а Болотников, судя по красным векам и кругам под глазами, кажется, и вовсе лишился сна.

Время ушло не на заготовку необходимых инструментов — Фандорин просто передал Сергееву список, и в тот же день на Киевскую доставили две легких швейцарских лопаты какой-то особенной конструкции, две кирки, домкрат, два обычных дворницких лома, фонари, веревочную лестницу и электрический бур — на случай, если придется делать шурфы.

— Подземный ход копать будете? — спросил Владимир Иванович как бы в шутку, а сам так и впился своими серыми глазками в кипу бумаг, лежавшую на столе.

— Да, надо кое-что поискать, — небрежно ответил Фандорин.

— Ясно, — кивнул полковник.

Из-за него и произошла проволочка. Три вечера ушли на отвлекающий маневр. Партнеры выезжали со всем инструментарием на какие-нибудь произ-

вольно выбранные развалины (сначала на руины фабрики в Текстильщики, потом в Замоскворечье и в Марьину Рошу), начинали ворочать глыбы и копать землю.

В первый раз явился сам Сергеев. Походил, посмотрел. Уехал.

Во второй раз полковника уже не было, но из-за обломков то и дело выглядывали охранники. Когда сунулись совсем близко, Николас произвел мобилизацию: вручил молодым людям лопаты и велел перетаскать с места на место огромную кучу мусора. Мальчики вспотели, перепачкали свои замечательные костюмчики, одному зашибло щиколотку упавшим кирпичом.

В третий раз Фандорин и Болотников трудились в полном одиночестве — охрана осталась снаружи и интереса к копательству полоумных историков больше не проявляла. Это означало, что пора, можно.

План составил такой. Сергеевских красавцев поставить на углах дома номер 15, чтобы никто не совался — проблемные подростки, алкоголики, бесприютные любовники, да и с милицейским патрулем, который заинтересуется лучом света, мелькнувшим в подвальной окошке, охранники тоже без труда договорятся. Николас и Болотников вскроют гнилую дверь, спустятся вниз и будут следовать инструкциям Корнелиуса фон Дорна. Если (о если!) удастся что-то найти, попытаются сделать самую предварительную и приблизительную оценку клада, но наверх выносить ничего не будут. Более того — для конспирации поедут завтра и даже послезавтра еще на какие-нибудь развалины, а тем временем решат, как и в какой форме объявить городу и миру о грандиозной, умопомрачительной находке.

Прибыли на Таганскую во втором часу ночи. На улице ни души, тихо. Фандорин посмотрел вправо, влево, вверх. Увидел, что луна пытается подглядеть за искателями сокровищ сквозь неплотные тучи, да все никак не пробьется, и небо от этого черное и серое, похожее цветом на мраморное надгробье.

Мальчиков расставили по постам. Через дыру в заборе пролезли во двор, а еще пять минут спустя уже пробирались через груды досок и щебня вниз, в подвал. Ржавую железную дверь пришлось высадить ломом. Скрежет и лязг нестройным эхом откликнулись меж темных стен, с которых свисали клочья отслоившейся краски.

— Так, — почему-то шепотом сказал Фандорин, осветив потолок подвала. — Северо-восточный угол — вон тот.

Архивист подошел к стене, поскреб ее ножом.

— Известняк, исконный московский известняк, — тоже вполголоса сообщил он. — И кладка древняя. Так еще при Иоанне Третьем обтесывали. В Москве многие старые дома стоят на таких вот фундаментах. Раствор на яичных желтках с добавлением меда, пчелиного воска, куриного помета и бог знает чего еще. Держит лучше, чем любой современный.

Николасу, которого колотил нервный озноб, показалось, что историко-архитектурная лекция Максима Эдуардовича сейчас не ко времени. Магистр добрался до дальнего, обращенного ко двору угла, поставил фонарь сбоку и взялся за лопату. Сначала нужно было расчистить пол от мусора.

Песня про неуловимую Сулико оставила Фандорина в покое с того самого дня, когда он пересчитал окна на фасаде дома № 15. Вместо грузинского фольклора к Николасу теперь привязалось стихотворение из книжки, вынутой из шкафа в кабинете. Очевидно, квартира на Киевской использовалась «Евродебетбанком» в качестве временного пристанища для деловых гостей, поэтому подбор литературы в шкафу был специфический: всевозможные бизнес-справочники, глянцевого журналы, целых пять экземпляров «Российской банковской энциклопедии» и почему-то еще сиротливый томик серии «Мастера советской поэзии». Его-то Фандорин и перелистывал по ночам, сражаясь с бессонницей.

Стишок был прилипчивый, про предпубертатную любовь. «Хорошая девочка Лида на улице этой

живет», бормотал теперь Николас с утра до вечера и видел перед собой не какую-то неведомую ему Лиду, а улицу Таганскую и дом № 15, затянутый зеленой сеткой.

Вот и сейчас магистр размахивал лопатой в такт амфибрахию — между прочим, трехстопному, с женской рифмой, что соответствовало размеру классического лимерика. «Он с именем этим ложится и с именем этим встает». Ритм был удобный, в самый раз для физического труда, и дело шло споро.

Наконец из-под мусора показались полусгнившие доски. Очевидно, в подвале когда-то жили люди, раз настланы полы.

Пришлось отложить лопаты и взяться за ломы. Вскрыли один слой досок, за ним обнаружился другой, обугленный.

— Вот вам и пожар 1890-го, — заметил Болотников, вытирая вспотевший лоб. — Ну что вы все бормочете? Вперед, Фандорин, мы близки к цели.

Сняли и этот настил.

— Ага! — азартно воскликнул Максим Эдуардович, когда железо ударилось о камень. — Каменные плиты! Я так боялся, что под досками окажется грунт. Ну-ка, ну-ка, расчищаем!

Поставили фонари на края ямы, образовавшейся в углу. Докрошили доски, вычерпали труху и пыль лопатами.

Угловая плита была размером примерно три фута на три.

Болотников насупился:

— Ай-я-яй. Хреново, Фандорин, здесь что-то не так. В письме сказано «в углу плита каменная да узкая», а эта квадратная. Да и, похоже, тяжеленная, вдвоем не выковырнешь — как же сынок Микита один-то справился бы? Ладно, давайте займемся швами.

Толкаясь плечами, опустились на корточки, стали расчищать межплитный шов. Николас морщился от тошнотворного скрежета, а сердце сжималось от страха: неужто ошибка?

— Достаточно, — решил Максим Эдуардович. — Подцепим в два лома, навалимся. Вдруг все-таки вывернем. На три-четыре.

Фандорин уперся ногой в край проломленного деревянного настила, вцепился обеими руками в лом и по команде рванул рычаг кверху.

Плита встала дыбом — с такой неожиданной легкостью, что Болотников едва удержался на ногах.

— Вот что значит узкая! — Магистр придержал плиту и показывал на ее ребро. — Ширина не больше трех дюймов!

Тяжело задышав, Болотников отпихнул коллегу и, подхватив плиту (оказывается, не такую уж тяжелую), отшвырнул ее в сторону. Она ударилась о брошенный лом и раскололась надвое.

— Зачем? — воскликнул Николас. — Ведь это место потом станет музеем!

Не отвечая, Максим Эдуардович упал на четвереньки и принялся голой ладонью выгребать из неглубокой выемки пыль.

— Светите сюда! — прохрипел он. — Ну, живей! Тут посередине выемка. Да светите же! Я что-то нашупал!

Фандорин направил луч фонаря вглубь темного квадрата, вытянул шею, но архивист уткнулся лицом в самый пол и разглядеть что-либо было невозможно.

— Что там?

— Выемка, а в ней скоба, — глухо ответил Болотников. — На таких в старину крепили дверные кольца.

Приложение:

Политически некорректный лимерик, помогший Н. Фандорину разгрести мусор в подвале дома № 15 ночью 3 июля:

*Хорошая девочка Лида
В красавцев спортивного вида
Все время влюблялась,
Но предохранялась,
Чтоб не было клэпа и СПИДа.*

Глава четырнадцатая

И все-таки ангел. «Я вас обманул». К чему приводит пните до ногтя. Левая рука капитана фон Дорна. Только бы успеть.

Корнелиуса крепко схватили за руки, а мужик, что возился у жаровни, повернулся. Был он низколоб, с вывернутыми волосатыми ноздрями, толстая шея шире головы. Оглядел приговоренного с головы до ног, побряхтел, шагнул ближе.

Палач! Он-то и станет сейчас терзать бедное тело несчастного рыцаря фон Дорна.

— Слово и дело, — беззвучно прошептали белые губы капитана... — Государево...

Рассказать про Либерею. Что угодно, лишь бы отсрочить муку! Пускай на крюк, но не сейчас, после!

— А слушать от вас, злодеев, «слово и дело» не велено, — сказал дьяк. — Не записывай, Гришка. От страха смертного воры много чего кричат, только веры вам нету. Давай, Силантий, не томи. Уж вечеромь скоро.

Корнелиус открыл рот, чтоб крикнуть такое, от чего допроситель наострит уши: «Знаю, где царский клад!» Но кат шлепнул его по губам — молчи, мол. Вроде не сильно и шлепнул, но во рту сразу стало солоно.

— Добрый армячок, жаль короткий, — пробурчал Силантий сам себе и прикрикнул на забившегося узника, как на лошадь. — Ну, балуй!

Взял фон Дорна за плечи, кивнул тюремщикам, чтоб отошли, и легко вытряхнул преступника из ку-

цавейки. Отложил добротную вещь в сторону, таким же манером снял с Корнелиуса вязаный телогрей. Рубашку со вздохом сожаления разодрал — зацепил пальцем у ворота и рванул до пупа. Подручные вмиг сорвали лоскуты, и голый торс капитана весь пошел мурашками.

— Ништо, — подмигнул палач. — Сейчас обогреешься, потом умоешься.

Лучше быстрая смерть, чем истязание, решил Корнелиус и, пользуясь тем, что ноги свободны, ударил ката ногой в пах. Сейчас вывернуться, схватить с жаровни раскаленные щипцы потяжелее и перво-наперво гнусному дьяку по харе, потом душегубу Силантию, а дальше как получится. Набежит стража, избудит саблями, но это уж пускай.

Ничего этого не было. Палач от удара, который согнул бы пополам любого мужчину, только охнул, но не пошатнулся, а привычные тюремщики повисли у мушкетера на руках.

— А за это я тебя, червя, с потягом, — сказал непонятное Силантий и ткнул пленника пальцем под душу — у Корнелиуса от боли перехватило дыхание, подкосились колени.

Чтоб не брыкался, ноги ему перетянули ремешком, подтащили к дыбе. Сейчас подцепят сзади за запястья, дернут к потолку, чтоб вывернулись плечевые суставы, а там начнут охаживать кнутом-семихвосткой и жечь железом.

Дьяк вдруг поднялся из-за стола, сдернул шапку. Вскочил и молоденький писец.

В пытошную вошли двое: первым кремлевский скороход в алом царском кафтане, за ним еще кто-то, в полумраке толком не разглядеть, только слышно было, как позвякивает на боку сабля.

— Указ ближнего государева боярина Артамона Сергеевича Матфеева, — объявил придворный слугитель и, развернув, прочитал грамотку. — «Царственной большой печати сберегатель приговорил служилого немца капитана Корнея Фондорина не

мешкая из Разбойного приказа отпустить, ибо вины на нем нет, о чем ему, боярину, ведомо. А ежели кто тому капитану Фондорину чинил бесчестье или обиду, того обидчика, на кого Корней покажет, заковать в железа и бить кнутом нещадно, даже до полуста раз».

Из тени вышел и второй. В серебряном кафтане, островерхой собольей шапке, лицом черен.

— Иван... Иван Артамонович, — всхлипнул фон Дорн, еще не до конца поверив в чудо.

— Указ боярина слышал? — строго спросил арап у дьяка. — Вели руки развязать. Кнута захотел?

Пытошный дьяк, и без того бледный, сделался вовсе мучнистым.

— Знать не знал, ведать не ведал... — залепетал. — Они и именем не назвались... Да господа, да если б я знал, разве б я... — Поперхнулся, закричал. — Вережки снимайте, аспиды! Одежу, одежду ихней милости поднесите!

Матфеевский дворецкий подошел к Корнелиусу, хмуро оглядел его, помял сильными, жесткими пальцами ребра.

— Цел? Поломать не успели? К службе годен?

— Годен, Иван Артамонович, — ответил фон Дорн, натягивая телогрей — от обрывков рубахи отмахнулся. — Но еще немножко, и надо бы отставка. По у вечности.

Арап покосился на дыбу, на жаровню.

— Ну, я тебя на воле подожду. Тут дух тяжелый. Только недолго, Корней. Служба ждет.

Вышел.

Корнелиус помял задеревеневшие запястья. Вот так: «Вины на нем нет, о чем ему, боярину, ведомо» — и весь сказ. Нет, определенно в русском судопроизводстве имелись свои преимущества.

Он повернулся к Силантию, взял одной рукой за бороду, другой ударил в зубы — от души, до хруста. Не за то, что палач, а за прибаутки и за «червя».

Подошел к дьяку. Тот зажмурился. Но вся злоба

из капитана уже вышла с зуботычиной, потому дознавателя фон Дорн бить не стал, только сплюнул.

Иван Артамонович ждал в санях, рядом — медвежья шуба, приготовленная для Корнелиуса.

— Быстро управился, — усмехнулся арап. — Не сильно обидели, что ли?

Капитан скривил губы, садясь и укутываясь в шубу.

— Ну их, собак. Только рука грязнить. Спасибо, Иван Артамонович. Ты меня выручал.

— Грех верного человека не выручить. — Арап тронул узорчатые вожжи, и тройка серых коней покатила по желтому снегу. — Адам Валзеров до меня только в полдень добрался, прежде того я с боярином в царском тереме был. Как прознал я, что тебя в Разбойный сволокли, сразу сюда. Хорошо, поспел, а то тут мастера из человеков пироги с требухой делать. Только вот что я тебе скажу, Корней. Рвение трать на солдатскую службу, лазутчиков у боярина и без тебя довольно. То во дворце подслушиваешь, то к злохитрому Таисию на двор забрался. Поумерь пыл-то, поумерь. Что мы тебя из пытошной вызволили, за то не благодари. Артамон Сергеевич своих ревнителей в беде не бросает — об этом помни. А что Таисий, пес латинский, заодно с Милославскими, про то нам и так ведомо, зря ты на рожон лез. Ничего, как наша возьмет, со всеми ними, паскудниками, расчет будет.

— Как это — «наша возьмет»? — спросил капитан.

— А так. Завтра поутру придет московский народ в Кремль, большой толпой. Станут Петра царем кричать, а в правительницы царицу Наталью Кирилловну. Уж ходят наши по Москве и посадам, шепчут. Федор и Иван-де слабы, немощны. Лекаря говорят, оба царевича на свете не жильцы, в правители не годны. Иди, капитан, отсыпайся. Не твое дело боярским оком и ухом быть, твое дело шпагу крепко держать. Завтра будет тебе работа. С рассвета заступишь со своими на караул вокруг Грановитой

палаты, там будет Дума сидеть. Стремянных и копейщиков близко не подпускай. Если что — руби их в капусту. Понял, какое тебе дело доверено?

Что ж тут было не понять. В капусту так в капусту. Корнелиус блаженно потянулся, окинув взглядом белую реку с черными прорубями и малиновую полосу заката на серебряном небе. Жить на Божьем свете было хорошо. А чудесный спаситель Иван Артамонович хоть и черен ликом, но все равно — ангел Господень, это теперь окончательно прояснилось.

* * *

Отсыпаться Корнелиусу было ни к чему — слава Богу, наспался, належался в «щели». Отдав поручику необходимые распоряжения по роте (проверить оружие и амунисию, из казармы никого не отпускать, шлемы и панцири начистить до зеркального блеска), фон Дорн переоделся, опрокинул на ходу чарку водки — есть было некогда, хоть и хотелось — и в седло.

До Каменных Яузских ворот доскакал в десять минут, а там уж начиналась и черная Семеновская слобода. От нетерпения, от радостного предвкушения не хватало воздуха, так что дышал не носом — глотал морозный воздух ртом. Раз Вальзер дожидался арапа в Артамоновском переулке, стало быть, во-первых, жив и невредим, во-вторых, благополучно добрался до дому, в-третьих, никуда не сбежал и, в-четвертых, истинно благородный, достойный человек, в чем Корнелиус никогда и не сомневался. Ну разве что в минуты слабости, когда лежал в холодной и тесной «щели». Постыдная гадина шевельнулась в душе и теперь, зашипела: «Это он не тебя спасти хотел, а боялся, чтоб ты под пыткой его не выдал, вот и побежал к Матфееву» — и тут же была с омерзением попрана и растоптана.

Брат Андреас говорил: «Никогда не думай о человеке плохо, пока он не сделал дурного». А уж если

человек сделал тебе хорошее, то подозревать его в скверном тем более грех.

Когда же узенькое сторожевое окошко дубовых ворот раскрылось на стук и Корнелиус увидел просиявшее радостью лицо аптекаря, подлое шипение и навовсе забылось.

— Боже, Боже, — все повторял Вальзер имя, которого обычно не употреблял, ибо, как известно, почитал религию пустым суеверием. — Какое счастье, господин фон Дорн, что вы живы! Я просто не верю своим глазам! О, как я терзался, представляя, что вас убили, или ранили, или самое страшное — отвели в Разбойный приказ! Даже обладание Замолеем не облегчало моих мук!

— Так книга у вас? — спросил капитан, спешиваясь. — Вы ее донесли? Браво, герр Вальзер. Надеюсь, клад от нее не оторвали, чтоб избавиться от тяжести?

Аптекарь подмигнул:

— Не волнуйтесь, не оторвал. Вся ваша добыча в алтын-толобасе.

— Как «вся»?!

Корнелиус замер у коновязи с уздечкой в руке. О таком он и не мечтал!

— Но... Но мешок был неподъемен, даже я еле его ташил! Как вы смогли один, ночью, пронести такую тяжесть через весь город, мимо всех застав и решеток? Это невероятно!

— Вы совершенно правы, — засмеялся Вальзер. — У первой же решетки меня схватили за шиворот... Да идемте же в дом, холодно.

Свой рассказ он продолжил уже в горнице, где горели яркие свечи, на стене жмурился африканский крокодил, а на столе, посверкивая гранями, стоял графин резного стекла с темно-рубиновой жидкостью.

— ...Схватили, кричат: «Кто таков? Вор? Почто без фонаря? Что в мешке — покража?» И не обычные уличные сторожа, а самые настоящие полицейские стражники — земские ярыжки.

— А вы что? — ахнул фон Дорн.

— Вы знаете, герр капитан, я человек честный, врать не люблю. — Морщины собрались в плутовскую гримасу, совершенно не шедшую ученому аптекарю. — Отвечаю, как есть: «Да, в мешке покража. Лазил на митрополитов двор, украл полный мешок книг. Можете отвести меня обратно, вам за усердие по алтыну дадут, много по два. А поможет мне мешок до дома дотащить — я вам выдам по рублю каждому и еще по бутылки сладкого рейнского вина». И что вы думаете?

— Дотащили? — поразился Корнелиус.

— Мало того, что дотащили, так еще и охраняли, через канавы под локотки переводили, а после, когда расплатился, долго кланялись. Просили впредь не забывать, если какая надобность.

— Вы просто великолепны! Я хочу за вас выпить!

Капитан потянулся к заманчиво посверкивающему графину, рядом с которым стояли две глиняные кружки, каким на Торжке в хороший день цена полкопейки. Только в нелепом жилище чудака-аптекаря благородное венецианское стекло могло соседствовать с грубой ремесленной поделкой.

Вальзер придержал пробку.

— Нет, мой милый Корнелиус. Вы ведь позволите мне вас так называть? Здесь драгоценное кипрское вино, которое я давно берег именно для этого торжественного дня. И мы с вами непременно выпьем, но не здесь, а внизу, рядом с нашим великим трофеем.

— Так идемте ж скорей!

Вдвоем они сняли обе каменные плиты, по деревянной лесенке спустились в потайной подвал.

Открытый толобас с откинутой крышкой был до половины заполнен книгами в радужно искрящихся обложках. Капитан благоговейно опустил на колени, погладил пальцами смарагды, яхонты, лалы.

— А где Замолей? Что-то я его не вижу.

— Он здесь, на столе. Я не мог удержаться и заглянул в текст.

— И что? — Фон Дорн с любопытством взглянул

на раскрытый том, серевший в полутьме широкими страницами. — Вы сможете это прочесть?

Он подошел, поставил свечу в глиняном шандале на стол, куда Вальзер уже пристроил графин с кружками.

Бледно-коричневые письма покрывали листы сплошной паутиной. Неужто в этих закорючках таится секрет великой трансмутации?

— Я одного не возьму в толк, — задумчиво произнес капитан, разливая вино. — Зачем вам, дорогой господин Вальзер, все золото вселенной? Вы достаточно состоятельны, чтобы обеспечивать себя всем необходимым. Мой ученый брат, настоятель бенедиктинского монастыря, говорил: «Богатство измеряется не цифрами, а ощущением. Один чувствует себя нищим, имея ренту в сто тысяч дукатов, потому что ему все мало; другой богат и со ста талерами, потому что ему хватает и еще остается». Вы, безусловно, относитесь ко второй категории. К чему же было тратить столько лет и сил на добычу сокровища, которое вам не нужно? Не понимаю. Так или иначе, теперь ваша мечта осуществилась. Давайте за это выпьем. Мне не терпится попробовать вашего замечательного кипрского.

— Пойдите.

Аптекарь внезапно сделался серьезен, а возможно, даже чего-то и устранился — нервно облизнул губы, захрустел пальцами.

— Я... Вы... Вы совершенно правы, мой друг. Я сразу понял, что вы не только храбры, но и пронырливы. Тем легче мне будет признаться вам, человеку умному и великодушному...

— В чем? — улыбнулся фон Дорн. — Вы что, ошиблись, и в Замолее написана какая-нибудь бессмыслица? Никакого Магистерииума, Красной Тинктуры или как там еще называется ваша магическая субстанция, с помощью этой пыльной книжки вы не добудете? Ничего. Моей добычи хватит на двоих. Я поделюсь с вами — тем более, что вам и в самом деле не так много надо. Хотите, я куплю вам отлич-

ный дом неподалеку от своего замка? О, я выстрою себе настоящее французское шато — с башнями и рвом, но в то же время с большими окнами и удобными комнатами. А вам я куплю славную усадьбу с чудесным садом. Вы будете сидеть в уютной плющом беседке и читать свои скучные книги. А может быть, даже сами сочините философский трактат или опишете историю поисков Либерии в дикой Московии. Чем не роман?

Он засмеялся, довольный шуткой. Вальзер же стал еще мрачнее. Он определенно волновался, и чем дальше, тем больше.

— Я же говорю, герр капитан, вы человек великодушный, и картина, которую вы нарисовали — дом, сад, книги — для меня полна соблазна. Но мне уготована иная дорога в жизни. Не мир, но бой. Не отдохновение, а жертвенное служение. Вы угадали: в Замолее не содержится рецепт изготовления Философского Камня. По очень простой причине — из одного элемента невозможно добыть другой, из ртути никогда не получится золото. В наш просвещенный век никто из настоящих ученых в эти алхимические бредни уже не верит.

Корнелиус так удивился, что даже кружку с вином отставил.

— Но... Но зачем же вам тогда понадобилось это старье? Из-за лалов страны Вуф?

— Нет. Меня не интересуют сверкающие камешки и золото, тут вы тоже правы. — Аптекарь показал пальцем на раскрытую книгу, и его голос задрожал, но уже не от волнения, а от торжественности. — Этот древний папирусный манускрипт, которому больше полутора тысяч лет, совсем о другом. Простите меня, мой славный друг. Я обманул вас.

* * *

Видя, что в глазах старика блестят слезы, Корнелиус пододвинул Вальзеру кружку.

— Да что вы так расстраиваетесь, приятель! Мне

ведь в общем все равно, что там написано, в вашем Замолее. Главное, чтоб вы были довольны. Вы довольны?

— О да! — вскричал Вальзер, и слезы на его глазах вмиг высохли. — Текст превзошел самые смелые мои ожидания! Это перевернет...

— Ну вот и отлично, — перебил его капитан. — Вы довольны, я тоже доволен. А мое предложение остается в силе. В моем замке или по соседству с ним всегда найдется для вас уютное жилище. Выпьем же за это.

— Ах, да погодите вы с вашим вином! — досадливо всплеснул руками аптекарь. — Неужто вам не хочется узнать, что за сокровище я разыскивал так долго, так упорно, подвергая угрозе свою и вашу жизнь?

— Отчего же, мне крайне любопытно. Я просто хотел сказать, что вовсе не обижен на вас за шутку с Философским Камнем. Так мне, невежде, и надо.

— Слушайте же.

Вальзер провел рукой по лицу, словно хотел надеть или, наоборот, снять маску. Когда снова взглянул на собеседника, тому показалось, будто аптекарь и в самом деле стянул личину добродушного, смешного чудака. Теперь на Корнелиуса смотрел человек решительный, страстный, целеустремленный. Голубые глаза старого медика высверкивали такими зарницами, что с лица капитана враз слетела снисходительная улыбка.

— В этой книге, — тихо начал Адам Вальзер, — спасение человечества. Не больше и не меньше. Непросвещенному и неподготовленному уму она может показаться страшной. Даже и ученому мужу, если его разум незрел, а душа находится во власти ложных верований, опасно читать эти страницы. Пастор Савентус, уж на что был образованный и здравомыслящий для своего времени человек — и тот не выдержал, бежал, куда глаза глядят. Он не русского царя устроил, а этой рукописи.

— Что ж в ней такого? — спросил капитан, опасливо глядя на книгу Замолея, и на всякий случай чуть отодвинулся от стола.

Но аптекарь будто не слышал вопроса — продолжил свой рассказ ровным, приглушенным голосом, а глаза его теперь были полузакрыты.

— Я обманул вас, когда сказал, что обнаружил записки Савентуса в Гейдельбергском университете. Я наткнулся на них в архиве миланской инквизиции, где читал старинные протоколы допросов еретиков, которых святые отцы отправили на костер. Такую привилегию мне даровал кардинал Литта за то, что я вылечил его от почечуя. Савентус попал в застенки инквизиции вскоре после бегства из России, в 1565 году. Видно, от пережитого слегка повредился в рассудке. Ехал через Европу, много болтал. Кончилось доносом и темницей, выйти из которой доктору было уже не суждено.

— От чего же он рехнулся?

На этот раз вопрос был услышан.

— Помните, мой дорогой Корнелиус, я говорил вам, что в потайном сундуке константинопольских базилевсов хранились раннехристианские еретические книги? Это — одна из них, самая знаменитая, которую никто не видел больше тысячи лет, так что о ней сохранились лишь смутные предания.

— Еретическая книга? — разочарованно протянул фон Дорн и бояться стола перестал. — Эка невидаль!!

— Известно ли вам, — еще больше понизил голос аптекарь, — что подлинных евангелий было не четыре, а пять? Пятое жизнеописание Иосифова сына составил апостол Иуда. Да-да, тот самый.

— Разве он не повесился вскоре после распятия?

— Сведения о кончине того, кто выдал мессию Синедриону, противоречивы. Евангелисты утверждают, что он удавился. В «Деяниях апостолов» написано, что предатель споткнулся на ровном месте и чрево его ни с того ни с сего «расселось». А у Папия

Иерапольского читаем, что Иуда дожил до преклонных лет, а умер от таинственной болезни: тело его страшно распухло и стало издавать невыносимое зловоние, так что люди брезговали подойти к недужному. Папий был учеником апостола Иоанна и современником Иуды. Его свидетельству можно верить. Это значит, что Иуда прожил долгую жизнь. Человек, близко знавший Христа и погубивший его, оставил подробное жизнеописание так называемого Спасителя. Пятый евангелист не только разъяснил, почему он положил конец мессианству Иисуса (уж, само собой, не из-за тридцати серебряных монет), но и рассказал о Назарянитине всю правду, без лжи и прикрас. На заре христианства эта рукопись ходила по рукам и многих отвратила от новой веры. Потом, со времен императора Константина, сделавшего христианство государственной религией, «Евангелие от Иуды» вдруг исчезло. Теперь-то понятно, куда оно делось: все списки были уничтожены, а оригинал остался в тайном книгохранилище кесарей. Заглядывать в этот манускрипт воспрещалось под страхом погубления души, но и уничтожить древнее свидетельство базилевсы не посмели.

— Там написаны про Спасителя какие-то гадости? — сдвинул брови фон Дорн. — Ну и что? Кто ж поверит измышлениям подлого предателя?

— Измышлениям? — Вальзер усмехнулся. — В протоколе допроса Савентуса была приписка инквизитора: «Сие кощунственное сочинение, именуемое «Иудиным Евангелием», несомненно, произведено самим прелукавым душеуловителем Сатаной, ибо даже в пересказе порождает неудержимый соблазн усомниться в Божественной природе и Благодати Господа нашего Иисуса». У меня было мало времени, а текст читается трудно, но, одолев лишь первые четыре страницы, я уже узнал про Иисуса такое, что смысл всех его деяний предстал передо мной в совершенно ином свете! — Рассказчик задохнулся от возбуждения. — Если б предъявить миру только эти че-

тыре страницы, и то вся христианская вера пришла бы в шатание! А самое поразительное то, что, если отправиться в Святую Землю, то очень возможно, что еще и теперь можно сыскать доказательства правдивости евангелиста! Знаете ли вы, кем на самом деле был Иисус из Назарета и чем он занимался первые тридцать лет своей жизни?

— Не знаю и знать не желаю! — вскричал фон Дорн. — То есть, нет — знаю и не хочу знать ничего иного! Спаситель был сыном плотника и помогал отцу, а потом отправился проповедовать Истину. И не смейте утверждать ничего иного!

Вальзер горько рассмеялся.

— Вот-вот, точно так же слепы и все прочие христиане. Мрак суеверия для вас предпочтительней света правды. Ладно-ладно, не затыкайте уши. Я не стану ничего рассказывать вам про Христа. Послушайте лучше, что мне удалось узнать про судьбу Иудиного евангелия в Московии. Первым страшную книгу обнаружил Максим Грек, начавший разбирать Либерейю для великого князя Василия. Монах наткнулся на «Математику» безвестного Замолея, увидел, что титул ложный, а далее идет кощунственный текст об Иисусе. Сказал об этом государю, и тот, испугавшись, повелел тут же замуровать всю Либерейю обратно в тайник, а греческого книжника с Руси отпускать запретил. Так Максим и окончил свои дни среди московских снегов. Потом, через полвека, Либереей занялся любознательный Иоанн. Долго искал книгочесв-переводчиков — да все попадались недостаточно ученые. Наконец, подвернулся наш Савентус. Он довольно скоро добрался до ложного Замолея и стал переводить царю еврейские письма — прямо с листа. Судя по протоколу миланской инквизиции, чтение продолжалось всего двенадцать дней. На тринадцатый Савентус, утративший сон и вкус к пище, не выдержал, пустился в бег. На допросе он показал, что русский царь, ранее набожный и благочестивый, от чтения Книги заколебался в

вере и стал задавать богопротивные вопросы. Какие именно, я прочесть не смог — эти строки, как и многие другие, были густо замазаны чернилами. Больше всего меня поразило там одно место, которое я запомнил слово в слово. «Евангелие писано с такою силою и правдоподобием, — утверждал Савентус, — что сам папа римский утратил бы веру и понял: никакого Бога нет, а человеки предоставлены самим себе». Сам папа римский! — Вальзер вдохновенно воздел указательный перст к низкому своду. — Итак, пастор сбежал из Москвы и повредился в рассудке, но и царь Иван не вынес посягательства на веру. До той поры был разумен, умерен, милостив, а в 1565 году вдруг случилась с ним ужасная перемена, за которую его и прозвали Грозным. Таких зверств, таких кошунств и гнусностей эта несчастная страна не видывала испокон веков, даже в годы татарского нашествия. Сумасшедший монарх то неистовствовал, как бы испытывая Господа — мол, полюбуйся на мои непотребства и останови меня, если Ты существуешь, то ужасался содеянным и начинал поститься да каяться. Я читал в хронике, что Иван попеременно надевал черное, красное и белое платье. В красном рекою лил кровь. В черном тоже сеял смерть, но без кровопролития — удавкой или огнем. В белом же одеянии веселился, но так, что многим это веселье казалось хуже казней... А Либерею царь запер в свинцовое подземелье, чтоб и с его наследниками не произошло пагубного шатания.

Корнелиус слушал невероятную историю, затаив дыхание, лишь время от времени поглядывал на жуткую книгу, наделавшую таких дел. Хорошо хоть написана на древнееврейском, который кроме немногих умников да безбожных жидов все равно никто читать не умеет.

— Что же до Савентуса, — продолжил Вальзер, — то участь его была печальна. Допрос велся тайно, в присутствии одного лишь отца главного инквизитора и писца-протоколиста. Весь пересказ

«Евангелия от Иуды» старательно вымаран. В конце приписка, уже иной рукой: «По окончании расспроса, длившегося семь ночей без применения пытки, поскольку оный еретик Савентус говорил без принуждения и запираательства, постановлено окропить камеру святой водой; бесноватому сунуть в рот кожаную грушу, чтоб не вел со стражниками прельстительных речей, а по окончании Святого Поста сокровенно удавить в темнице; писца брата Амброзия жизни не лишать, но во избежание огласки отсечь ему язык и обе руки, после чего сослать на дожитие в дальний монастырь». Надо полагать, что вердикт вынесен главным инквизитором, который и сделал эту приписку. Ниже еще одна запись, и опять другим почерком. Коротко, без комментариев: «Сего 13 декабря отец главный инквизитор Иеронимус повесился во дворе на осине». Ну, как вам мой рассказ, герр капитан?

Аптекарь испытующе воззрелся на фон Дорна. Тот был бледен, на лбу выступила испарина. Показал на Замолея подрагивающим пальцем:

— Зачем же вам нужна этакая страсть, от которой людям одни злосчастья — безумие и смерть? Что вам в ней? Пусть лежала бы себе в сундуке еще полторы тысячи лет.

— Нет, друг мой, уже пора! Сто лет назад, во времена Савентуса было еще рано, а теперь в самый раз, — с глубоким убеждением сказал Вальзер. — В шестнадцатом столетии людской разум был еще слишком окутан мраком невежества, человек еще не поднялся с колен. А наш с вами просвещенный век явил великие открытия: о том, что Земля не центр Вселенной, а всего лишь одна из планет, вращающихся вокруг светила, или о том, что...

— Не может быть! — вскричал потрясенный капитан. — Всякий видит, что это Солнце обращается вокруг Земли!

— Не всегда нужно верить своим глазам, — улынулся ему аптекарь, будто неразумному дитя-

те. — Вашему взору, например, представляется, что Земля плоская, а она кругла, как яблоко.

Корнелиус поник, сраженный этим аргументом. Неужто Земля и в самом деле не центр мироздания?

— А сколько чудесных открытий свершила физическая и химическая наука! А медицина! Никогда еще человек не знал о себе и природе так много. Разум наконец-то приучается мыслить бесстрашно и самостоятельно, он избавляется от детских пеленок. Человек нынче чувствует и понимает себя совсем по-другому. Величественный Шекспир, свободолюбивый Сервантес де Сааведра, дерзновенный Спиноза, пытливый Джон Донн и многие другие мыслители дали человечеству возможность уважать себя, гордиться собой! Узда слепой, нерассуждающей веры нам больше не нужна. Это прежде, в темную и жалкую эпоху, религия была необходима, чтобы посредством страха Божия подавлять в наших диких предках звериные желания и ужас перед загадкой бытия. Ныне же большинство загадок, ранее казавшихся непостижимыми, благополучно разрешены наукой. Ученые добрались бы и до всех прочих природных тайн, если бы их рассудок не был скован суевением. Все, друг мой, христианство исчерпало свою полезность. Его надо сбросить, как подросший ребенок сбрасывает платье, ставшее слишком узким и стесняющее рост. Чтоб двигаться вперед, дальше, выше, человеку отныне понадобится не вера в чудо, а вера в собственные силы, в собственное разумение. Если люди узнают правду о Христе и истоках его учения, произойдет великий разброд в умах — куда более созидательный, чем во времена Реформации. Ведь любая встряска, любое разрушение единомыслия благотворно для работы мысли. Многие, конечно, в страхе отшатнутся, заткнут уши и закроют глаза. Но немало сыщется и таких, кто станет жадно внимать новой истине. И это будут лучшие из людей! Мы с вами стоим на пороге Золотого Века! Как разовьются наука и искусство, как возвысится обра-

зование! А главное — человек перестанет пресмыкаться перед Высшим Существом, которого на самом деле не существует. Если же люди не будут унижаться перед Властителем Небесным, то очень скоро они не захотят простирались ниц и перед властителями земли. Возникнет новое общество, состоящее из гордых и уважающих себя членов. Вот цель, достижению которой не жаль посвятить свою жизнь!

Вальзер не совладал с волнением. Его голос содрогался, по лицу текли восторженные слезы.

— А как же Дева Мария, Пресвятая Заступница? — тихо спросил фон Дорн. — Раз Бога нет, то и Ее тоже? Она не способна ни за кого заступиться, потому что умерла две тысячи лет назад? И вечной жизни тоже нет? После нашей смерти ничего не будет? Совсем ничего? Но зачем тогда жить?

— Чтобы пройти путь от бессмысленного зародыша до мудрого и благородного старца, который знает, что прожил свою жизнь сполна и испил ее до самого доньшка, — сказал Вальзер так, что было видно — он думал про это и нашел решение. — Я искал «Евангелие от Иуды», потому что верил в силу этой книги. Ни один прочитавший ее — нет, даже просто заглянувший в нее — не смог сохранить веру в Бога, даже сам главный инквизитор. У меня есть план, которым я надеюсь вас увлечь — мне ведь и в дальнейшем будет нужен верный и храбрый помощник. Я обоснуюсь в Амстердаме, где мракобесие не в почете. Я куплю типографию и издам Книгу. Я наводню ею всю Европу. Уверяю вас, что через два или три года поднимется волна, по сравнению с которой Лютерова ересь покажется христианству детской забавой. Мы с вами произведем величайший переворот в умах и душах!

— И снова начнется религиозная война, как после Лютера? — спросил Корнелиус. — Одни будут убивать во имя веры, а другие во имя разума? В нашем роду хорошо помнят Реформацию — она рас-

колола фон Дорнов на две половины, одна из которых истребила другую... Нет, герр Вальзер, нельзя подвергать души такому испытанию. — Капитан постепенно говорил все быстрее, все громче. — Мир несовершенен и жесток, но таким он стал естественным образом, никто его не принуждал и не подталкивал. Пусть уж все будет, как будет. Если вы правы, и Бог человеку не нужен, то пусть люди додумаются до этого сами, без вашего Иуды, который все равно был и остается подлым предателем, какими бы помыслами он там ни руководствовался... Только я думаю, что Бог будет нужен всегда. Потому что Бог — это надежда, а надежда сильнее и светлее разума. И Иисус тоже будет нужен! Тут ведь дело не в том, кем он был на самом деле, что делал или чего не делал... Я не умею вам этого объяснить, но я чувствую, знаю: без Иисуса нельзя. Вы добрый и умный человек, как же вы этого не понимаете? — Фон Дорн решительно тряхнул головой. — Простите меня, мой уважаемый друг, но я не допущу, чтобы ваш план осуществился.

— Не допущу? — прищурился Вальзер. — *Не допущу?*

— Отдайте мне Замолея. Я... нет, не уничтожу его, потому что, если уж эта книга просуществовала столько веков, значит, так угодно Господу. Но я спрячу ее в тайник — такой потаенный, что никто ее там не сыщет без явного промысла Божия. И не пытайтесь отговорить меня, это не поможет. — Теперь Корнелиус говорил уже не горячо, а спокойно — откуда-то на капитана снизошла твердая, неколебимая уверенность. — Вы будете взывать к моему рассудку, а я принял решение сердцем.

Аптекарь опустил голову и закрыл глаза. Умолк. Корнелиус терпеливо ждал.

Наконец — через четверть часа, а может быть, молчание продолжалось и дольше — Вальзер с тяжелым вздохом молвил:

— Что ж, мой честный друг. Возможно, в таком деле и вправду следует прислушиваться не к зову ра-

зума, а к голосу чувства. Я сокрушен и раздавлен тем, что не смог убедить в своей правоте даже вас, человека умного и благожелательного. В конце концов, вы лишь повторяете мои собственные сомнения. Я хотел испытать на вас, готово ли человечество воспринять идею мира без Бога. Теперь вижу, что не готово. Что ж, пусть Книга ждет своего часа. А мы... Мы с вами уедем отсюда. Стройте свой чудесный замок и отведите там комнату для меня. Я принимаю ваше щедрое предложение.

* * *

Здесь и у мушкетера на глазах выступили слезы — по правде сказать, он готовился к долгому, мучительному препирательству и уже заранее укреплял сердце, чтобы не поддаться.

— Вы благороднейший из людей, герр Вальзер, — с чувством воскликнул капитан. — Я знаю, сколь многим вы жертвуете — мечтой, жизненной целью, великим замыслом. Но у вас хватило мудрости понять, что, желая облагодетельствовать людей, вы подвергнете их смертельной опасности. Знаете что? — Растроганный Корнелиус кивнул на открытую крышку алтын-толобаса. — В возмещение за вашу книгу забирайте-ка половину моей доли. Это будет только справедливо.

Аптекарь рассеянно улыбнулся, видно, еще не оторвавшись мыслями от своего величественного и безумного проекта.

— Благодарю вас. Мне достанет одного Аристотеля — тем более что вы, кажется, не очень-то дорожите этой бедной рукописью... Что ж, милый Корнелиус, теперь можно и выпить. За крушение великих замыслов и за мудрое бездействие.

Фон Дорн охотно поднял кружку. Вино оказалось густым и терпким, с привкусом смолы, дубовой бочки и каких-то трав.

— А вы что же? — спросил капитан, видя, что

Вальзер еще не выпил. — До дна. Или, как говорят москвиты, *do nogtja* — чтоб потом подставить ноготь, и на него стекла одна-единственная капля. Этот самый ноготь русских и губит, но вы ведь от одной кружки доброго вина не сопьетесь?

Капитан засмеялся собственной шутке и, взяв кружку аптекаря за донышко, проследил, чтобы тот выпил до конца.

— Ну-ка, давайте ноготь.

Задыхаясь, Вальзер опрокинул кружку на подставленный большой палец. Вытекла не капля, а целый ручеек, но для книжного червя и это было неплохо.

— Я... Я не привык... столько... пить. — Аптекарь хватал ртом воздух. Его рука судорожно зашарила в кармане, выудила оттуда стеклянный пузырек с жидкостью лилового цвета. — Это желудочный эликсир...

Он осушил пузырек до половины, спрятал его обратно и вытер рукавом вспотевший лоб.

Корнелиусу тоже стало жарко. Кипрское, как и подобает благородному вину, ударило не в голову, а в ноги. Он покачнулся.

— Вы что-то бледны, — сказал аптекарь. — Еще бы — столько перенесли за последние сутки. Садитесь.

Он пододвинул стул, и фон Дорн, поблагодарив, сел. Локтем оперся об стол. Похоже, усталость и в самом деле брала свое: оловянная тяжесть, накапливаясь, медленно ползла от ступней вверх.

Странно смотрел на капитана Вальзер — не то со страхом, не то с состраданием.

— Попробуйте-ка подняться, — сказал он вдруг.

Корнелиус удивился. Оперся рукой, попытался встать, но ноги были как не свои.

— Что со мной? — пробормотал фон Дорн, остолбенело глядя на вышедшие из повиновения колени.

— Это действие яда, мой бедный друг, — грустно

сказал Вальзер. — К моему глубокому сожалению, вы не оставили мне выбора. Я вновь, как и в начале нашей дружбы, подверг вас испытанию, но на сей раз вы его не прошли. В тот раз я проверял вас на верность, сегодня — на зрелость. Увы, мой добрый капитан, вы — дитя не света, а тьмы. Ваш скованный разум пребывает во мраке. Ничего, Книга поможет рассеять темноту. Я исполню свой план, только без вашей помощи. Пускай я погибну, уничтоженный фанатиками или сожженный на костре, но благодаря мне человечество сделает первый шаг к освобождению от пут.

— Вы меня отравили? — недоверчиво спросил Корнелиус. — Кипрским вином? Но... но ведь вы тоже его пили! Вы, должно быть, шутите. Вам весело, что я так опьянел от одной кружки.

— Нет, я не шучу. Я выпил вместе с вами, но у меня был заготовлен флакон с экстракцией серпентариума. Он устраняет действие яда.

Какое вероломство! Напоить отравой друга!

— Мерзавец! — крикнул фон Дорн.

Выватил кинжал, попытался пронзить отравителя. Не достал — предусмотрительный аптекарь стоял слишком далеко, а капитана по-прежнему не слушались ноги. Хуже того, Корнелиус почувствовал, что и поясница деревенеет — поворачиваться стало трудно. Эх, жаль, оставил шпагу наверху — чтоб не мешала спускаться по лесенке.

— Вы не сможете меня убить, — словно извиняясь, развел руками Вальзер. — Яд будет подниматься по вашим жилам все выше и выше. Это древний рецепт, который знали еще в античной Греции. Именно этим ядом отравился Сократ. Но я усовершенствовал состав, действие снадобья стало более щадящим. Вы не ощутите боли. Тошноты тоже не будет. Когда яд дойдет до мозга, вы сначала лишитесь языка, потом зрения, слуха и прочих органов чувств и в конце концов как бы погрузитесь в сон. Это завидная смерть. Когда наступит мой час, я хотел бы уйти точно так же.

— Умоляю, дайте мне противоядие! — прохрипел Корнелиус. Он уже не мог повернуть туловище к Вальзеру — выворачивал одну шею. — Клянусь, я не стану противодействовать вашему плану! Клянусь честью! Фон Дорны никогда не нарушают данного слова.

Вальзер грустно усмехнулся:

— Простите меня, но это совершенно невозможно. Я верю вам, вы говорите искренне. Но потом, избавившись от страха смерти, вы рассудите иначе. Вы скажете себе: да, я поклялся честью, но что такое честь какого-то капитана мушкетеров по сравнению с благом человечества? Вы благородный человек, бедный господин фон Дорн. Во имя спасения христианского мира вы пожертвуете и своей честью. Беда в том, что мы с вами понимаем благо и спасение человечества противоположным образом. Мой несчастный, одурманенный друг! Ох, как тяжело дается мне этот подвиг во имя разума!

Аптекарь всхлипнул и отвернулся.

— Послушайте, Вальзер! — быстро заговорил капитан, боясь, что лишится языка и тогда уже нельзя будет ничего изменить. — Как вы не понимаете! Если без Бога, то даже такой добрый и мудрый человек, как вы, способен на любое злодеяние. Я хуже вас — корыстнее, глупее, тщеславнее. Я нарушал чуть ли не все Божьи заповеди, я убил на своем веку по меньшей мере семнадцать человек. Но каждый раз, вонзая клинок или спуская курок, я знал, что совершаю смертный грех. А вы убиваете друга и почитаете это за подвиг!

Раздался звон, это из бессильных пальцев правой руки выпал кинжал.

— Яд действует еще быстрее, чем я думал, — сказал как бы про себя Вальзер. — Вторая рука отнимется чуть позднее — из-за того, что слева сердце, качающее кровь... Скоро, уже скоро.

— Я умираю, спасите! — в отчаянии простонал Корнелиус.

— Нет. Оставить вам жизнь было бы непростительной слабостью, худшим из преступлений.

Ни на что больше не надеясь, фон Дорн сжал в кулак пальцы левой, еще не омертвевшей руки.

— Нет! Худшее из преступлений — вероломство. Нет ничего отвратительней, чем *сломать веру* — в Бога ли, в того ли, кого считал другом и любил, кому доверял. Будьте вы прокляты с вашей Книгой!

— Я тоже полюбил вас! Я и сейчас вас люблю! — Вальзер порывисто шагнул к обреченному — было видно, что слова капитана задели его за живое. — Но Человека я люблю больше, чем себя и вас! Жаль, что вы умрете, так и не уразумев...

Левая рука фон Дорна еще не утратила чувствительности. Полуокоченевший мушкетер схватил ею аптекаря за ворот и, вложив в это движение всю свою силу, всю жажду жизни, рывком впечатал голову отравителя в угол стола.

Вальзер обмяк, без звука сполз вниз.

«Скорей, скорей», — шептал Корнелиус, раскачивая стул. Наконец удалось оттолкнуться от стола достаточно сильно, чтобы вместе со стулом опрокинуться на пол. Боли от удара фон Дорн не почувствовал. Холод разливался по руке от плеча к локтю. Только бы дотянуться до кармана, в котором у Вальзера лежит противоядие!

В тот самый миг, когда пальцы коснулись рельефного стекла, вдруг начало неметь запястье.

Корнелиус с трудом согнул локоть, поднося пузырек к губам. Если пальцы разожмутся — все, конец.

Стеклянную пробку выдрал зубами. Влил в рот остаток лилового эликсира, до последней капли, обессиленно откинулся навзничь.

Не слишком ли поздно?

Сначала показалось, что поздно: хотел сглотнуть слюну и почувствовал, что не может. Вот и горло вышло из повиновения.

«Успеть бы произнести молитву, пока не отказали губы и язык», — подумал Корнелиус, и в ту же секунду вдруг ощутил, как саднит правое плечо — то самое, которым он, падая, ударился об пол.

Фон Дорн никогда не предполагал, что боль может вызвать в душе такое ликование. Эликсир действовал!

И действовал быстро: сначала ожили руки, потом получилось сесть, а еще через несколько минут капитан, слегка покачиваясь, уже стоял на ногах.

Возблагодарив Пресвятую Заступницу и Ее Пречистого Сына за чудесное спасение, Корнелиус выволок из-под стола неподвижного Вальзера.

Что делать с этим безумцем? Убить? Он заслужил смерти, но фон Дорн знал, что не сможет хладнокровно лишить предателя жизни. Одно дело — прикончить врага в жаркой схватке, а убивать слабого и беззащитного как-то не по-рыцарски.

Отпустить, предварительно отобрав Замолея? Но этот безобидный на вид старик опасен. Он прочитал достаточно из страшной книги, чтобы разбросать по миру ее ядоносные семена...

От удара об угол на виске лежащего образовалась вмятина, прямо на глазах наливавшаяся синим и багровым. Корнелиус потрогал ямку пальцем и вздрогнул, нащупав под тонкой кожей острый край проломленной кости. Оттянул Вальзеру морщинистое веко, перекрестился. Получалось, что судьбу аптекаря Господь уже решил. Просветитель человечества был мертв.

Сверху, в горнице ударили часы — через открытый люк донесся один удар, второй, третий.

Три часа ночи! Скоро вести роту в Кремль!

Фон Дорн заметался по склепу, то вытаскивая из сундука книги, то пряча их обратно. Перепрятывать сокровище было некогда. Да и зачем? Чем плох этот хитроумный тайник? Еще неизвестно, удастся ли Матфееву осуществить свой замысел. При живом наследнике кричать царем младшего брата — это по-

пахивает государственной изменой. Конечно, Артамон Сергеевич умен и дальновиден, но все же разумнее будет до поры оставить Либерею здесь.

Капитан закрыл крышку алтын-толобаса, сверху немного присыпал землей, утоптал. Забыл про Замолея!

Скверная книга по-прежнему лежала на столе, прельстительно раскрытая. Корнелиус гадливо захопнул ее и прищурился от сверкания огненных лалов. Бесовское сияние!

Он сунул фолиант в рогожный мешок и кинул на пол, поверх алтын-толобаса. Пускай сатанинское писание стережет драгоценные книги.

Выбравшись наверх, тщательно прикрыл плитам тайник. Часы показывали половину четвертого пополудни.

Ах, беда! В четыре у роты подъем — командир должен быть на месте!

Если из-за алчности он, рыцарь фон Дорн, подведет своего благодетеля, от подобного бесчестия и позора останется только одно — наложить на себя руки.

Настает великий день! Черт с ними, с сокровищами! Сначала честь, остальное потом.

Только б успеть, только б не опоздать.

Корнелиус выбежал за ворота, ведя коня в поводу. Кое-как прикрыл створки. Звеня шпорами и придерживая шпагу, сел в седло.

Напоследок капитан оглянулся, и ему показалось, что дом Адама Вальзера смотрит на него тринадцатью недобрыми подслеповатыми глазами.

Глава пятнадцатая

Дураку везде счастье

Теперь доктор и магистр оба стояли на четвереньках, опустив головы книзу и рассматривали залитую белым, неживым светом четырехугольную выемку размером в квадратный фут. От кольца остался только рыжий бублик ржавчины, но грубо высеченная в камне скоба была совершенно целой — да и что с ней могло сделаться за каких-нибудь триста лет?

— Подденем ломом? — выдохнул Фандорин.

— Нет, лучше попробуем руками, — тонким, не похожим на свой голосом ответил Максим Эдуардович. — Господи, неужели нашли?

Взялись за скобу вдвоем, потянули. Сначала плита сделала вид, что приросла насмерть и ни за что не покинет своего ложа, но со второго рывка жалобно скрипнула и пошла, пошла вверх. Она была еще менее тяжелой, чем верхняя.

Когда кладоискатели отложили ее в сторону, в полу открылась черная дыра, и оттуда в лицо Николасу дохнул запах Времени: обычно столь трудно уловимый, он был густым, вязким и дурманил много крепче, чем гашиш, которым будущий магистр баловался в студенческие годы, когда был легкомыслен и подвержен чужим влияниям.

Партнеры замерли над потайным люком, переглянулись. Вид у Болотникова был совершенно безумный — волосы растрепались, лоб в черных поло-

сах, зрочки так и мечутся из стороны в сторону. «Надо полагать, я выгляжу не лучше», — подумал Фандорин. Еще бы, всего шаг остается до всемирной славы, сумасшедшего богатства и, что еще драгоценней, до разгадки тайны, возможно, самой неприступной и интригующей из всех, что известны истории.

— Ну, кто первый? — спросил Николас. — Сейчас принесу лестницу, и решим. Только не светите без меня вниз, ладно?

Ступил на деревянный настил, поднимавшийся над люком фута на два, и зашарил узким, сфокусированным лучом по полу — где тут были остальные инструменты и свернутая веревочная лестница? А, вот. Кружок света выхватил из темноты рукоятку кирки, черную трубку домкрата и чуть в стороне еще что-то странное — белое и полукруглое. Кажется, спортивная туфля. Нет, черный кед с резиновым ободом и белой шнуровкой. Должно быть, из той кучи мусора, которую они с архивистом перекидали лопатами.

Фандорин повернул фокатор, чтобы круг света стал менее интенсивным, но зато более широким.

Из темноты с бесшумной стремительностью ночного кошмара выросла фигура: сначала ноги, потом клетчатая рубашка, белое лицо, забликовавшее стеклами очков, светлая косая челка на лбу.

Увидев перед собой убиенного Шурика, магистр испытал даже не страх, а сокрушительное, горчайшее разочарование. Так он и знал! Все это сон, обыкновенный сон: потайная дверца в полу, аромат застоявшегося Времени. Сейчас зазвенит будильник, надо будет вставать, чистить зубы и делать зарядку.

В руке у приснившегося киллера вспыхнул и тут же погас огненный шарик, и фонарь вдруг дернулся, лопнул, рассыпался мелкими осколками. Сквозь этот тихий звон донеслось знакомое тошнотворное чмокание.

«Есть и другой вариант, еще менее приятный», — подумал Николас, стоя в крошечной тьме. Это не

сон, а сумасшествие. И ничего удивительного — после всего, что произошло за последние дни. Что ж, по крайней мере, в тюрьму за убийство не посадят, будут лечить и, может быть, даже вылечат.

— Что там у вас? — раздался голос Болотникова. — Фонарь грохнули? Какой вы нескладный! Сейчас посвечу.

Что это? Кажется, шорох медленно приближающихся шагов?

Николас попятился назад — туда, где из ямы в полу сочился рассеянный, весь в крупичках танцующей пыли свет.

Вопреки воспитанию и убеждениям, откуда-то из детства или глубин подсознания, пятнистой змеей выполз и третий вариант: привидение.

Фандорин никогда не верил в потусторонние силы, бродячих мертвецов и прочую дребедень, а тут вдруг сделалось невыносимо страшно — до тошноты, до холодной испарины. Что там такое надвигается из темноты?

Николас допятился до пролома и ступил вниз, чтобы дотронуться до живого человека. Схватил Максима Эдуардовича за плечо, потряс.

— Какого черта? Что за... — раздраженно буркнул сидящий на корточках архивист, обернулся и поперхнулся.

Его лица Николас не видел, потому что фонарь светил вниз, в дыру. Выходит, не выполнил Болотников просьбу коллеги, но сейчас это уже не имело значения.

— Кто это? — резко спросил Максим Эдуардович. — Кого вы привели?

Во всяком случае, это не сумасшествие, понял Фандорин, но облегчения не испытал. Медленно повернулся. Призрак был рядом, на самом краю ямы. Теперь он утратил объемность, превратился в черный силуэт, но это, несомненно, был фантом Шурика.

Бедный Болотников еще ничего не понял. Ка-

жется, он вообразил, что в подвал проник какой-то бродяга и засердился:

— Как он сюда попал? Кто это? Хороша у нас охрана, нечего сказать. Эй вы, шварцнегеры! — крикнул он во все горло и подавился, потому что потусторонний Шурик сел на корточки и зажал архивисту рот.

Прямо перед собой Николас видел поблескивающие очки привидения,

— Тише, мыши, кот на крыше, — сказал призрак и зашелся тихим смехом. — Привет, Колян. Классно мы тебя тогда прикололи, да? Ах, прощайте, помираю. — Он захрипел, раздвинул губы, и на подбородок потекла темная струйка. Шурик хмыкнул, выплюнул что-то изо рта, объяснил: — Гранатовый сок в пакетике. Захватил, чтоб тебя повеселить. А ты, дурачок, купился. Умора! — Затем обернулся к Максиму Эдуардовичу, так и застывшему с прикрытым чужой ладонью ртом. — Что, гнида, узнал сердечного друга? Узнал. И навалил в портки. Правильное решение. — Шурик убрал руку, брезгливо вытер о рубашку. — Захотел Седого кинуть? Зря, Макс, зря. Сам навел, сам семафорил, немалые бабульки схавал, а после придумал для себя скрысятничать? Обиделся на тебя Седой, жутко обиделся. Вот, велел передать. — С этими словами Шурик быстро поднял руку — не ту, которой только что зажимал Болотникову рот, а другую, с длинной черной трубкой (знакомой, слишком знакомой Фандорину!) — приставил глушителем прямо ко лбу Максима Эдуардовича, и в следующий миг голова архивного Моцарта дернулась, будто задумала сорваться с шеи, а сам доктор исторических наук завалился назад и, ударившись о края люка, исчез в зияющей дыре. Черная трубка, пахнувшая горячим металлом и порохом, повернулась к Николасу. Он зажмурился. И услышал: — Не трусь, Колян. Седой тебя с заказа снял. Дыши кислородом — можно.

— Снял? Почему снял? — деревянным голосом спросил Фандорин.

— Понравился ты ему. Говорит, отвязный мужик, пускай живет.

Глаза Николаса уже привыкли к слабому освещению, и теперь он видел лицо убийцы вполне отчетливо: и растянутые в улыбке тонкие губы, и гладкий мальчишеский лоб, и щеки с ямочками.

— Я? Понравился Седому? Но разве мы с ним...

Фандорин не договорил — застонал, кляня собственную тупость. Ну конечно, конечно! Все же так просто!

Он не столько спросил, сколько констатировал:

— Болотников с самого начала работал на вас? Наткнулся на мою статью и сразу побежал к Седому, да?

— Не знаю, на что он там наткнулся, но с Седым они по корешам давно, еще когда Владик на эту самую комиссию бабки отстегивал.

Итак, Седой был спонсором комиссии по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот почему, прочтя статью в британском журнале и поняв, что появился шанс найти Либерею, Болотников обратился за помощью именно к нему. Выманил лопуха-англичанина в Москву, передал его в опытные руки Шурика, а сам занялся изучением письма. Не было у Максима Эдуардовича никакой фотографической памяти — просто грамотка находилась в его руках так долго, что первые ее строки он запомнил наизусть.

А что было потом?

Тоже ясно. Почти сразу же Болотников понял, что в левой половине документа содержатся некие зашифрованные сведения, понятные только знатоку истории рода фон Дорнов. Вот почему Шурик получил от своего шефа приказ прекратить охоту на англичанина, а наоборот, подбросить ему кейс обратно. Более того, Седой решил взять магистра под собственную опеку, для чего и устроил инсцениров-

ку с дракой и пальбой — надо сказать, весьма убедительную. План был, что называется, fool-proof¹: запугать Николаса и поставить его в положение, когда ему не к кому будет обратиться за помощью. А тут верное убежище — отсиживайся, сколько хочешь. Полный комфорт, да и полное содействие, если от скуки надумаешь заняться решением некоей головоломки. Если бы подвыпивший Николас не поддался приступу альтруизма, все именно так бы и вышло...

— Значит, Влад и есть тот самый Седой, — горько усмехнулся Фандорин, вспомнив душевную широту чудесного флибустьера. — Почему «Седой»? Он же молод.

— Потому что Соловьев, — непонятно ответил Шурик.

Ладно, это было неважно. У Николаса имелся вопрос посущественней.

— В чем перед вами провинился Болотников? Или просто стал не нужен?

— Шибко умный стал. Захотел втихаря, без Седого, банк сорвать. «До развязки еще далеко, и исход проблематичен», — передразнил киллер высокий баритон архивиста. — За лохаря Седого держал. У нас, Коляныч, за это мочат... Чего глядишь? Полежай в очко.

Веселый убийца кивнул на отверстие в полу.

— Давай, давай. Я тебе сверху посвечу. Ну чего встал? По ушам нашлепать?

Фандорин вспомнил небрежную грацию, с которой Шурик некогда ударил его ногой в пах, и стал быстро разматывать лестницу. Утверждение о том, что Седой якобы велел оставить «отвязного мужика» в живых, стопроцентного доверия не вызывало. Но разве был выбор?

Зацепил крюки верхней части за доски. Поддерживал — вроде крепко. Стал спускать конец с грузилом

¹ Стопроцентно верный (англ.).

в темноту. Довольно скоро снизу донесся глухой звук, грузило достигло дна. Неглубоко, меньше десяти футов.

Усилием воли Фандорин заставил себя забыть о том, что, вполне возможно, живым из этого подземелья ему уже не выбраться. Тайна все равно оставалась тайной и сейчас, перед лицом смертельной опасности, манила ничуть не меньше, чем прежде.

Что там, во тьме? Неужели кованые сундуки с древними манускриптами?

Ноги коснулись чего-то мягкого, упругого.

Николас посмотрел вниз — благо Шурик подсвечивал сверху фонарем — и вскрикнул. Кроссовка упиралась в грудь мертвого Максима Эдуардовича.

Магистр поспешно шагнул в сторону. Под ногами был не камень, земля. На ней толстый серый слой пыли, почерневшие деревяшки — вероятно, когда-то они были приставной лестницей.

Круг света стал расти — Шурик отвернул фокал. Да, пол земляной, глинистый. Глина — естественная защита от подземных вод. Устраивать книгохранилище в каком-нибудь ином грунте было бы безумием.

У левой стены лежало что-то широкое, деревянное. Судя по прямоугольной форме и полуутонувшей в пыли бронзовой чернильнице — столешница. Фандорин тронул край доски ногой, и целый кусок рассыпался в труху. А вот и столь же ветхие обломки деревянного кресла. Кусочки стекла, осколки глиняной посуды, несколько пустых пузырьков причудливой формы. Что здесь было — лаборатория? Аптечный склад?

Помещение оказалось не таким уж большим, гораздо меньше верхнего подвала. Никаких сундуков. Вообще ничего, что бросалось бы в глаза. Царство пыли. Даже с потолка свисали серые лохмотья.

Николас захлюпал носом, чихнул — раз, еще раз.

— Доброго здорovia! — гаркнул сверху Шурик.

Эхо было таким гулким, что Фандорин вздрогнул.

— Есть хабар? — нетерпеливо спросил весельчак, поворачивая фонарь то так, то этак.

Какая-то продолговатая куча на полу.

Присев, Николас смахнул рукой пыль. Скелет! Разинутый зубастый рот. Одежда истлела, лишь в чаше таза блестит медная пряжка, да меж позвонков посверкивают пуговицы. Вот они — «мертвые кости», которых Корнелиус бояться не велел. А все равно жутко.

Чуть в стороне еще какая-то куча, поменьше.

Фандорин осторожно разгреб пыль (теперь уже не рукой, крессовкой).

Волокна грубой сгнившей материи. Рогожа? Пожалуй. Как там было, в письме: «А Замолея под рогожею не имай души спасения ради»?

Что это блеснуло из прорехи нестерпимо ярким сиянием?

— Есть... — зачарованно выдохнул магистр. — Есть!

— Есть! — с удовлетворением повторил Шурик куда-то в сторону, непонятно к кому обращаясь.

Не прошло и секунды, как сверху донесся сочный звук неясного происхождения, нечто среднее между «шмяк!» и «хрусть!».

Николас обернулся и увидел, как на пол падают очки, а следом за ними свалился и сам Шурик. Он рухнул прямо на неподвижное тело архивиста, перекатился на пол и остался лежать ничком. На макушке из-под соломенных волос обильно сочилась черная кровь — прямо на глазах Шурик превращался из блондина в брюнета.

* * *

Фонарь, однако, не упал, остался, где был, — на краю люка. Свет вдруг закачался, стал сжиматься и усиливаться, а потом превратился в узкий и яркий

луч, светивший прямо в глаза ничего не понимающему Фандорину.

— Кто это? — крикнул Николас, закрываясь ладонью. — Игорь, Саша, это вы?

Но ответил не один из охранников, а лично начальник департамента безопасности «Евродебета» Владимир Иванович Сергеев:

— Это я, мистер Фандорин. Ваш ангел-хранитель.

Николасу послышалась в голосе полковника насмешка. С чего бы?

— По-моему, он убит, — сообщил Сергееву магистр. — Вы не рассчитали удар. Чем это вы его?

— Да вот этим, — ответил невидимый Владимир Иванович, и рядом с Фандориным брякнулось об пол что-то металлическое. Обломок трубы с мокрым пятном на зазубренном конце.

Во всем этом было что-то странное.

— А где ваши сотрудники? — спросил Николас. — Я не понимаю, как он мог пройти мимо них незамеченным.

— Ребят я отпустил, пускай поспят, — добродушно откликнулся Сергеев. — Решил, подменю их сам. Ну, что вы там такое нашли, мистер-магистер? Показывайте.

Луч сполз с лица Фандорина, порыскал туда-сюда и остановился на истлевшей рогоже, из-под которой снова замерцали веселые искорки.

— Вот она, голубушка, — пробормотал полковник. — Невелика, да знать ценна, если Седой из-за нее на уши встал.

— Так вы все знали? — тупо спросил Николас. — И Иосиф Гурамович, выходит, тоже?

Сергеев свесился в дыру пониже, и теперь его лицо подсвечивалось сбоку — черно-белое и жуткое, как маска злодея из театра Но.

Беззвучно, с придыханием рассмеявшись, Владимир Иванович сказал:

— Сосо ничего не знает, он — козел, а в этом

мире, дорогой сэр, козлам не светит. Вот Седой, тот орел. Профессионал всегда знает, на чьей стороне ему быть, особенно если нужно выбирать между орлом и козлом.

— Так вы работаете на Седого?! Но... но зачем же вы тогда убили Шурика?

— Полковник Сергеев будет на стреме стоять, а весь навар достанется Шурику? — хмыкнул глава безопасного департамента. — Нашли шестерку. Да если б не я, хрен бы Седой узнал, что за банкет назначен на эту дивную ночь.

Откуда, откуда такая осведомленность? — мысленно содрогнулся Фандорин. Ответ был на поверхности, постыдно элементарный: жучки. Квартира на Киевской наверняка прослушивалась, коварный полковник был в курсе всех совещаний и обсуждений, только докладывал о ходе поисков не своему шефу, а его противнику.

«Я пешка, — подумал магистр. — Меня использовали, мной вертели, как хотели. Алтын была права: я ежик в тумане».

И все же не все здесь было ясно.

— Неужто вы думаете, Сергеев, что Владик, то есть Седой, простит вам убийство своего верного помощника?

Владимир Иванович снова тихонько засмеялся — так, словно только что вспомнил и собрался рассказать остроумный анекдот.

— А Шурика укокал не я, а вы. Вы-с, вы и убили-с, прекрасный сэр. Тюкнули душегуба железякой по кумполу. Седой знает, какой вы шустрый, он поверит. А железяка вон она — между вами и Шуриком валяется. Но тут вовремя подоспел молодчага Сергеев и прострелил мистеру Фандорину его глупую английскую башку. Вы в какой глаз оливку предпочитаете — в правый или в левый?

— Влад не поверит! — закрылся ладонью от луча Николас. — Он знает, что я не способен убить человека ударом сзади! У вас ничего не выйдет! Соловьев

не идиот, он в людях разбирается, и вы за все ответите!

Сергеев задумался.

— Хм, а ведь верно. Владик — парень дотошный. Пожалуй, и пальчики с железки снимет, и экспертизу, чего доброго, закажет. Спасибо за толковый совет, мистер Фандорин. Сосо говорил мне, что вы — просто кладезь мудрости.

Внезапно голос полковника изменился — стал жестким, властным:

— А ну, живо взял трубу, биг бен долбаный! Вмажь ему по затылку — да со всей силы, чтоб тебе на рукав ошметки полетели!

Николас ответил короткой идиомой из фольклорного блокнота, означавшей отказ в самой грубой и категоричной форме.

Из черного квадрата метнулась молния, а грохот от выстрела в замкнутом помещении был таким, что магистр зажал уши руками и согнулся пополам. В первый миг ему показалось, что это барабанные перепонки, в полном соответствии со своим названием, вдарили чересчур разухабистую дробь и, не выдержав нагрузок, немедленно лопнули.

Когда к Николасу вернулся слух (а произошло это через полминуты, не раньше), оказалось, что Владимир Иванович не молчит — излагает аргументы в пользу своего предложения:

— ...мастер спорта по стрельбе, — говорил отставной полковник. — Четыре раза призы по управлению брал. С пятидесяти метров пулю в обручальное кольцо кладу. Следующую пулю, падаль ушастая, ты получишь в локоть левой руки, в лучевой нерв. Ты не представляешь, какая это боль. Выть будешь, по полу кататься. А, спрашивается, зачем? Я ж тебя все равно живым отсюда не выпущу. Давай, бери железяку. Скорей отмучаешься.

Фандорин инстинктивно обхватил локти ладонями и метнулся в сторону из освещенного пятна, но луч в два счета нашел его.

— А особенно я люблю сажать по движущейся мише...

Сергеев так зашелся в смехе, что аж захрипел. Фонарь качнулся, вывернувшись вбок, осветил лицо полковника, и стало видно, что глаза у Владимира Ивановича удивленно выпучены, а сам он свешивается из дыры как-то слишком уж отчаянно, будто кто-то придавил его сверху ногой.

Зычный, уже однажды слышанный Николасом голос с сильным грузинским акцентом проревел:

— Сосо — козел? Это ты козел, оперюга поганый!

— Зачем грубо говоришь, Гиви? — слышался другой голос, тоже с акцентом, но только совсем легким. — Ты теперь банковский работник, будешь начальником департамента. Нехорошо, дорогой, отвыкай.

Иосиф Гурамович Габуния, Большой Сосо — собственной персоной, а с ним, надо полагать, бойцы его тайного «Эскадрона». Господи, каких еще сюрпризов следует ждать этой нескончаемой ночью?

— Иосиф Гурамович! — заизвивался Сергеев, тщетно пытаясь вывернуться. — Скажите ему, чтобы убрал ногу с моей спины. Я все объясню! Тут сложная двойная игра с подставкой по резидентуре. Я провел многоходовую комбинацию, вышел на Седого, и теперь он у нас в кармане. Как раз сегодня собирался завершить операцию и обо всем вам доложить. Результат блестящий. Теперь я знаю, в чем состоял...

Не умолкая ни на секунду, предприимчивый полковник, рукой с фонарем упиравшийся в край дыры, умудрился другую руку — с пистолетом — незаметно просунуть себе под мышку. Фандорин, наблюдавший за этим маневром снизу, хотел было крикнуть кавказцам, чтобы остереглись, но передумал. Пусть эти пауки сами разбираются, кто у них в банке под названием «Евродебет» сильнее. Личные перспективы некоего магистра при любом исходе выглядели незавидными.

Владимир Иванович резко повернулся, просунув руку как можно дальше, — вероятно, хотел проделать в свирепом Гиви вертикальное отверстие, но «эскадронец» и сам был не дурак. Сверху донесся громкий хлопок, и полковник, так и не успев нажать на спусковой крючок, полетел головой вниз. Труп сделал свечку, ударился о землю и, совершив нелепый кувырок, растянулся во весь рост.

Упал и фонарь, но не разбился и не погас. Однако магистра сейчас интересовал не столько источник света, сколько средство самообороны — в руке мертвого Владимира Ивановича чернел компактный, короткоствольный пистолет.

Фандорин сделал быстрое движение и тут же услышал сверху выразительное цоканье:

— Це-це-це. Нэ надо, да?

Получалось, что с самообороной ничего не выйдет — треклятый Гиви слишком хорошо знал свое ремесло. Делать было нечего и деваться некуда, Николас был заперт в пыльном склепе, где компанию ему составляли один древний скелет и три свежих покойника.

— Здравствуйте, Николай Александрович, — поздоровался с затравленным магистром невидимый Габуня. — Сколько у вас сегодня приключений! Раз уж вы там, внизу, давайте поглядим, из-за чего столько народу положили. Ужас какой — просто половицкое побоище! Ну, что там у вас за клад такой?

«Что ж, — подумал Николас, — в конце концов, не самый ужасный финал. Рановато, конечно, но это уж как на роду написано. Со стороны Большого Сосо даже гуманно, что он дает приговоренному возможность удовлетворить перед смертью любопытство. Разве не для того рождается человек — удовлетворить любопытство, узнать некую тайну и потом умереть?»

Экклезиастическое философствование бедного

магистра объяснялось тем, что он вдруг почувствовал себя смертельно усталым. В самом деле, сколько можно подвергать психику и нервную систему перепадам между обреченностью и надеждой? Готовился умереть от руки балагура Шурика — спасся. Думал, что примет смерть от вероломного полковника — опять пронесло. Пронесло, да не вынесло. Теперь уж надеяться больше не на что.

Молча, не снисходя до каких-либо объяснений и тем более молений о пощаде, Фандорин поднял фонарь и приблизился к прогнившей рогоже. Стянул ее в сторону и ахнул.

На земляном полу лежала большая книга в редкостной красоты серебряном окладе, сплошь выложенном желто-красно-бурыми камнями. Серебро от времени почернело, но шлифованные самоцветы — а их тут были сотни — заиграли, засверкали отраженным светом.

— Ай, фотоаппарата нет! — раздался с потолка восхищенный голос Большого Сосо. — Какая картинка!

Николас осторожно раскрыл тяжелую обложку, увидел пергаментный титульный лист с выцветшими (а некогда, вне всякого сомнения, золотыми) греческими буквами ручного тиснения:

ΖΑΜΟΛΕΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

Трепет и восторг переполнили душу магистра, забывшего в этот волшебный миг и о направленном ему в спину дуле, и о страшных событиях последнего часа, и о скорой неминуемой смерти.

Этой книги касалась рука Корнелиуса фон Дорна! Что может быть такого уж страшного в древнем математическом трактате? Почему Корнелиус в своем письме дважды закликает сына не трогать фолиант? Сейчас тайна будет раскрыта. Какое счастье, что

манускрипт написан именно на долговечном пергаменте, а не на бумаге!

Он перевернул лист и вскрикнул. Увы, все остальные страницы были не пергаментные и даже не бумажные, а папирусные, и от неправильного хранения совершенно истлели, превратились в труху! Текст погиб безвозвратно!

Николас склонился низко-низко. Сквозь дыру, проеденную временем, проглядывало несколько уцелевших строчек. Кажется, древнееврейские письма?

Забывшись, магистр придвинул книгу поближе к стоявшему на полу фонарю, и прямоугольник иссохшего папируса, очевидно, сохранявший форму лишь из-за неподвижности, рассыпался кучкой праха. Остался только оклад да пергаментный титул, очевидно, присоединенный к книге в более позднее время.

Всего одна книга? Николас разочарованно огляделся по сторонам. А где же вся Либерея?

Из земли, где только что лежала передвинутая книга, торчал какой-то кусок дерева или, скорее, корня. А более ничего. Совсем ничего.

Все понятно, уныло подумал Фандорин. Корнелиус, разумеется, был небольшим грамотеем — да и с чего бы мушкетерскому капитану разбираться в книгах и мудреных словах? Он плохо себе представлял смысл термина «либерей» — полагал, что это означает просто «книга», а не «собрание книг». Добыл где-то (вероятнее всего, у того же Артамона Матфеева) том из коллекции Иоанна Грозного, древний и в драгоценном окладе. Этаким фолиант и в семнадцатом веке стоил баснословных денег. Перед тем как отправиться в ссылку вслед за своим начальником, фон Дорн припрятал добычу, надеясь, что опала продлится не вечно, а если даже помилования и не будет, то «Иванова Либерея» (в смысле — «книга из библиотеки царя Ивана») достанется хотя бы его потомку. Далекий от книжности капитан не знал, что

без герметизации папирус долго в подземелье не продержится. Да и, скорее всего, его вообще интересовал не текст, а великолепный оклад.

Что означают слова «не имай души спасения ради» и еще потом, ближе к концу, «да любопытства своего не пытай Христа Господи ради и нипочему Замолея того не имай»? Быть может, книга была краденая и Корнелиус предостерегал сына от попытки выставить фолиант на продажу? Это, увы, не исключено. Капитан был обычным искателем приключений, прибывшим в Россию на поиски богатства. Вряд ли он побрезговал бы взять то, что плохо лежит — например, дорогую книгу из собрания своего покровителя...

— Что это такое? — вывел Фандорина из задумчивости голос банкира. — Что это блесит? Драгоценные камни? Это шкатулка, да?

— Нет, — ответил Николас, не оборачиваясь, и усмехнулся. — Это и есть та самая «Иванова Либерея». Радуйтесь.

— Что-что? — удивился Иосиф Гурамович. — Либерея? Это еще что такое? Книга, что ли? Это вы ее столько времени искали? По улицам ходили, шаги считали, в развалинах рылись. Мне Гиви каждый день докладывал. «Ничего не понимаю, чем люди занимаются», говорил. Что тут у вас, а? Из-за чего Седой такие огороды нагородил?

Непохоже было, что Габуния притворяется. Зачем? И перед кем — перед без пяти минут покойником?

«Оставить, что ли, его, гада, в неведении? — подумал Фандорин. — Пусть лопнет от любопытства, жирный пузырь». Но мелочиться в эти последние минуты не хотелось, после испытанного разочарования настроение Николаса изменилось — стало строгим и торжественным. Не суетиться, держаться с достоинством. Это единственное, что остается человеку на исходе нескладной, глупо прожитой жизни.

В нескольких скупых предложениях магистр объяснил банкиру, в чем состоял смысл поисков. Смотрел Николас при этом не на черный квадрат, откуда скоро грянет гром смерти, а на радужно искрящийся оклад книги, да на переливчатые отсветы, что придавали мрачному склепу вид сказочной пещеры.

— Тот самый Иван Грозный? — ахнул Сосо. — Скажи, а? Теперь ясно, с чего Седой так завелся. Молодой он еще, на романтику падкий.

Потом Иосиф Гурамович вдруг понизил голос и вкрадчиво сказал:

— Николай Александрович, вы что думаете с обложкой этой делать? Неужели государству будете сдавать за награду в четверть стоимости? Скажу как финансист: не советую. Я отсюда плохо вижу, но если это у вас там желтые сапфиры, то у нашего государства на 25 процентов стоимости такого клада всей казны не хватит. Даже если это опалы, все равно не дадут. Придерутся к чему-нибудь и надуют, я их знаю. Продайте лучше мне, а? Я вам честную цену дам — треть рыночной. Пускай Седой от зависти лопнет. Соглашайтесь, Николай Александрович. Все равно за границу вам такую штуковину не вывезти.

Тут уж Николас обернулся. Что это — издевательство? Что-то больно изощренное.

— Берите свою Либерею и поднимайтесь сюда, — сказал Сосо. — Светает уже. Гиви сейчас милицию вызовет, нам с вами лучше уехать.

* * *

— Я должен вам кое-что объяснить и принести свои извинения, — сказал Габуня, поднимаясь из-за огромного эбенового стола навстречу Фандорину.

Ночью (а всрнее, уже на рассвете) разговора не получилось — после перенесенных потрясений магистр был в состоянии, близком к шоку. Выбрав-

шись из склепа в подвал, оттуда во двор, а из двора на улицу, где ждала целая вереница бегемотообразных джипов, Николас почувствовал, что у него кружится голова. Сев на скрипучее кожаное сиденье, Фандорин прислонился виском к мягкому плечу банкира и провалился в глубокий, обморочный сон, от которого очнулся лишь девять часов спустя в квартире на Киевской. Открыл глаза, увидел на стуле перед диваном неподвижного брюнета с лихо подкрученными усами. Это и был Гиви, уже дважды спасший магистру жизнь.

— Сэйчас чашку кофэ по-тбилиски, и поедэм к шефу, — строго сказал командир габуниевского «Эскадрона».

Николас приподнялся на локте, заозирался вокруг.

— Обложку на экспертизу отдали, — объяснил Гиви, не дожидаясь вопроса.

Дальше было все, как он сказал: чашка густого, крепчайшего кофе, холодный душ, гонка на бешеной скорости с мигалкой прямо по разделительной полосе в сторону центра, тихий Гнездниковский переулок, офис «Евродебета». Странно было только одно — в председательский кабинет Фандорина почему-то провели не через секретарский предбанник, как в прошлый раз, а по черной лестнице, через боковую дверку. Николас так и не понял, к чему теперь эта конспирация.

Беседа, стало быть, началась с извинений.

— Я нехорошо с вами поступил, Николай Александрович, — сказал банкир, сокрушенно опустив голову, отчего двойной подбородок сделался тройным. — Я вас использовал. Это могло стоить вам жизни, хотя Гиви и его ребята за вами приглядывали.

— Ребята из «Эскадрона»? — блеснул осведомленностью Фандорин.

Иосиф Гурамович восхищенно закатил глаза, как бы отдавая дань проницательности собеседника.

— Да. Это специальное подразделение, которое я создал, когда узнал, что начальник департамента безопасности завербован моим конкурентом. Получилось очень удобно: Седой думал, что все про меня знает, а сам знал только то, что я подсовывал Сергееву. Ох уж эти кагэбэшники! Им всегда мало быть исполнителями, обязательно рвутся в кукловоды.

Магистр насупился:

— Вы поручили меня попечению Сергеева нарочно, чтобы посадить на крючок Седого? А ваши люди тем временем следили и за мной, и за Сергеевым.

— И за самим Седым, конечно, — подхватил Габуня. — И видите, как удачно все получилось. Седой остался с носом и при этом без рук: его левая рука, Владимир Иванович Сергеев (большой был грешник, да простит его Господь) отсекла правую руку, нехорошего человека Шурика (этого Господь все равно не простит, так что и просить не буду). Отсекла — и сама отсохла, потому что Гиви нашего полковника застрелил. Жалко, конечно, а как было не застрелить? Ну да ничего, адвокаты у меня первоклассные, они докажут, что это была адекватная самооборона. Разрешение на оружие у Гиви имеется, все честь по чести. Его ребята — вот молодцы — сняли скрытой камерой, как Седой с Сергеевым встречался, и с Шуриком тоже. Пленочка уже в ГУБОПе. Пусть покрутится Седой, пусть пообъясняет, что за дела у него были с этим отморозком. Не до «Вестсибойла» теперь будет Владиду. Шиш ему с ткемали, а не тендер.

Иосиф Гурамович сладостнейшим образом улыбнулся, а Николас, глядя на приятно округлое, в бульдожью складочку, лицо банкира, испытал чувство, близкое к умилению. Прав мудрый шеф-редактор журнала «Телескоп», задумавший сделать спецномер о цивилизационных процессах в российском бизнесе. Какие ласкающие слух западного человека слова: адвокаты, адекватная самооборона, разрешение на оружие! Никаких «замочить», «зака-

тать в асфальт», «размазать по бамперу». Алтын могла гордиться своим «таргетом».

— Вот как у нас нынче, Николай Александрович, — скромно сказал Большой Сосо, будто подслушав мысли Фандорина. — Все проблемы решаем культурно, по закону. Время пиратов вроде Седого уходит в прошлое. Через три-четыре года их вообще не останется.

— А утаивать клад, принадлежащий государству, это тоже по закону? — не удержался от выпада Николас.

Иосиф Гурамович обиженно надул губы.

— Слушайте, нельзя же все сразу. Вчера еще по деревьям лазили и друг друга кушали, а сегодня уже улицу на красный свет не перейди. Постепенно надо, потихоньку. Эволюционным путем. Немножко помухлевать — это можно, это по-людски. А друг друга мочить почем зря — это, извините, уже анахронизм. Я мочить буду, потом меня или моего ребенка замочат? Да! — оживился Габуня и зачем-то кинулся к стенному шкафчику. — У меня великая новость! Сабрина моя ребенка ждет, сама сказала. Мне пятьдесят два года, я думал, никогда уже детей не будет! Представляете — стою перед ней и бормочу, как дурак: «Мой, мой ребенок!» А она, стерва, смеется. «Помучайся, может, и не твой». Я помучился, Николай Александрович, ой как помучился. Полночи не спал, все терзался, чей ребенок. Раньше, конечно, я бы еще больше мучился, а теперь немножко попереживал, потом скушал два пирожных и уснул. Это из-за того, что вы мне все про меня объяснили. Мы с Сабриночкой — идеальная пара. Теперь ревную, страдаю, а на душе тепло, хорошо. Спасибо вам. Выпьем за любовь и за маленького Габуню!

И из шкафчика, как по волшебству, явились пузатая бутылка, две рюмки и ваза с шоколадом.

— Я теперь совсем не пью, — сухо произнес Фандорин, не желая показывать, что слова благодарности ему приятны. — И, кстати говоря, хочу со-

общить вам, что не могу принять предложение относительно продажи вам книжного оклада. Нужно уважать законы страны, в которой находишься. Так что верните мне обложку, я передам ее представителям городских властей. Я не буду настаивать на том, чтобы вознаграждение мне выплатили немедленно. Можно по частям или потом, через несколько лет, когда российская экономика окрепнет.

Иосиф Гурамович грустно сжевал конфету, несколько раз тяжело вздохнул.

— Ах, Николай Александрович, дорогой, не хотел вас расстраивать, да все равно придется. Возьмите свой оклад, вон он лежит, в коробке из-под сканера. Эксперты говорят, что обложка представляет историческую ценность — это работа русских мастеров середины шестнадцатого века. А вот материальная цена невелика. Серебро невысокой пробы да несколько сотен камешков. Если быть точным, шестьсот шестьдесят. Было на шесть больше, но они куда-то подевались — вместо них пустые гнезда. Это не желтые сапфиры и не опалы. Строго говоря, это вообще не камни, а шлифованные кусочки вулканического стекла. Наверно, в средневековой Руси оно считалось большой редкостью. А сейчас такого добра у нас полКамчатки. Зря, выходит, Седой всю эту кашу заварил.

— Ну и ладно, — не слишком расстроился Фандорин. — Сдам в музей, пусть будет память о Корнелиусе фон Дорне. И статью напишу. Ведь моя находка косвенно подтверждает версию о том, что библиотека Ивана Грозного — не выдумка. Раз книга Замолея существовала в действительности, значит, дабеловский список — не фикция, а документ, заслуживающий доверия. Хоть и не очень большое, а все-таки открытие. Прощайте, господин Габуня. Засиделся я у вас в Москве. Пора домой, в Англию.

Он протянул банкиру руку, но Иосиф Гурамович прощаться не стал, а вместо этого взял магистра за локоть:

— Послушайте, Николай Александрович, зачем вам в Англию? И что за интерес для мужчины делать «не очень большие открытия»? Не ваша это стезя — пыль в архивах глотать и научные книжки писать, сй-богу. Мне Гиви каждый вечер кассеты давал, съемки скрытой камерой. Как вы по улицам ходили, дома рассматривали, в блокнотик писали. Смотрел я на вас — удивлялся. Как подменили англичанина! Такой стал энергичный, увлеченный, счастливый! Про Сулико пост! Сразу видно — человек своим делом занимается. Вы знаете, в чем ваше дело, в чем ваш настоящий талант?

— Нет, — ответил внимательно слушавший Фандорин. — Не знаю. Точнее, знаю, что никакого таланта у меня нет. Как, впрочем, у большинства людей.

— Про большинство людей не скажу — не знаком, а про вас, дорогой Николай Александрович, знаю твердо. Вы мне три таких совета дали, что за них миллиона не жалко. Долларов. Я вам век благодарен буду, клянусь! Кушаю в свое удовольствие и не переживаю, так? — Сосо выставил толстый мизинец и в подтверждение своей искренности немедленно скушал еще одну конфету. — Жена мне козью морду делает, а я только жмущусь от счастья, так? Впервые в жизни! — Тут был поднят второй палец, безымянный, украшенный массивным золотым кольцом, а там не заставил себя ждать и средний палец, с бриллиантовой печаткой. — И с Богом на лад пошло, честное слово. Я после того разговора с вами молиться — перестал. Чего, думаю, лицемерить, если не верю. А сегодня утром, как с Таганской вернулись, вдруг захотелось перед иконой встать и помолиться. Ни о чем — просто так! Ни о чем не просить — ни о тендере, ни о шмендере, ни о возвращении двух миллионов, которые у меня вчера налоговая полиция счерномырдила. Просто помолиться — и все. Помолился — и хорошо стало. Вы понимаете, что это значит?

Габуня три растопыренных пальца убрал, а вместо них поднял один, но зато указательный, и многозначительно воздел его к потолку.

— Понимаю, — кивнул Фандорин, вспоминая, чем там заканчивается песня про Кудеяра и двенадцать разбойников. Кажется: «Господу Богу помолимся»?

— Ай, ничего вы не понимаете. Вы талант свой не понимаете! У вас, Николай Александрович призвание — людям советы давать. Это самый редкий, самый драгоценный дар! Вы на людей любопытный, вы умеете вмиг себя на место другого поставить, а чутье у вас лучше, чем у моей Жужи. Нет ничего ценней, чем вовремя данный хороший совет. Не нужно вам в Англию! Это дураку везде счастье, а умный человек должен понимать, где ему на свете место. Умный человек должен понимать, что есть понятия «объективно лучше» и «субъективно лучше». Объективно в Англии жить лучше, чем в России, кто спорит. Но именно вам, Николаю Александровичу Фандорину, субъективно лучше здесь. А я вам в этой связи еще одну важную вещь скажу. — Сосо опять поднял палец. — Всему объективному грош цена, значение имеет только то, что субъективно. В Англии вы, дорогой Николай Александрович, закиснете, да и не нужны вы там с вашим даром. Где и давать советы людям, если не у нас, в России. Она и называется так — Страна Советов. И тут я от лирики перехожу к деловому предложению. — Иосиф Гурамович отодвинул вазу с конфетами, как бы давая понять, что разговор вступает в официальную фазу. — Давайте создадим консультационную фирму нового типа, куда всякий человек, попавший в трудное положение, может обратиться за советом, и ему помогут. Я уже и название придумал: «Палочка-выручалочка». Можно по-английски: «Мейджик уонд». Я вам офис сниму, оборудование закуплю — компьютеры там, факсы-шмаксы. Рекламу обеспечу. А главное — клиентов буду поставлять, солидных людей. Доходы — пополам, идет?

— Вы с ума сошли! — воскликнул Николас,

только теперь поняв, что банкир говорит всерьез. — Что за бред?

— Хорошо. — Габуния успокаивающе поднял ладони. — Вам — 65 процентов, мне — 35 процентов, но тогда так: когда совет понадобится мне самому, будете давать пятидесятипроцентную скидку. По рукам?

— Да не хочу я жить в вашей России! — задохнулся магистр. — Это опасно для здоровья и психики!

— Ах да, хорошо, что напомнили. — Иосиф Гурамович опасливо покосился на дверь предбанника. — Вас тут одна психованная девица разыскивает, маленькая такая, но жутко злая. Журналистка. Сначала звонила, угрожала. Говорила: «Я знаю, это вы Нику похитили, больше некому. Если с его головы упадет хоть волос, я вас уничтожу». А теперь в офис повадилась ходить. Запретил было в банк ее пускать, — так она к входной двери наручниками приковалась, пришлось выдать пропуск, а то клиентов распугивает. Милицию я вызывать не велел — все-таки ваша знакомая, неудобно. Садится в приемной и сидит с утра до вечера, в обед бутерброд ест. Секретарши ее боятся. Неделю уже через черный ход к себе хожу. Вышли бы вы к ней, успокоили. Или вы тоже ее боитесь?

Николас молча развернулся и хотел сразу убежать в приемную, но сначала все же выглянул наружу через щелку.

* * *

Алтын сидела в кожаном кресле, где свободно могли бы разместиться, по меньшей мере, еще две такие же пигалицы. Брови журналистки были сурово сдвинуты, колени непреклонно сомкнуты. На полу стоял черный рюкзачок.

За двумя столами, сплошь уставленными всевозможной офисной аппаратурой и похожими на неприступные блокпосты, окопались две секретарши, одна постарше, другая молоденькая, но обе чопорные и несказанно элегантные.

— Я вам в сто пятидесятый раз объясняю, — унылым голосом говорила та, что постарше, с прической в виде платинового шлема. — Иосиф Гурамович в командировке, сегодня его тоже не будет.

— Если б он был в командировке, я бы знала, — отрезала Алтын и вдруг впиалась глазами в дверь начальственного кабинета — должно быть, заметила щель.

Прятаться дальше не имело смысла.

Николас распахнул дверь и, широко улыбаясь, протянул руку:

— Алтын, как я рад тебя видеть! Видишь, со мной все в порядке.

Журналистка резиновым мячиком вылетела из кресла и бросилась к Фандорину. Судя по такой эмоциональности, рукопожатия было явно недостаточно. Устыдившись своей британской замороженности, Николас на ходу перестроился и развел руки в стороны, готовый заключить Дюймовочку в объятия.

Алтын с разбегу подпрыгнула и со всей силы врезала маистру жестким кулачком в зубы.

— За что?! — взвыл Николас, зажимая ладонью разбитый рот.

— За все! — яростно выкрикнула бешеная татарка. — За то, что сбежал и не объявлялся! За мои слезы! За сто долларов! За «классный перепихон»!

Краем глаза Фандорин увидел, что секретарши так и замерли за своими пультами.

— Но ведь это нарочно! — тоже закричал он, потому что иначе она бы не услышала. — Для маскировки!

Алтын уперла руки в бока, обожгла его ненавидящим взглядом снизу вверх.

— Убить тебя мало за такую маскировку! Я, как дура, переживаю, что он голодный, позвонила маме, попросила, чтобы она ему поесть принесла! Она приходит — там прелестная записочка и сто долларов! Ну и объясненьице у меня потом было!

Врезала маистру еще раз — теперь в живот. Слабее, но все равно ощутимо.

— А это за то, что я ни одной ночи нормально не спала. Ты что, не мог позвонить? Я думала, тебя на свете нет. Думала, ежика совы съели! — Алтын изда-ла странный звук, отчасти похожий на всхлип, но черные глаза при этом остались сухими и все такими же непримиримыми. — Сiju тут как маньячка с ножом в рюкзаке. Хотела этому жирному борову Сосо брюхо за тебя вспороть!

Она все так же бесслезно всхлипнула, кинулась назад к креслу и достала из рюкзака хлебный нож, знакомый Фандорину по бескудниковской квартире. Одна из секретарш вскрикнула, другая вскочила на ноги и потянулась к красной кнопке, что неприметно расположилась на стене чуть выше поверхности стола.

Николасу стало невыносимо стыдно. Какой же он эгоист! Да, он позвонил, услышал ее голос, убедился, что жива, и успокоился. А каково было ей? Он совершенно об этом не думал. С другой стороны, мог ли он предполагать, что из-за какого-то недоминченного британца Алтын лишится сна и даже замыслит смертоубийство?

Фандорин подошел к маленькой журналистке и дрожащим голосом сказал:

— Я так виноват перед тобой. Сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?

— Нет! — злобно ответила она. — Никогда! Наклонись, юшку вытру. Смотреть противно.

Николас, которому не слишком ласково вытирали платком окровавленные губы, смущенно покопился на невольных свидетельниц этой африканской сцены и увидел, что молоденькая секретарша широко-широко раскрыла глаза, а вторая, платиноволосая, убрала руку от кнопки и подает ему какие-то знаки: шепчет что-то, кивает — вроде как подбадривает или даже подгоняет. В каком, собственно, смысле?

Он перевел взгляд на Алтын. Такая маленькая, а такая опасная и непрощающая. Малодушно промямлил:

— Как же мы с тобой будем?..

Хотел сказать «дальше», но не договорил, потому что она сама сказала — ему нет прощения. Никакого «дальше» у них быть не может. Эта мысль вдруг показалась ему совершенно невыносимой.

Ответ прозвучал неожиданно. Можно даже сказать, загадочно.

Алтын оценивающе осмотрела все два метра Николасова роста, покачала головой и вздохнула:

— Да, это будет непросто. Но ничего, как-нибудь приладимся.

Николас решил, что ослышался или же — в силу своей испорченности и неумеренного воображения — неправильно понял, но сзади раздалось прысканье.

Молоденькая секретарша хихикала в ладошку. Зато вторая смотрела на долговязого магистра и маленькую брюнетку со странным выражением, одновременно мечтательным и грустным.

Алтын взяла Фандорина за руку:

— Ладно, Ника, будет публику развлекать. Едем домой.

Он шел за ней по коридору, стараясь делать шаги покороче, и думал, что же там было за слово такое, в письме Корнелиуса? Единственное, которое не сохранилось. «Отодвинь книгу и...»

Отодвинь — и что?

Приложение:

Лимерик, сочиненный Н. Фандориным два месяца спустя, в день бракосочетания:

*Летят перелетные птицы,
Чтоб вовремя с Севера смыться.
Но я же не гусь,
Я здесь остаюсь.
На кой мне нужна заграница?*

Глава шестнадцатая

И на старуху бывает проруха. Мешок золота. *Amour impossible*, или луна в болоте. Родоначалие русских Фандориных. Отодвинь и ...

Не зря гнал капитан фон Дорн доброго коня галопом по темным улицам, не зря терзал благородного текинца шпорами и хлестал плеткой. Успел в казарму к самой побудке и самолично проверил готовность каждого мушкетера. В половине пятого четыре плутонга, все сто двадцать четыре человека стояли во дворе квадратом. В свете факелов блестели ребристые шлемы и лезвия алебард. Корнелиус рассудил, что мушкетеров сегодня в караул лучше не брать — все равно, как бы ни повернулось дело, пасть в Кремле нельзя, а вот пустить в ход древки алебард очень возможно, что и придется.

Завтрак — кружку горячего сбитня и по два пирога — солдаты съели не выходя из строя, потому что в любую минуту мог прибежать нарочный из боярского терема. Простояли так час, начали мерзнуть. Фон Дорн отпустил два плутонга греться. Через четверть часа вернул во двор, дал погреться двум остальным. Сам холода не чувствовал — все-таки не стоял на месте, расхаживал по двору. И тревожился, чем дальше, тем сильнее. Происходило что-то непонятное.

В семь часов не выдержал, пошел на боярский двор узнавать, что стряслось. Уж не проспал ли канцлер великое дело?

Нет, Артамон Сергеевич не спал. Капитан нашел его в кабинете, где Матфеев и Иван Артамонович,

оба в узорчатых кафтанах, под которыми позвякивали кольчуги, сидели у стола и, судя по хмурым лицам, вели какой-то непростой разговор.

— А, капитан, — обернулся на просунувшегося в дверь фон Дорна боярин. — Я про тебя и забыл, не бери в обиду. Службы тебе сегодня не будет. Отпускай своих солдат. После сюда приходи, говорить с тобой буду.

Озадаченный, Корнелиус вернулся к роте, велел всем идти в казарму, но на всякий случай держаться кучно, по плутонгам. Ну, как передумает боярин?

Когда вернулся в хоромы, Артамон Сергеевич был уже один.

Говорил коротко, хмуро:

— Ночью враги мои собрали Думу без меня. Еще тело государево лежало неприбранное. Таисий, пес латинский, вместо того чтоб молитвы над усопшим читать, тайно разослал гонцов по ближним боярам. Васька Галицкий с Сонькой говорили с каждым. Кого улестили, кого припугнули. Многие, кого я за союзников держал, переметнулись. Оно и понятно — слабая власть боярам слаще, чем сильная. При мне бы не забаловали... Теперь все. Царем поставили Федора. Постановили отнять у меня большую печать. Стрелецкий и Малороссийский приказы, а еще Аптекарский — это, наверно, чтоб государя не отравил или колдовским снадобьем не употчевал. — Матфеев горько усмехнулся. — Посольские дела пока за мной оставили. Через месяц, много через два отберут и их. Пошлют воеводой куда-нибудь в Царевококшайск, а там, вдали от Москвы, и вконец добьют. Вот так, Корней. Надо было не пристойность блюсти, а еще вчера, над смертным ложем государевым, их за горло брать. И на старуху бывает проруха.

Фон Дорн стоял в струнку, вникал в смысл страшного известия. Высоко сияла звезда Артамона Сергеевича, да взяла и враз погасла. Его в ссылку, а куда тех, кто ему верно служил? Хорошо еще, если обратно в полк загонят.

— Больше тебе состоять при мне незачем, — ска-

зал Матфеев, словно подслушав фондорновы мысли. — Пропадешь ни за что. Служил ты мне исправно, за это вот тебе награда: отпускная грамота, чтоб ехать из Русского царства беспрепятственно куда пожелаешь, и мешок червонцев. Что мне теперь золото? Все равно на казну отпишут. Уезжай, капитан, пока не поздно. Вчера отбыли шведские купцы, держат путь в Ревель. Сани у них груженные товаром, медленные. Догонишь легко. Ну, целуй руку и прощай. Не поминай Артамона Матфеева лихом.

В залу из кабинета Корнелиус вышел, утирая слезы. Мешок был отрадный, тяжелый. По весу судить — лежало в нем никак не меньше тысячи золотых.

Из веницейского кресла навстречу капитану поднялась легкая фигурка. Александра Артамонова, Сашенька!

— Мне все ведомо, — стремительным шепотом заговорила боярышня. — Батюшка сказывал. Уезжаешь? Что ж, дай тебе Бог, Корней, счастья сыскать. А я и так знала, что нам с тобою не судьба. Раньше я больно высоко летала, теперь вот вниз паду, о землю разобьюсь. Прощай, *mon amour impossible*¹. По-русски-то так и не скажешь, стыдно.

Сашенька обхватила высокого мушкетера за шею, быстро поцеловала в губы, и прежде чем растерянный Корнелиус успел ответить на объятье, выбежала из залы прочь.

К себе фон Дорн возвращался в глубокой задумчивости.

Главное тут было не слушать сердца, потому что оно, глупое, задумало Корнелиуса погубить.

Ведь ясней ясного, что нужно делать. Забрать книги из алтын-толобаса и мчать вдогонку за шведским караваном. Продав драгоценные камни с окладов, рыцарь фон Дорн станет богат и свободен, жить же будет не в этой дикой, нелепой, опасной стране, а в милой Швабии. Это во-первых.

Оставаться с Матфеевым безумно, потому что бо-

¹ Моя невозможная любовь (фр.).

ярин обречен. Это во-вторых. Такого большого человека, конечно, не казнят и на дыбу не подвешат — не при Иване Грозном живем, но вот скромного начальника стражи, склоняя к оговору на опального канцлера, очень запросто сволокут в пытошную. Корнелиус содрогнулся, вспомнив палача Силантия, клещи в угольной жаровне и веревку под потолком.

Ну и, наконец, третье. Александра Артамоновна хороша, спору нет. Но, если вдуматься трезво, без любовного охмеления, барышня как барышня, ничего особенного. Почему он влюбился в Сашеньку? Только потому, что она одна на всю Московию похожа на настоящую европейскую девицу благородного рода и хорошего воспитания. Но ведь не мальчик уже, повидал на своем веку всяких барышень и дам, не говоря о простых девках и бабах. Пора бы понимать. В Амстердаме или тем более Париже таких, как Сашенька, а то и получше, сыщется сколько угодно. Особенно, если ты сказочно богат, недурен собой и совсем еще не стар.

«Нет-нет, — решено, успокоился Корнелиус, довольный, что безрассудное сердце умолкло под натиском разума. — Завтра же утром забрать из тайника Либерею — и в путь».

Самое позднее — послезавтра. Уж, во всяком случае, не позднее, чем через неделю. Догонит шведов где-нибудь за Торжком.

Капитан вздохнул и замотал головой, отгоняя непрошеное видение: серые глаза Сашеньки, когда они посмотрели на него в упор, переносица в переносицу. *Mon amour impossible...*

Вспомнилась арапская притча. Досидел-таки крокодил в своем болоте, дождался, чтоб луна упала к нему прямо в когтистые лапы.

Пожалуй, можно в Москве даже на месяц задержаться. Шведский караван не последний, будут и другие. Больше чем на месяц, конечно, опасно, а на месяц ничего, можно. Так быстро Милославским боярина не сожрать. Да и неприлично, пока траур по государю.

А с книгами так. Забрать перед самым отъездом. Пусть полежат в тайнике, так спокойней. Труп Адама Вальзера в подземелье не найдут, да и искать сильно не станут. Решат, что колдун-немчин сел на помело и улетел на свою басурманшину либо напрямиком к Сатане-Диаволу.

Проникнуть в пустующий дом будет легче легкого.

Откинуть каменные плиты, спуститься в тайник. На нос можно надеть бельевую прищепу, чтоб не нюхать мертвечину. А дальше совсем просто. Вот она, Либерея, под вершковым слоем земли. Отодвинь скверную книгу и копай.

Оглавление

Глава первая	
ХОТЬ И НЕ КРАСАВИЦА	5
Глава вторая	
<i>Корнелиусу улыбается Фортуна. Сокровища кожаной сумки. Знакомство с москвитями. Деревня Неворотынская. Доброе предзнаменование. Ложный Эдем</i>	31
Глава третья	
ОТЧЕГО ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ, КАК ПТИЦЫ?	45
Глава четвертая	
<i>Корнелиус видит золотую искорку на горизонте. Самый большой деревянный город мира. Аудиенция у вице-министра. В Немецкой слободе. Станные обычаи москвитов. Главное русское растение</i>	64
Глава пятая	
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГ АЛТЫН	83
Глава шестая	
<i>Служба есть служба. Любовные обыкновения русских женщин. Поручик фон Дорн разрабатывает Диспозицию. Явление ангела</i>	103
Глава седьмая	
ЕЖИК В ТУМАНЕ	122

Глава восьмая

На новой службе. Двор великого государя. Большая московская политика. Мечтать никому не возбраняется. Новый год по-европейски. Мерцанье луны на полоске стали 142

Глава девятая

Я ОТ БАБУШКИ УШЕЛ, Я ОТ ДЕДУШКИ УШЕЛ 168

Глава десятая

Дом в тринадцать окон. Волшебные свойства кости единорога. Корнелиус узнает новые слова. Тайна Философского Камня. Чужие разговоры. Иван Артамонович рассказывает сказку. Пехорошо получилась 206

Глава одиннадцатая

ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ 245

Глава двенадцатая

Подземная Москва. Что-то есть! Острее, чем у волка. В Константино-Еленинской банне. Последняя воля христолюбивого государя 269

Глава тринадцатая

НО ЕЕ НАЙТИ НЕЛЕГКО 290

Глава четырнадцатая

И все-таки ангел. «Я вас обманул». К чему приводит питье до ногтя. Левая рука капитана фон Дорна. Только бы успеть 325

Глава пятнадцатая

ДУРАКУ ВЕЗДЕ СЧАСТЬЕ 350

Глава шестнадцатая

И на старуху бывает проруха. Мешок золота. Amour impossible, или луна в болоте. Родоначальие русских Фандориных. Отодвинь и... 377

Борис Акунин

АЛТЫН-ТОЛОБАС

Роман

Художественный редактор *А. Гладышев*

Технический редактор *Н. Ремизова*

Корректор *Л. Шандарина*

Подписано в печать 12.03.08.

Формат 84×108 1/32. Бумага газетная.

Гарнитура «Ньютон».

Усл. печ. л. 20,16. Тираж 4000 экз.

Изд. № 06-8171. Заказ № 228.

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»

105062, Москва, ул. Макаренко, д. 3, стр. 1

www.olmamedia.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620041, ГСП-148, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: sales@uralprint.ru



ИИ



ОЛМА
МЕДИА ГРУПП

ISBN 978-5-373-00298-1



9